

СОВРЕМЕННАЯ КНИГА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА



Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ

*История моей возлюбленной,
или
Винтовая лестница*

Р о м а н

Вест-Консалтинг

Москва

2013

УДК 821.161.1
ББК 82(2Рос=Рус)6-4
Ш 51

*Автор выражают благодарность
Максиму Мусселю и Екатерине Царпкиной
за спонсорскую поддержку издания*

Шраер-Петров Д.

Ш 51 «История моей возлюбленной, или Винтовая лестница». — М.: Вест-Консалтинг, 2013. 287 с. — (Современная книга: поэзия, проза, публицистика).

ISBN 978-5-91865-230-5

В новом романе Давида Шраера-Петрова «История моей возлюбленной или винтовая лестница», который в 2012 году был опубликован на страницах международного литературного журнала «Крещатик», разворачивается судьба талантливой молодой женщины Ирины Князевой, пытавшейся найти особый путь в современном ей обществе тоталитарного социализма. Роман наделен лучшими чертами современной русской и зарубежной прозы, сохраняя лирический эротизм, острую сюжетность и философскую глубину, присущие романам Толстого, Достоевского и Набокова.

УДК 821.161.1
ББК 82(2Рос=Рус)6-4



© Давид Шраер-Петров (David Shroyer-Petrov), 2013.
All rights reserved worldwide
© Издание, оформление.
Издательство «Вест-Консалтинг» (М.), 2013

Миле

*Она живет близ Владимирской,
у Пяти Углов...
Девка своевольная,
девка фантастическая,
девка сумасшедшая!
Девка злая, злая, злая!*

Ф.М. Достоевский «Идиот»

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ПЯТЬ УГЛОВ

Да, она жила когда-то у Пяти Углов. Там, где Загородный проспект пересекался с улицами Разъезжей, Рубинштейна и Ломоносова. Неподалеку от Фонтанки. Потом адрес переменялся.

Она только что вернулась из Бокситогорска, где провела два года по распределению после медицинского института имени Павлова, который окончила на самом излете пятидесятых прошлого века. С тех пор, как я начал эту повесть, а, вернее, хронику жизни независимой красивой русской женщины, сначала молодой, потом зрелой, а в конце повествования — стареющей, с тех пор, как я взялся за эту невыполнимую работу, касающуюся весьма деликатного материала женской души и женского тела, прошло полвека со времени возвращения Ирины Федоровны Князевой в Ленинград из глубокой провинции, каковой был и, наверняка, остался Бокситогорск, город, где выплавляют алюминий. По этому случаю у нее дома собралось весьма приятное общество. Одним из гостей, по неслучайности, оказался и я.

Действительно, Ирочка Князева родилась и жила когда-то у Пяти Углов. Это продолжалось с детства до курса четвертого — пятого мединститута, когда ее мать Ксения Арнольдовна, служившая администратором в Большом Драматическом Театре (БДТ), решила уйти на раннюю пенсию, то есть даже раньше 55 лет, полагая, что муж ее Федор Николаевич Князев, профессор и заслуженный деятель науки, ставший к этому времени директором Лесной академии, старейшего в России учебного заведения, занимающегося

лесоведением, вполне может прокормить семью. Полагавшийся Федору Николаевичу служебный особнячок на территории Лесотехнического парка навел Ксению Арнольдовну на вполне трезвую мысль об улучшении коренных жилищных условий. Не век же мужу быть директором! Князевы воспользовались обстоятельствами. Тем более что денег на доплату шустрому маклеру, ходившему между Князевыми и владельцами облюбованной квартиры на Кировском проспекте (в двух шагах от Дома Юсупова и в пятнадцати минутах ходьбы до/от Ирочкиного медицинского института), денег для оплаты качественной и количественной разницы в квартирах, оставляемой и приобретаемой, хватало с лихвой. Так Ирочка Князева начиная с курса четвертого-пятого получила фактически во владение роскошную квартиру, где устраивались веселые вечеринки.

Теперь же ожидалась особая вечеринка, на которую Ирочка Князева пригласила своих поклонников. Они терпеливо или нетерпеливо, преданно или непреданно ждали ее возвращения из Бокситогорска. Я представляю моих приятелей — соперников читателю, с тем, чтобы потом (с некоторыми из них мы проведем целую жизнь, встречаясь с промежутками от одного месяца до десятков лет) продолжать сюжет со знакомыми персонажами. Я приехал к Ирочке первым из ленинградского микрорайона Лесное (северо-запад Выборгской стороны), где жил в то время в квартире, опустевшей после внезапной смерти моей матери. На углу Новороссийской улицы и проспекта Энгельса стоял двухэтажный старинный кирпичный дом, бывшая богадельня, где и располагались мои две комнаты в коммунальной квартире номер десять. Я приехал первым на Ирочкину вечеринку, а вслед за мной потянулись остальные ее поклонники. Или я считался самым *остальным*? В этом и был главный секрет обаяния и притягательности Ирочки: никто из нас не знал, какое место (по степени близости и доверия) мы занимаем в ее сердце и в том отделе головного мозга, который ведает любовью. И, конечно, какой процент ее сексуальных рецепторов направлен на каждого из нас? Или какой шанс у каждого из нас стать ее главным избранныком? И был ли такой шанс предусмотрен судьбой? Расскажу подробнее о приснопамятной вечеринке, чем-то напоминающей день рождения у Настасьи Филипповны Барашковой.

Я позвонил в дверь. Ирочка открыла. Мы поцеловались и перешли в столовую. Ксения Арнольдовна тащила из кухни огром-

ную вазу с водой. «На случай, если твои поклонники догадаются принести цветы!» — крикнула она Ирочке и укоризненно посмотрела на меня. Вначале я чуть не столкнулся с Ксенией Арнольдовной, которая, по ее словам, забежала, чтобы помочь Ирочке приготовить бутерброды. Хотя было еще светло, в столовой горела хрустальная люстра. На столе теснились блюда с холодными закусками: бутерброды с сырокопченой колбасой, швейцарским сыром, семгой, осетриной, ветчиной. А, кроме того, салат с крабами и прочие яства, которыми в те годы избалованы были представители высоких партийных или научных кругов, дипломаты, знаменитые актеры, музыканты, писатели и подпольные миллионеры. Я пришел с букетиком ромашек, которые нарвал в Лесотехническом парке. Ромашки, наверно, не сходили за цветы на шкале ценностей Ксении Арнольдовны.

Была середина августа. Время, когда отпускают на вольные хлеба врачей, отбывших свой срок обязательной работы по распределению в сельских и заводских больничках или здравпунктах. Ирочка только что вернулась из *ссылки* в Бокситогорск. «Ну, как ты?» — только и успел спросить я, когда в дверь позвонили, и вошел пианист Глеб Сергеевич Карелин. Это был ясноглазый блондинистый русский красавец, рожденный единственно для того, чтобы заниматься музыкой, любить и быть любимым. Глеб казался мне сыном Есенина. Я никогда не видел Сергея Есенина, но настолько любил его стихи, что представлял себе живым наяву, как верю до сих пор, что неискаженно воображаю Александра Сергеевича Пушкина. Словом, в Глебе Карелине было столько симпатии, которая излучалась голубыми распахнутыми глазами, улыбочивыми щеками и губами, мягкими движениями рук, спины, даже складок светло-серого в брусничную полоску костюма — тройки, что я, да и всякий на моем месте, готов был простить ему легкомысленность и неверность. Прощала и наша хозяйка, готовая веселиться от каждого его слова и от каждой шутки. Он пришел с тремя алыми розами, которые Ирочка поставила в хрустальную вазу, приготовленную Ксенией Арнольдовной и которой (вазы) не удостоились мои лесные ромашки, нестройные стволы которых Ирочка погрузила в низкорослый пузатый кувшин. Ксения Арнольдовна, словно ждала появления Глеба Карелина, чтобы уйти со спокойным сердцем: раз он пришел, вечеринка состоится, несмотря на мое присутствие. Признаюсь, что мать Ирочки меня не

жаловала. Уверен, что с неомраченной радостью она захватила бы и меня с собой, оставив Ирочку с блистательным Глебом Карелиным. Зачем ее красавице — дочери нужен был я — бедный школьный учитель русской литературы!

Да, несомненно, красавица Ирочка Князева была предназначена для более достойной партии. Наверняка была, хотя влюбился я в нее не только из-за красоты. Как говорится в анекдоте советских времен: *мы любим тебя не за то, что ты смелый, не за то, что ты сильный, не за то, что любишь выпить, а за то, что ты коммунист*. Конечно, она принадлежала к избранной категории — *категории красавиц*, если таковую набирать из женской половины человечества. Вернее, для меня не только в красоте была причина. Хотя она была безусловной красавицей: сероглазая, с короткой ультрамодной стрижкой волнистых каштановых волос, со спортивной посадкой головы на длинной шее, перетекающей в такую стремительную и стойкую грудь, что Ирочка, как правило, не носила лифчиков. А если и носила на пляже двухчастные купальники, то напяливала предельно узкие трусики, купленные, наверняка, в детской секции ДЛТ (Дома ленинградской торговли), а вместо лифчика — косынку, которая перекидывалась через одну грудь, потом через другую, и косынка завязывалась на спине. Завязывал и я, так что знаю доподлинно. Да, груди у Ирочки были божественной анатомии, как у Афродиты. И спина, и лопатки, и ложбинка, и трамплинчик, и вся нижняя половина тела с крепкими, не мускулистыми, а женственно — соблазнительными бедрами и голеньями! Словом, абсолютная красавица, которая, уверен, побеждала бы на конкурсах красоты. Но прежде всего, она была симпатягой, всегда веселой и веселящей своего поклонника или сразу нескольких поклонников. Можно было проигрывать (терять) ее часто, как Василий Павлович Рубинштейн, *мой тоскующий ангел*, по выражению Ирочки, но невозможно было отказаться от нее добровольно!

Глеб Карелин обошел стол, наметив поле сражения, налил себе (и нам с Ирочкой) по рюмке водки. Мы выпили по первой, и раздался новый звонок. Но пока хозяйка бегала открывать, расскажу об одном случае, вернее, одной истории, которая приключилась со мной, Ирочкой и Глебом Карелиным сначала в Ленинграде, а потом в Москве.

Это было, когда Ирочка только что сдала экзамены за пятый курс медицинского института, а у меня закончился учебный год в

школе. Я в то время всюду общался с молодыми поэтами, моими сверстниками, которые обильно сочиняли, дружно выпивали и даже не пытались печататься. Или первоначальные отказы убили в них волю предлагать свои стихи в редакции издательств и журналов. Мне неслыханно повезло. Каким-то чудом мои стихи обратили на себя внимание почтенного переводчика с французского и немецкого языков Григория Элькина, он познакомил меня с редакторшей эстонской антологии, которая готовилась в «Лениздат», я получил договор и подстрочники (буквальные пересказы поэтических текстов), которым предстояло стать стихами, и засел за переводы. Лето было загружено, и это радовало меня, потому что я по совести освобождался от бесконечных литературных вышивок, и мелькнула надежда на литературную профессионализацию. Не вечно же разбирать судьбы Герасима, Муму и Каштанку с равнодушными балбесами, которые рады случаю подстрелить из рогаки не только воробья и ворону, но и бродячую кошку/собаку, несмотря на гуманные идеи Тургенева и Чехова. Ну, и к чему скрывать! Я ликовал от возможности поскорее рассказать об этом Ирочке Князевой, мнением которой я весьма дорожил, а каждую похвалу хранил в памяти, как поощрительную награду, которая дороже любого гонорара. С договором в нагрудном кармане пиджака я выскочил из дома, добежал до трамвайной остановки на Сердобольской улице, сел в номер 21, который, пропетляв между чухонскими болотами еще незастроенного микрорайона, примыкающего к Удельному парку, пересек Черную речку, где Дантес смертельно ранил Пушкина, и, звеня, покатил через Каменный остров. Оттуда до Ирочки было два квартала, окаймленных цветущими липами. Я преодолел на одном дыхании несколько пролетов мраморной парадной лестницы, оказался перед дверью, украшенной медной дощечкой с надписью *Профессор Ф.Н. Князев*, и нажал на кнопку звонка. Ирочка долго не открывала. Я ругал себя за дурацкую привычку приезжать без предварительного приглашения. Привычка эта была, как говорится в народе, *второй натурой*, потому что у меня в то время еще не было личного телефона, а бежать к ближайшему телефону-автомату было лень. Так жили в то время многие. Приезжали в гости или по делу без предупреждения и приглашения. Словом, я еще раз нажал на кнопку и хотел было уходить не солоно хлебавши, как дверь приотворилась на пять звеньев противограбительской цепочки, и показалась голова Ирочки. «Это ты, Даня?! Извини, я из ванной, заходи!» Она рас-

пахнула дверь и, как была, в японском шелковом халатике, обняла меня и чмокнула в щеку. Теплая волна эротики хлынула от ее полуприкрытого тела. «Знаешь что, посиди в моей комнате, полистай новый выпуск «Америки», я переоденусь и поболтаем. Ты голоден? — бросила через плечо Ирочка и убежала вглубь квартиры. — Еда в холодильнике!» Припоминаю, что из прихожей можно было пройти в столовую, а оттуда на кухню, в родительскую спальню, или — в комнату Ирочки, куда я и пошел: стеллажи с книгами, письменный стол, кровать. В родительскую спальню и ванную комнату никому из гостей доступа не было, во всяком случае, мне до сих пор. Словом, я сидел в Ирочкиной комнате, читал статью о чемпионе мира по поднятию тяжестей Андерсоне в знаменитом иллюстрированном журнале «Америка», приходившем по особому списку. Если повезет, «Америку» можно было купить в книжном киоске около гостиницы «Европейская». Был летний день начала июля. Раскрытые окна выходили во внутренний дворик. Было так тихо, что от Каменноостровского моста доносились звоночки трамваев. И вдруг тишину прорезал крик, потом серия криков, перемежающихся со стонами, но не со стонами боли или горя, а стонами мольбы и наслаждения. Это была Ирочка. Ни стоны, ни голос Ирочки невозможно было перепутать. Я бросился бежать на этот голос, который привел меня к закрытой двери спальни. Надо было заставить себя повернуться и уйти из этой квартиры, куда я пришел незваным гостем. Но я не смог ни повернуться, ни уйти, взвизгиваясь и притягиваясь этими звуками первородной страсти. Я не мог ничего с собой поделать. Я распахнул дверь и увидел голую Ирочку Князеву.

Великолепное тело Ирочки ритмически поднималось и опускалось на живот мужчины, блондинистая голова которого принадлежала Глебушке Карелину, нашему молодому гению-пианисту. Как раз в тот момент, когда я вбежал в спальню, его любовные конвульсии затихли, а ее — еще не закончились. Партнер *моей ундины*, как выражался Лермонтов в повести «Тамань», увидел меня и попытался высвободиться из Ирочкиных недонасыщенных объятий. Интеллигентность и чувство самоиронии были настолько развиты у Глебушки (предполагаю, что одно обусловлено другим), что он весело засмеялся и помахал мне вылезшей наружу левой рукой, продолжая правой ласкать Ирочкину спину. Я ринулся в постель, в то время как Глебушка окончательно освободился и убежал в ванную комнату.

Мы еще не раз повторяли подобные спектакли *амур де труа* вполне в духе вячеславивановской «башни» начала прошлого века. Не знаю, был ли вовлечен Глеб Карелин в другие треугольники. Он не рассказывал, а я не спрашивал, но когда представился случай отправиться в Москву на конкурс Чайковского, он пригласил, конечно же, Ирочку Князеву, а она выбрала меня. Поезд «Красная Стрела» привез нас рано утром в Москву на Ленинградский вокзал. Мы взяли такси и отправились на улицу Горького, где в условленном месте были оставлены ключи от квартиры, принадлежавшей другу Глебушки — актеру Театра на Таганке Борису Серебрякову. В квартире было две комнаты. В одной поселилась Ирочка, а в другой (гостиной) стояли два дивана, доставшиеся мне и Глебушке. Ему предстояло играть в отборочных турах. Конечно, мы страшно переживали за него. Особенно перед первым отборочным туром. Тысячу раз он перевязывал галстук и менял рубашки. Правда, выбор был невелик. Кто мог похвастаться в те годы обширным гардеробом?! Ходьбы от актерской квартиры до площади Маяковского, где в зале Чайковского проходило прослушивание, было минут пятнадцать не более. Надо было придти к часу дня. Мы были почти у цели, как вдруг Глеб потащил нас к входу в ресторан «Минск». «Надо расслабиться!» — решительно сказал Глеб и направился в бар. «Три коньяка!» — заказал Глеб. Мы выпили за успех. Ирочка, предвидя возможные осложнения, потянула нашего соискателя за рукав: «Пойдем, Глебушка, опоздаешь!» «Еще по одной!» — сказал он и ослабил галстук, весело поглядывая на бармена. Ирочка сползла с табурета и поманила меня. Из чувства друацкой мужской солидарности я чокнулся с Глебом, и мы проглотили коньяк. В таком приподнятом настроении мы пришли в зал Чайковского, проводили Глеба до ступенек, удививших за кулисы, и уселись в полупустом зале среди других «болельщиков». Глебушка не прошел даже на второй тур, страшно запил, уехал, не простившись, в Ленинград и не появлялся у Ирочки около года. Потом ее направили работать врачом в Бокситогорск, и она с Глебом не виделись до возвращения.

Но вернемся к вечеринке, которую я сгоряча сравнил с днем рождения Настасьи Филипповны. Никакого скандала или дележа нашей хозяйки не было и в помине. Да наше сборище и не предполагалось для традиционного празднования дня рождения. Правда, день рождения Ирочки был где-то поблизости, в середине августа,

но по неустоявшимся, еще входившим в моду правилам нашей компании, отмечался не в самый день появления именинника или именинницы на свет, а в одну из ближайших пятниц, суббот или воскресений. Празднование же дня рождения в самый день рождения доставалось родителям и родственникам как единственная благодарность от повзрослевших дочери или сына. Так что вечеринка была, главным образом, приурочена к возвращению Ирочки в Ленинград и, между прочим, ко дню рождения.

Василий Павлович Рубинштейн, *мой тоскующий ангел*, по Ирочкиному выражению, пришел третьим. Это был полновесный господин среднего роста, с чрезвычайно широкими плечами и развитой габсбургской нижней челюстью. Одет Василий Павлович был в синий габардиновый костюм, верхний кармашек которого был украшен треугольником бордового батистового платочка, какие, наверно, входили в обязательный ритуал праздничного костюма еще в Одессе, откуда перебрались в Ленинград его родители в конце тридцатых. То есть в годы самой ожесточенной внутриклассовой и внутрипартийной борьбы, проредившей, как сенокосилка, ряды строителей социализма. Отец Василия Павловича был беспартийным инженером, под ежовскую сенокосилку не попал, и стал в первые же годы войны с немцами младшим лейтенантом. Ему на войне повезло. После ампутации искалеченной миной ноги и военно-полевого госпиталя он вернулся в послеблокадный Ленинград к жене и малолетнему сыну Васе. Завод же, на котором ремонтировались ленинградские трамваи, принял фронтовика с энтузиазмом, тем более что он быстро освоил ходьбу на протезе и не имел привычки засиживаться в цеховой конторке, а сновал по цеху от станка к станку, порой вызывая у рабочих вместо сочувствия к боевому увечью — необоснованную злость, настоящую на неприязни к его еврейско-украинскому выговору, особенно, когда он торопился что-то сказать.

Наверно, именно манера отца произносить слова скороговоркой и действовать в торопливой манере настолько претили натуре Васи Рубинштейна, что он превратился в очеловеченную метафору медлительной солидности. К среднему росту, широким плечам тяжелоатлета (облику борца или гиревика), добротному синему костюму с платочком добавлялось округлое лицо с намечающимися складочками ранней полноты около щек и на подбородке, щедро напомаженные, но все равно сохраняющие негроидную курчавость

обильные черные волосы и невеселая усмешка. Ко времени начала нашей истории Василий Павлович работал молодым специалистом в НИИ автомобильно-тракторной промышленности. История его отношений с Ирочкой в определенной мере пересеклась с моей. Это относилось ко времени пребывания Ирочки на должности терапевта в Бокситогорской больнице. Василий Павлович проявил истинную преданность нашему сообществу, сочетавшуюся с похвальным упорством, что соответствовало его могучему и меланхолическому облику.

Вася Рубинштейн пришел третьим по порядку, подтвердив неслучайность хаотичного распределения событий. Так поплавок с меньшим удельным весом оказывается более чувствительным к поклевкам одинаковых по весу рыбешек. Или в чем-то другом разных? Он принес сразу два подарка: букет, составленный из белых и красных гвоздик, который Ирочка опустила в ту же вазу вместе с тремя розами Глеба, и ювелирную бархатную коробочку, из которой Ирочка выудила за серебряную цепочку изумрудный кулончик. Я со своим букетиком лесопарковых ромашек в соревнованиях не участвовал. Глебушка с тремя розами провалился, как когда-то в отборочном туре. Правда, легкий Ирочкин характер позволял ее поклонникам попеременно проигрывать в пух и прах, а потом брать реванш в многочисленных состязаниях за ее благосклонность.

Вспоминаю такой эпизод. Это было летом, когда кончался первый год Ирочкиной *ссылки* в Бокситогорск. Я в это время был на школьных каникулах, мгновенно забыв о своих нерадивых учениках и занимаясь едва ли не самым распространенным в России видом хобби — сочинением лирических стихов. Я говорил прежде, что время от времени у кого-нибудь собиралась компания моих приятелей — молодых поэтов, чтобы пить вино и читать стихи, написанные в тот же день или несколькими днями ранее. Наутро после того, как мы собирались, читали стихи и пили, меня разбудил дверной звонок. Пришел почтальон и принес почтовое извещение. Там было написано, что в такое время такого-то числа я приглашаюсь на ближайший переговорный пункт по такому-то адресу для телефонного разговора с Бокситогорском. Напомню, что личного или даже коммунального телефона у меня в те годы не было.

Как события и предметы наслаиваются друг на друга! А ведь это всего лишь начало романа. Я бежал на переговоры с Ирочкой (так это называлось: *телефонные переговоры*) именно туда, где

мы с ней встретились впервые года за два до этого. Тогда я бежал к остановке трамвая *Улица Сердобольская* между парком и станцией электрички Ланская и увидел Ирочку, отворявшую чугунную калитку. Как оказалось, она шла навестить своих родителей, которые жили в директорском коттедже в глубине парка, поблизости от главного здания Лесной академии. Я наговорил прекрасной незнакомке кучу восторженных глупостей, смысл которых (*смысл глупостей!*) сводился к абсолютной и неколебимой готовности служить ей вечно.

«Ну, хотя бы до тех пор, пока не разлюбите?» — в тон мне ответила длинноногая и сероглазая красавица. «Нет, вечно!» — «Согласна. Но скажите для начала, как вас зовут?» «Даня, — ответил я. — Можно вас проводить?»

«Ира, — кивнула она. — Провожайте, если не лень!» — и засмеялась так открыто и бесхитростно, словно приковывала меня к себе серебряной цепочкой беспечности.

Это было несколько лет назад. И вот приходит вызов на телефонные переговоры с Ирочкой, которая после окончания мединститута по распределению работала терапевтом в Бокситогорской больнице на северо-востоке Ленинградской области. Телефонный переговорный пункт и телеграф размещались в комнатухе на первом этаже углового дома при пересечении Сердобольской улицы и проспекта Карла Маркса, неподалеку от железнодорожной станции Ланская. Барышня-телефонистка (и одновременно — телеграфистка) приняла мое извещение и сказала: «Скоро соединим! Вот освободится переговорная кабинка и соединим. Вы присаживайтесь!» В переговорной кабинке, которая была копией будок для уличных телефонов-автоматов, за стеклом буквально бился, как рыба об лед, некий гражданин, как теперь говорят, *кавказской национальности*. Каждое его слово было слышно ожидавшим, как будто беседа велась при их участии. Странно было только то, что разговор шел на одном из восточных языков, который был непонятен присутствующим. Распаренный, как из серной бани, гражданин выскочил из будки, расплатился с телефонисткой и выбежал на улицу. Телефонистка вызвала меня. С другого конца провода я услышал Ирочкин голос:

«Даня, милый, как ты там?»

«А ты, Ирочка?»

«Скучаю».

«Ну, я понимаю. Предки, дом, друзья...»

«Ничего ты не понимаешь, Данечка, я по тебе скучаю. А ты скучаешь по мне?»

«Ну, конечно, Ирочка!»

«Тогда приезжай!»

«Где я тебя найду?»

«В Бокситогорской больнице!»

Я побросал в рюкзак блокнот для записей, шариковую ручку, карандаш, плавки, тренировочные штаны, майку, запасную рубашку, сандалии, непромокаемую куртку, бритву, зубную щетку и еще что-то из вещей первой необходимости, взял всю наличность, которая у меня была в доме и сохранилась от летней зарплаты, выданной мне в школьной бухгалтерии перед летним отпуском. На Московском вокзале взял билет до Бокситогорска (поезд Ленинград — Вологда) и потащился мимо лесов, болот и рек к северовостоку от моего города.

Поезд пришел к утру. Больница стояла поблизости от берега реки с чухонским названием Пярдомля. Я нашел Ирочку в комнате для врачебного персонала за чтением романа Василия Аксенова «Коллеги». Не буду пересказывать вполне банальные события, последовавшие за моим приездом и включавшие в себя бытоустройство во флигельке, соседнем с основным одноэтажным зданием больницы, где была Ирочкина комната. Мы обнялись, но коротко. Поблизости вертелась санитарка, которая шла за нами, как охотничья собака, настойчиво шаркая шваброй. Мне показалось, что Ирочка несколько изменилась, стала сдержаннее, что ли? Даже не пригласила к себе, а только показала на дверь: «Вот здесь моя светлица, Даня». Конечно же, она осторожничала, поскольку была на виду у всей больницы. Или была какая-то другая причина? Зачем же она вызвала меня к себе в Бокситогорск? Я ведь никогда до конца не знал, насколько Ирочка любит меня. Плыл по течению, не в силах отказаться от предлагаемых ею квантов тепла.

По традиционной схеме, придуманной для смазывания таинственных шестеренок, которые иногда по неизвестным причинам приводят к пробуксовыванию любовных отношений, я в тот же вечер пригласил Ирочку в местный ресторан «Гора». Дежурство ее по больнице заканчивалось около семи, так что я успел привести себя в порядок. Вообще-то говоря, Ирочка предусмотрела для меня

всякие бытовые удобства вплоть до трехразового питания при больничной кухне, за которое она заплатила. Но что-то беспокоило Ирочку при всей ее безмятежности.

«Честно говоря, Даня, я не думала, что ты вот так сорвешься и приедешь. Ты оказался единственным...»

«Из многих?» — глуповато переспросил я.

«Из нескольких», — ответила она так спокойно, словно бы это не был приговор, вынесенный мне на всю жизнь вперед, а само собой разумеющиеся обыденные слова.

Мы сидели в ресторане «Гора». Оркестр местных лабухов наигрывал что-то из репертуара Глена Миллера, настолько адаптированного к провинциальным условиям, что едва удавалось различить несколько знакомых нот из песенки «Мне декабрь кажется маем». Ирочка, переломившая первоначальную разочарованность, с участием расспрашивала меня о новых стихах и, кажется, убедила кое-что почитать. В те годы я любил читать свои стихи на память. Ирочка слушала с участием, но видно было, что ее мысли были все еще далеко от меня, моих стихов и ресторана, в котором американские мелодии перебираются местными бокситогорскими джазистами-любителями. Мы пили водку и вино. Вернее, я пил тяжелую «Ленинградскую водку», а Ирочка — портвейн «Три семерки». В те годы сухие вина были в наших широтах непопулярны и потому не завозились торгующими организациями. Словом, под конец ужина мы оба основательно опьянели. И хотя скованность прошла, оставалась какая-то недосказанность, а теперь я понимаю — неполная откровенность в наших разговорах. Ирочка что-то недоговаривала. Но я с наивностью отбрасывал от себя всяческие сомнения. Да и водка помогала. Не исключая, что Ирочке тоже хотелось освободиться от какой-то тяжести. Она сильно изменилась за этот год жизни вдали от Ленинграда.

Давила теплая душная летняя ночь, усиливая скрытую тревогу. Мы вышли из ресторана и направились вдоль берега реки в сторону больницы. Далеко за рекой над лесом вспыхивали и падали августовские звезды. «Ты знаешь, Даня, я поняла, что смогла бы выжить без Ленинграда. Смогла бы уехать неведомо куда и выжить». «Как, одна? А родители? Все мы?» «Забудь, я пошутила», — отмахнулась от самой себя Ирочка и засмеялась беззаботно, как прежде. На меня нашел приступ бесшабашной храбрости. Я выпалил: «Так давай, поженимся, Ирочка! Через год тебя отпустят от-

сюда, и мы уедем в Сибирь, на Камчатку, куда угодно!» Мне показалось, что именно этого она ждала от меня. Ждала не меня самого, а символ рыцаря, который готов без оглядки пожертвовать своей устоявшейся жизнью ради нее. «Ты вправду хочешь этого, Дания?» «Конечно, Ирочка!» «И готов сделать все, что мне захочется сейчас? Сию минуту?» И засмеялась бесшабашно: «Давай, искупаемся вместе!» Мы разделись догола, положили ее платье и трусики (лифчик Ирочка носила только в больнице) поверх моих брюк, рубашки и трусов и бросились в реку с чухонским названием Пярдомля. Ночная вода смыла тяжесть алкоголя и вернула нам обоим природные ощущения, которым подвластны молодые люди в нашем тогдашнем возрасте. Мы резвились, как дети: подныривали друг под друга, обнимались, становясь подобными восьмирукому спруту. Ее груди трогали мою грудь, а мой возбужденный мускул тянулся к ней. Мы выплыли из глубины, и, торопя и подталкивая друг друга, выбежали на берег. Ирочка легла на подстилку из нашей одежды и притянула меня к себе. Она шептала сумасшедшие слова любви, в которые люди верят без оглядки в такие минуты. Я верил ей без оглядки. Когда все кончилось, Ирочка вытерлась моей рубашкой, а потом натянула трусики и платье. Я тоже, как мог, смахнул воду с тела, надел трусы и брюки, и напялил мокрую рубашку.

Под утро у меня начался озноб. Я не вышел к завтраку. Санитарка, пришедшая убрать комнату, увидела, как мне плохо, и позвала Ирочку. Она простукала и прослушала меня, а потом отвела на рентген. Ночная простуда перешла в пневмонию. Ирочка пригласила на консультацию заведующую терапевтическим отделением. Мне назначили уколы пенициллина со стрептомицином. В те годы этой комбинацией антибиотиков, как правило, успешно лечили многие воспалительные процессы, в том числе и воспаление легких. Но не в моем случае. Температура держалась постоянно между 38, 5 и 40 градусами с хвостиком, хотя мне четыре раза в сутки кололи антибиотики и несколько раз ставили банки. Я надсадно кашлял, ничего не хотел есть. Ирочка приносила мне морс из брусники и кормила манной кашей. Однажды она упростила больницы повара сварить мне бульон из курицы, чудом добытой на местном рынке. Даже мне, далекому от медицины, было ясно, что надо коренным образом что-то изменить в моей схеме терапии. Но что? Снова был консилиум заведующей терапией, ординатора (Ирочки) и рентгенолога. Обсуждали прямо у моей койки течение

болезни и возможные методы лечения. И вот тут-то выплыло магическое слово эритромицин. Кажется, его произнес больничный рентгенолог, который, по рассказам Ирочки, выписывал ведущие медицинские журналы и слыл эрудитом. «Вот если бы достать эритромицин! — мечтательно произнес рентгенолог, — Мы бы за неделю вылечили нашего ленинградского гостя!» «Но кто же нам его достанет и срочно привезет сюда?» — усомнилась Раиса Ивановна, заведующая терапией. «Подождите, подождите! — воскликнула Ирочка. — Вы мне позволите, Раиса Ивановна, позвонить из больницы в Ленинград?» «Что за вопрос? — ответила Раиса Ивановна. — Случай тяжелый (все это при мне говорилось). — На это отведен бюджет. Поспешите заказать разговор!»

На следующий день в мою палату вошел (кто бы вы подумали?) — Василий Павлович Рубинштейн, *мой тоскующий ангел*, по Ирочкиному выражению. На этот раз он был одет в спортивную олимпийскую куртку и спортивные штаны, в которые была заправлена ультрамодная импортная желтая футболка. Вася Рубинштейн потрогал мою голову, не то проверяя температуру, не то поглаживая, как больного ребенка, и печально улыбаясь сказал: «Вот, старик, природный американский эритромицин. Принес показать тебе одну пачку. А вообще-то я достал на весь курс. Как говорится, *лечись не хочу!*» Он так же осторожно, как перед этим, притрагивался ко мне, протянул пачку с запечатанными под целлофаном красными таблетками. На пачке было написано ERYTHROMYCIN и название фармацевтической компании. «Остальные пачки эритромицина я отдал Ирочке». «Спасибо тебе, Вася», — только и мог ответить я. Мои легкие были воспалены с обеих сторон грудной клетки. Я глотал таблетки, а температура воробьиными шажками соскакивала с высоких цифр, но продолжала опускаться и подниматься между 38,0 и 39,0. Понемногу вернулась охота к еде. Однажды я попросил нянечку принести мне яйцо всмятку. Вместо полузабытья, в котором я находился больше недели (до эритромицина), я начал читать, благо Ирочка привезла с собой целый набор переводной фантастики. Всем жанрам литературы Ирочка предпочитала фантастику, удивляя меня обсуждением головоломных проектов, которые я не мог критически оценить, совершенно не зная биологию и медицину. «А где же твоя интуиция, Даник? Ты ведь у нас поэт!» Потом забывала о фантастике и начинала читать стихи, время от времени, как всегда смеясь, напоминая, что любит

меня (любит!) не за стихи, а за самого меня: «Ты мне симпатичен, Даня, как личность — духовная и физическая, независимо от своих пристрастий». И все же, из-за Ирочки я нырнул в Айзека Азимова и получил приличное образование в этой области литературы. Правда, никогда не написал ни строчки, относящейся к жанру научной фантастики. Словом, я принимал эритромицин, понемногу поправлялся, ел, читал и мечтал поскорее вернуться в Ленинград к моим стихам и переводам. Что касается влюбленности в Ирочку Князеву или даже любви к ней, то произошла некая стабилизация. Так биологи для исследования животных или растительных тканей (нормальных или пораженных болезнью), погружают кусочки исследуемых тканей в раствор формалина, чтобы зафиксировать процесс, не дать образоваться артефактам. То есть не позволить усугубиться изменениям, развившимся после момента исследования. Для меня влюбленность в Ирочку как бы застыла со времени нашего с ней ночного купания, приведшего к моей пневмонии.

Влюбленность в Ирочку достигла катарсиса во время нашего ночного купанья. Это, как ракета-носитель: взлетела на межпланетную высоту, выбросила вторую ступень — собственно космический корабль, и сгорела дотла. Сгорела моя влюбленность, оставив место для ровного счастья любоваться Ирочкой, общаться с ней, вступать в духовный или сексуальный контакт. Собственно, начало этому процессу перехода влюбленности в любовь было положено еще в ее студенческие годы, когда образовался треугольник: Ирочка — Глеб — Даня. Этим и объясняется мое отношение к еретическим мыслям, начавшим появляться взамен полного равнодушия ко всему, кроме моей собственной болезни. Вполне естественным было появление в моей палате и мелькание в течение дня Васи Рубинштейна. Он, как правило, приносил с колхозного рынка лесные ягоды (землянику, малину, чернику, а иногда раннюю морошку или бруснику), или, бог весть откуда, дефицит (сыр, колбаса), и кормил меня, как своего ребенка или младшего брата. Иногда заглядывала Ирочка и не без иронии (*Ироч — ирон*) произносила: «Правда, Васенька очень милый?» или «Правда, Даник очень трогательный?» После шести вечера, ну, иногда после семи ко мне никто не заглядывал, кроме санитарки, разносившей по палатам чай с двумя квадратиками пиленого сахара, кусочком сливочного масла и двумя ломтиками белого хлеба на большой плоской тарел-

ке. Там же помещалась кружка с чаем. Весь вечер я читал или что-то записывал в моем блокноте, с которым я не расставался ни на минуту. Видимо, я начинал поправляться. Потому что на смену полному равнодушию к тому, как проводят вечера Ирочка и Вася Рубинштейн, я начал придумывать вариации и задавать себе вопросы. Не то, чтобы с оттенком ревности, а просто из интереса, естественного по отношению к близким людям. Температура спадала, интерес повышался. Наконец, после того, как градусник показывал 36.6 — 36.8 подряд три или четыре дня, мой интерес настолько возрос, что я спросил невзначай: «А что, Вася, не секрет ли, во-первых, где ты остановился? А во-вторых, надолго ли приехал?» «Вовсе не секрет, Даня. Какие у меня от тебя секреты! Остановился в городской гостинице. А уеду, как только тебя выпишут из больницы. Поправишься окончательно, и вместе вернемся в Питер!» «Здорово ты распорядился, Васенька!» «Таково желание Ирочки, старик. И сюда я приехал по ее вызову. И эритромицин достал и привез по ее просьбе». «Я думал, из-за меня». «Нет, старик, из-за нее! Не обольщайся. Ну, конечно же, я рад, что ты поправляешься. Но все же — из-за нее. Я от жены и трехлетней дочурки из-за Ирочки уехал. И все, что Ирочка попросит, сделаю без оглядки». «Спасибо за честный ответ, Вася». «На здоровье! Я думал, что ты сам все понял. Ты, как и все мы, к ней навеки привязан».

Да, я поправился. Иначе бы не решился выслеживать Ирочку и Васю. Значит ли это, что моя бывшая влюбленность возобновилась? Нисколько! Я даже с удивлением рассматривал себя до и после рокового купания и болезни, единственно, чтобы поставить всех и все на свои места, и прежде всего, самого себя. По моей теории, влюбленность исчезла, приобретя взамен черты устоявшейся любви. Но почему же Ирочка продолжала волновать меня, как в первый день нашей встречи около чугунной калитки входа в Лесотехнический парк? Скажем сегодня, во время утреннего обхода я не мог оторвать взгляда от ее длинных загорелых ног, когда она присаживалась на край моей больничной койки, приподняв инстинктивно край халата?

Одежда моя была во флигельке. Ключ в тумбочке. Я надел брюки, ковбойку и пиджак в клеточку, привезенный из путешествия в Таллинн, куда в конце мая ездил с другими переводчиками на презентацию эстонской антологии. Город Бокситогорск не занимал большого пространства даже на карте Ленинградской об-

ласти, если прибегнуть к географическим понятиям. И все же от больницы до центра пришлось бы топтать около трех автобусных остановок. Часто ли ходит городской автобус, я понятия не имел и стоял в задумчивости: дожидаться общественного транспорта или присоединиться к неутомимому племени пешеходов? Однако термин *неутомимый пешеход* из словаря Ильфа/Петрова ко мне явно не подходил. Я был *утомлен* воспалением легких. Одна мысль о продолжительном шагании по улицам провинциального городка вызывала тоску. Словом, буквально с первых же минут возникала ситуация, которую я готов был оценить как неразрешимую. Таково свойство моей натуры. Всякая проблема спервоначала кажется ошарашивающей, противоречащей моим жизненным планам, невыполнимой настолько, что я в течение нескольких минут/часов испытываю чуть ли не состояние психологического шока. Потом ко мне возвращаются способность логически и остро мыслить, чувство юмора, практическая сноровка. Надо только преодолеть удар первой волны. И на этот раз, чуть ли не в шоке, стоял я на остановке автобуса, раскачиваясь на противоречивых мыслях, из которых я настойчиво выбрал одну: искать Ирочку и Васю в городской гостинице. То есть, прежде всего, добраться до гостиницы, где остановился Вася Рубинштейн. Я ни минуты не сомневался, что найду их там. Лишь бы добраться! Правда, зачем?

Вместо запыленного серо-голубого автобуса к остановке подкатил зеленый военный автомобильчик (джип), крытый темно-зеленым брезентом и продуваемый дорожными ветрами со всех сторон, кроме ветрового стекла. За рулем военного автомобильчика (джипа) сидел молодой офицер в чине капитана с красным околышем фуражки и папироской в зубах. Молодой капитан в гимнастерке, тугой португее, начищенных до зеркальности сапогах, погонах с красной общевоинской окантовкой, соскочил со ступеньки джипа и весело представился: «Капитан Лебедев, Николай Иванович!» Он растер подошвой сапога мшистые остатки папиросы, брошенной на асфальт, и протянул мне руку, сухую и сильную. Мне ничего не оставалось, как протянуть свою и представиться. «Я, собственно, с вами знаком, Даниил Петрович. Заочно покудова. А нынче вот лично посчастливилось. Ирина Федоровна неоднократно о вас отзывалась. О стихах, особо». «О стихах?» «Ну, да, главным делом». По правде говоря, я был ошарашен не только знакомством с неизвестно откуда взявшимся капитаном Лебедевым, но и

его осведомленностью о моих литературных пристрастиях. («Ах да Ирочка! Хороша! Никак не ожидал от нее такой степени откровенности с советским офицером!») А тем временем, капитан Лебедев усадил меня рядом с собой на высокое твердое гранитолоевое сиденье джипа, и мы покатали в сторону центра города. «Вас не интересуется, куда мы направляемся, Даниил Петрович?» — спросил капитан Лебедев с хитроватой ужимкой в голосе.

Пока он смотрел вперед на дорогу, повернувшись ко мне в профиль, набросаю краткий его портрет: рыжеват, курнос, гладко выбрит, широкоплеч, резок и точен в движениях, вежлив. Что за личность скрывалась за этим фасадом, я мог только предполагать. Но как Ирочка допустила?! Допустила? Допустила знакомство или допустила к себе? Именно тогда впервые за всю короткую прошлую и длинную будущую жизнь моих отношений с Ирочкой Князевой я ответил себе самому: «Она может допустить все, что угодно!» Наверняка капитан Лебедев ощутил, что происходило со мной, и не посетовал на мое невежливое молчание, а спросил снова: «Куда подбросить?» «К гостинице!» — ответил я не слишком любезно, все еще находясь под впечатлением от знакомства с еще одним Ирочкиным почитателем. Никаких сомнений у меня в этом не было. Интересная штука — чувство самосохранения. Пока я болел, мне было все равно, какой ценой был добыт, доставлен и оплачен американский антибиотик эритромицин. Говоря прямым языком рынка этических ценностей: чем было заплачено за гарантию моего выздоровления? Я ведь знал, что до этого Васенька Рубинштейн и не мечтал оказаться в числе приближенных к Ирочке Князевой, которая называла его *мой тоскующий ангел*. И тут меня осенила догадка: Ирочка пошла на это единственно ради меня, то есть расплатилась собой (своим прекрасным телом, своим беспечным смехом, своим драгоценным временем) за то, что Васенька Рубинштейн привез мне чудодейственный эритромицин. И при необходимости будет привозить и вырывать всегда! Эта простая догадка поразила меня своей непреклонной логикой: за все надо платить. И если ты сам не в состоянии заплатить (как я за эритромицин), за тебя расплачиваются близкие тебе люди. Ирочка заплатила собой за мое выздоровление от крупозной пневмонии. И продолжает платить, находясь с *тоскующим ангелом* в его гостиничном номере. Или собираясь в номер? Или выйдя из номера, отработав должок за меня? Вот до какого цинизма я докатился со

своими теориями влюбленности и любви! Но при чем тут капитан Лебедев, который весело крутил баранку зеленого автомобильчика под названием джип и смолил папироску «Беломорканал»? Я не знал *при чем*, но раз и навсегда поверил в детерминированность любого шага нашей Ирочки. И моментально адвокат Дьявола, присутствующий в сознании любого нормального индивидуума (а ненормального — тем более, да и не в единственном экземпляре!) шепнул мне: «А от тебя-то, Даниил Петрович Новосельцевский, какая польза? А от Глебушки Карелина?» И снова я всмотрелся в профиль капитана Лебедева.

Словно угадав мои мысли, и более того, подсказки *адвоката Дьявола* или, проще говоря, *альтер эго*, капитан Лебедев пророчил: «Вот вы, по всему видно, человек образованный, разбираетесь в людях и прочее, и прочее, скажите вы мне по совести, ну зачем после продолжительной и тяжелой болезни вы решили потащить-ся в вечно опаздывающем, а то и вовсе отсутствующем автобусе разыскивать Ирину Федоровну? Зачем и для какой надобности?» Я был поражен глубиной его вопроса. Я не знал, *что* ответить капитану Лебедеву. Врать, что не в состоянии был переломить себя, я не мог. А сказать правду, что невозможно было удержать себя в больничном флигельке, зная, что Ирочка... Дальше я и думать не хотел, не мог, не позволял себе. Так и ответил капитану: «Не мог удержаться. До этого был болен, болезнь оглушала. А поправился и не смог удержаться». «Вот и я так! Впрочем, внешне совсем по-другому, то есть, я не был болен ничем воспалительным и диктующем необходимость оставаться в больничной койке. Я сохранял себя в пределах дозволенных правил, хотя Ирина Федоровна самобытно действовала с самого начала. Я бы сказал, оглушающе действовала на мое воображение. Я помню чудное мгновенье... Как поется, любовь наповал». «Зачем вы мне все это рассказываете, Николай Иванович?» — спросил я, забыв, что минуту назад сам рассказывал ему примерно то же самое. Капитан Лебедев, словно не слыша меня, продолжал исповедоваться: «Значит, я сохранял себя в пределах дозволенных правил, радуясь возможности видеть Ирину Федоровну, хоть иногда». «Вы женаты, Николай Иванович?» «В том-то и дело! Правда, в данный текущий момент повезло неукоснительно: жена с пятилетним сынишкой по имени Вовочка отправилась на все лето к матери на Украину, в город Запорожье, откуда они (ее семья) родом». «Так что пользуетесь образо-

вавшейся семейной прорехой?» — жестоко спросил я. Мне этот слащаво-говорливый тип в общевойсковой форме порядочно надоел. Но тут же я поймал себя на мысли, что и Васеньку, и капитана Лебедева я тоже использовал при вольном или невольном участии Ирочки. То есть был в определенной степени альфонсом или еще хуже — пимпом! Я даже хотел остановить джип и выскочить на дорогу. Но было поздно.

Мы подкатили к гостинице как раз в ту минуту, когда Ирочка с букетом белых и голубых флоксов, под ручку с Васей Рубинштейном начала подниматься по ступенькам городской гостиницы. Время было позднее — около семи часов вечера. Откуда они шли и где купили цветы? «Ирочка! Вася!» — окликнул я своих друзей, а капитан Лебедев приветливо помахал фуражкой с красным околышем и темно — красной эмалевой звездой. Ирочка и Вася, как фигурки в заводной игрушке «Лебединое озеро», разом повернулись к нам, сохраняя полную взаимную синхронность движений тела и скольжения улыбок. Вася сбежал вниз к нашему джипу, а Ирочка продолжала стоять на третьей ступеньке, улыбаясь, каждому и никому, как жена президента с трапа самолета. Вася сбежал со ступенек, обнял/похлопал по спине меня и протянул руку капитану. Тот представился, не без смущения, успев сострить и слукавить: «Капитан сухопутных войск Лебедев, Николай Иванович, доставил Даниила Петровича!» «А себя?» — подумал я. Счастливая сущность Ирочки Князевой тем и отличалась от наших заскорузлых и подозрительных натур, что в каждой ситуации обнаруживала источник возможного удовольствия. Так и говорят по-английски о подобных редких индивидуумах: «Happy person!»

«Как замечательно! Васенька, приглашай моих друзей на ужин!» Я ринулся с удовольствием. Капитан же засмутился, шепнув мне, как старому знакомому: «Не предполагал ужинать в ресторане. Одинокими рублишками всего лишь располагаю». (После, вполне возможно, значительно после, Ирочка рассказывала мне, что капитан во время их нечастых свиданий угощал Ирочку пивом в местном Доме офицеров, где давали спиртное без наценок и тощие бутерброды с кильками почти задарма. Зачем же ходила? Неужели предвидела на много лет вперед? Или не все рассказывала?)

Бокситогорская гостиница была трехэтажная, кирпичная, с претензией на солидность, а ресторан при гостинице был, в сущно-

сти, городской столовой повышенного класса, если так можно объяснить с одной стороны улучшенный (по сравнению с обыкновенными столовыми) способ приготовления пищи, а с другой — отсутствие музыкантов, призванных увеселять публику. Никто в этом ресторане-столовой никого не увеселял, но кормили пристойно. Гостиничная публика в основном состояла из командировочных, которые, конечно же, предпочитали питаться здесь, нежели в «общепитовских» столовках, где (в лучшем случае!) давали салат из капусты, щи на курином отваре да отбивную из куска свиного жира, обвалянного в сухарях. И опять же (в лучшем случае!) кружку разливного жигулевского пива.

Вася Рубинштейн, конечно же, увидел смущение (истинное или показное) капитана Лебедева и предупредил: «Только уговор: я угощаю!» Под селедочку с отварной картошкой и репчатым луком, нарезанным колесиками, выпили за дружбу. Причем капитан Лебедев как-то ловко объединил дружбу инженеров, выпускающих несокрушимые советские танки (кивок в сторону Васи, перешедшего к этому времени на танковый завод), с врачами, оберегающими здоровье инженеров-танкистов (кивок Ирочке), и советскими офицерами-танкистами (выразительный взгляд на каждого из нас и общий поклон). Меня некуда было пристроить. Не мог же знать капитан Лебедев моих давнишних стихов, ходивших по «самиздатовским» каналам и посвященных кружку молодых венгерских поэтов, названному в честь Петефи. Да и я ведь ничего не знал о капитане Лебедеве. Именно ко мне (недоохваченному тостом), и обратился капитан Лебедев как к публике в этом древнегреческом спектакле. Мне на тост было абсолютно наплевать, если бы не подозрения, которые капитан Лебедев вызывал с самого начала нашего знакомства. Это, как репейник: пока не отцепишь с одежды каждую колючку — коготок, будет царапать и раздражать. Да и еще орден Боевого Красного Знамени над кармашком гимнастерки в его-то (Лебедева) молодые годы!

«Николай Иванович, а не в танковых ли войсках Красное Знамя приобрели?» — спросил я капитана Лебедева довольно язвительно. «Именно в танковых, Даниил Петрович. А если забежите вопросом дальше, то добавлю: в политотделе танковых войск участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа». «Значит, пьем за Красное Знамя!» — воскликнула Ирочка и решительно опрокинула рюмку водки. Ни я, ни Васенька Рубинштейн не реши-

лись отклонить тост и тоже выпили свою водку, и дальше продолжали выпивать и закусывать, как будто ничего страшного не было сказано капитаном Лебедевым.

С тех пор прошел год. Ирочка вернулась в Ленинград из Бокситогорска. Мы пришли на ее день рождения, а главным образом, чтобы отметить всей компанией возвращение нашей королевы, для которой мы, по сути, были маленьким двором, если вообразить нас придворными. Я приник к чешскому пilsенскому пиву, которое отлично шло под шпигачки, привезенные Ксенией Арнольдовной, и которые Ирочка ловко поддурманивала на противне в электрической духовке. Глебушка глотал одну за другой рюмки армянского коньяка «Арарат» (пять звездочек и заоблачная вершина), запивая алкоголь крепчайшим кофе, который он варил в электрическом комбайне, подаренном к этому дню родителями Ирочки и привезенном из поездки Федора Николаевича Князева в успокоенную и снова дружественную Венгерскую народную республику. Комбайн пыхал и выпускал кофейные пары, как игрушечный паровоз *chuchu train* из моего далекого будущего. Васенька же Рубинштейн, проглотив одну-две-три стопки литовской брусничной водки «Паланга», вращался по орбите: кухня — столовая /гостиная — кухня, раскладывая на китайские, разрисованные пузатыми человечками, тарелки, блюда и прочие посудины, многочисленные рыбные и мясные холодные закуски, привезенные в воцаных упаковках из ресторана при гостинице «Европейская». Сенсацией же вечеринки предполагалась индейка, нашпигованная чесноком, натертая сухумской аджикой, набитая антоновскими яблоками, обложенная младенческими картофелинами и засунутая в пекло духовки. Вася Рубинштейн наблюдал за всей гастрономией. Наблюдал, сохраняя всегдашнюю доброжелательную улыбку видавшего вида бармена.

Собственно, мы (я, Глебушка, Васенька и юбилейная Ирочка) больше никого не ждали. Тем удивительнее было некоторое сопротивление или, точнее, торможение Ирочкой сигнала начать ужин. И не напрасно. Раздался очередной звонок. Ирочка бросилась открывать. Мы услышали радостный возглас и звонкие поцелуи, после чего в столовую/гостиную вернулась наша хозяйка, ведя под руки двух новых гостей, в одном из которых я узнал Федора Николаевича Князева, отца Ирочки, а другой был представлен как гость из Москвы и восходящая звезда советской экономики Вадим Алек-

сеевич Рогов. Вновь пришедшим тотчас были настоятельно предложены стопки водки, рюмки коньяка, стаканы одного из грузинских вин: красного «Мукузани» или «Алазанской долины», а если пить красные неуютно, раскупорили грузинские белые вина «Цинандали» и «Твиши». Федор Николаевич предпочел «Мукузани» водке и коньяку, хотя мог не ограничивать себя в потреблении сорокаградусного алкоголя: у подъезда ждала директорская победа с личным шофером. Гость же по имени Вадим Алексеевич Рогов присоединился к Глебушке Карелину, не преминув сказать любезность по поводу исполнения нашим другом-пианистом этюдов Шопена на концерте в Доме ученых в Москве. Не надо было обладать особенной наблюдательностью, чтобы заметить, как мгновенно Ирочка *положила глаз* на московского гостя. Она у нас была существом особенным, наделенным той высшей степенью женственности, которая сама по себе становится жизненной дипломатией. Вся компания сгрудилась вокруг мраморного прилавка, который отделял собственно кухню от столовой/гостиной и был отведен для предобеденных возлияний/закусываний.

Отвечая молодой звезде экономики на его любезный комплимент в сторону Глебушки Карелина, Ирочка очень ловко спросила у Вадима Алексеевича, не растолкует ли он всей нашей компании, весьма далекой от его области знания, что нового он предлагает для еще большего роста и без того гигантского нашего общенародного благополучия? Рогов приготовился ответить, улыбнувшись Ирочке и отставив стакан и тарелочку с бутербродом (срез батона, салями, швейцарский сыр), как черт меня дернул вставить некую фразу в пользу Васи Рубинштейна, намекающую на то, что и мы не лыком шиты, мол, и среди нас есть своего рода прикладные экономисты, если так можно назвать начальника цеха. Васенька, и вправду, уверенно продвигался на своем танковом заводе. «Значит, я не одинок», — улыбнулся (в мою сторону) Рогов и начал рассказывать Ирочке и всем нам, что он занимается экономикой лесов, древесины и всем, что связано с этой могучей областью естественных ресурсов. «Вот, например, основная масса леса идет на переработку в целлюлозу, из которой делают бумагу. Я проанализировал процесс и обнаружил, что огромные деньги можно получать дополнительно, если использовать все дерево целиком: листья, кору, древесные соки (жидкости) и даже корни. К примеру, и Федор Николаевич подтвердит (взгляд в сторону отца Ирочки — ответ-

ный кивок Вадиму Алексеевичу), что из листьев можно готовить первосортный гуталин и витамин С, а из коры качественную камфару. И так далее и тому подобное. То есть, к процессу деревообработки будут приобщены не только «бумажники», но и представители химической промышленности и фармацевты. А это значит, дополнительные деньги и даже иностранная валюта при продаже этих побочных продуктов за границу. Верно, Федор Николаевич?» «Абсолютно, Вадим Алексеевич! Я предлагаю тост за нашего московского гостя!» Компания дружно выпила, после чего отец Ирочки раскланялся со всеми, поцеловал Ирочку в обе щеки и удалился. Теперь уже и вправду, пора было садиться за стол и обедать. Тем более что Ирочка выгащила индейку из духовки электрической плиты. И вдруг *мой тоскующий ангел* Васенька Рубинштейн взорвался. Так случается с покладистыми доброжелательными людьми, в особенности, принадлежащими к русской социальной культуре. Таких/такого справедливо называют: «русский медведь», имея в виду цыганские пляски на цепи и внезапные бури озлобленного протеста. Теперь уже, задним числом, понимаю, что Васенька интуитивно почувствовал в Рогове своего главного противника (в далеком будущем). *Мой тоскующий ангел* — Васенька Рубинштейн — взорвался. Со стаканом бурлящего «Боржоми» придвинулся он к Рогову и произнес такую длинную тираду, какой я вовек от него не слышал: «Позвольте с вами не согласиться, уважаемый московский гость. То есть понять благие ваши намерения, но не разделять с вами экономического оптимизма».

«Поясните, пожалуйста, почему?» — спросил Рогов. «А потому, что прежде всего надо учитывать, что все лесное хозяйство засекречено-пересекречено, поскольку русский лес тянется от западных до восточных и от северных до южных границ нашей родины, и *каждый шаг в сторону* (язык ГУЛАГа) требует разрешения особых отделов. Даже ваша камфара, даже витамин С прежде всего должны будут пройти определенные, чаще всего, недостижимые инстанции, чтобы доказать, что это невинные лекарства, а не стратегические вещества». «Ну, положим, в чем-то вы правы, Василий... («Павлович», — подсказали из публики)... Василий Павлович! Но в конце концов согласуют, разрешат, будут продавать и получать дополнительные деньги. То есть, подтолкнут экономику. И так в любом производстве». Гости воспользовались паузой и наполнили стопки/рюмки/стаканы. Васенька на это ответил: «Возь-

мом производство танков. Оно так засекречено-пересекречено, что предложи я или кто другой (впрочем, никто другой не сможет даже попасть в мой цех по той же причине сверхсекретности), предложи я готовить авторучки из остатков производства деталей для будущих танков, меня либо выгонят за несоответствие с должностью, либо упекут в психушку.

И так везде. Вся страна парализована жестокой системой государственного контроля экономики и специального контроля органами госбезопасности». «Что же, вы предпочитаете увозить на свалку неиспользованные излишки производства и уступаете место криминальной *теневой экономике*?» — схватился Рогов за последний спасательный круг спора. «Она и так процветает по всей стране, эта теневая экономика. Просто на нее закрывают глаза как на неизбежность или получают чаевые. А, вернее, то и другое». Подобной речи от Ирочкиного *тоскующего ангела* никто не ожидал. Что явилось запалом, воспламенившим его в высшей степени уравновешенную натуру? Не иначе как предчувствие грядущей в далеком будущем борьбы с Вадимом Роговым за обладание Ирочкой. Обладание в полном смысле единоличного феодального владения душой и телом Ирочки, а не какого-нибудь сексуального эпизода, названного пародийно-возвышенно: *обладание*. Я верю в интуицию. Ирочка так намагничивала свое окружение, что многие события, происходившие при ее участии, могли быть объяснены только с позиций парапсихологии. Это к слову. А вообще-то, крамольные речи и даже намеки на вольные разговоры в нашей компании не проходили. Ирочка не способствовала. Она предпочитала легкие приятные беседы, даже *соленые* анекдоты, даже вполне раскрепощенные эротические темы и воплощения, но не серьезные разговоры о политике, внешней или внутренней.

Помню несколько эпизодов, в которых проявилась Ирочкина способность уходить от нежелательных тем. Хотя и задним числом я поражаюсь моему навязчивому упрямству. Ведь, несмотря на ее тактичные *отводы* от политических тем, я пытался неоднократно посвятить Ирочку в мои рискованные литературные пристрастия. Началось все в 1956 году вскоре после выхода романа Дудинцева «Не хлебом единым». Роман читали все. Номера «Нового мира» зачитывались до того, что типографская краска осыпалась со страниц, оставляя бледные тени букв. Студенты читали роман с воодушевлением. Устраивались бурные обсуждения с затрагиванием

опасных вопросов. Я с невероятным трудом получил разрешение моего приятеля, владельца номеров журнала, продлить чтение на сутки, чтобы дать роман Ирочке. Она вернула мне его с милой улыбкой: «Довольно старомодная любовная история, правда, Даник?» Также равнодушна была Ирочка к подавлению венгерских событий 1958 года и публичному шельмованию Пастернака за роман «Доктор Живаго». Как будто бы политика не смешивалась с ее радостной натурой, как масло с водой.

И при этом Ирочка обладала несомненной властью над нами. Достаточно вспомнить признание Васеньки Рубинштейна еще в прошлом году, когда я навесил Ирочку в Бокситогорске и свалился в крупозной пневмонии. Именно тогда Васенька привез эритромицин, который вытащил меня из болезни. Именно тогда и признался мне Васенька: «Я от жены и трехлетней дочурки из-за Ирочки ушел. Причем, без всякой надежды получить ее когда-нибудь. Но, даже зная это, сделаю без оглядки все, что она попросит».

Наконец, на стол были поставлены новые закуски и раскупорены новые бутылки. В середине стола освободили место для индейки, такой аппетитной, такой поджаристой, такой ароматной, такой возбуждающей, такой новогодней (а день рождения — это и есть Новый год), что дискуссия сама собой улеглась, гости угомонились, а Васенька, облаченный в белый сатиновый передник, вполне в стиле французских гарсонов, начал разрезать сказочную птицу на пласты дымящегося мяса и раскладывать индюшатину по тарелкам гостей. Беседа велась вполне миролюбивая. Глагол *вилась* тоже подходит, потому что застольная беседа *вилась и велась* безо всяких дискуссий, а наша хозяйка была настолько прозорливой и осмотрительной, что сервировала стол, оставив между гостями несколько свободных стульев: вдруг еще кто-нибудь забежит на огонек! Ирочка время от времени пересаживалась с одного свободного стула на другой, одаривая нас всех милым разговором и дыханием нежного тела. В который раз я принимаюсь вспоминать всю историю нашей любви (всей компании к Ирочке и отдельно моей к Ирочке), и каждый раз самым первым появлялось ее милое лицо, веселые серые глаза, совершенная линия стрижки на горделиво посаженной голове, античная шея, грудь, спина, ноги. Все соответствовало слову *красота*. Эта женщина-красота переходила от одного к другому, никого не обделяя, но и никому не давая преимуществ даже в надежде на будущее. Наверно, мне было легче,

нежели другим. Глебушке Карелину, пожалуй, тоже. Оба мы прошли пик нашей пылкой влюбленности. Так казалось нам, забывшим или не знавшим, что биологическим процессам присущи колебания и возвраты, образующие несколько витков и пиков, (недаром структура ДНК напоминает винтовую лестницу, а любовь есть еще и часть биологии) и могли себе позволить находиться в состоянии блаженной нирваны. Мы и продолжали довольно активные возлияния, в то время как Вадим Рогов остановился на третьей рюмке коньяка, скупое ел и, пожалуй, принял тактику активного выжидания. Когда в очередной раз Ирочка подседа к московскому гостю, он с энтузиазмом принялся рассказывать ей, как удобно в самом центре Москвы расположена его квартира, в которой он живет с пожилой матерью, вышедшей на пенсию с должности редактора в отделе прозы издательства «Художественная литература». «Вот бы отдела поэзии, — с энтузиазмом подхватила Ирочка, — помогла бы нашему Данику достать переводы!» Меня эта практичность Ирочки задела за живое, но пока я подыскивал подходящую форму вежливого отказа от покровительства, Вадим Рогов вальяжно вставил словцо: «Никаких проблем! У матушки все связи сохранились. Поможем!»

Вдохновленный дополнительным вниманием Вадим Рогов вдруг добавил: «Кстати, в поддержку моей идеи о возможности присоединять к крупным предприятиям так называемые «сателлитные» цеха, мы с профессором Князевым предложили вдобавок к получению камфорного масла и других лечебных продуктов из древесной коры, начать добычу березового гриба — чаги». «Что? Что это за чага? Объясните! В первый раз слышим: чага!» — посыпались вопросы. Конечно же, это были сухие ветки в роговский костер. «Ничего не знаете про чагу? — спросил Рогов. — Тогда я коротенько расскажу. Чага это черный гриб, паразитирующий, как правило, на березе, а иногда и на ольхе, вязе, буке или рябине. Но обычно на березе. Потому в народе и зовут его березовый гриб. С давних времен отваром чаги в народной медицине лечили всякие хронические или воспалительные процессы и даже опухоли. Так что вот на базе Лесной академии мы собираемся открыть первую производственную лабораторию по добыче чаги и изготовлению лечебного экстракта из чаги — бифунгина. Была даже заметка в «Вечернем Ленинграде». Никто из компании заметку не читал. Ирочка воскликнула: «Потрясающе! А когда начнутся испытания

чаги?» «На животных уже начаты», — ответил Рогов. «Где?» — спросила Ирочка, живо заинтересовавшись. «В Институте онкологии на Березовой аллее. Какова игра слов получается!» — сострил Рогов. «А если без игры слов, а по существу? Начали лечить больных?» — спросил Васенька Рубинштейн. «Именно! Там же — на Березовой аллее! — ответил Рогов. — Но препарата чаги — бефунгина крайне мало».

Все эти маневры московского гостя продолжали возбуждать Васеньку Рубинштейна. Это видно было по его лицу. Но как человек добродушный, доброжелательный и не слишком острый на словцо, он все никак не мог найти вежливую форму для торможения активности нового претендента на Ирочкину благосклонность. Или была другая причина, а не только Ирочка? Васенька к месту и не к месту обращался к Рогову как к *нашему индийскому гостю* вместо *московского гостя* и, не добившись никакой реакции, прямолинейно объявил, что будет исполнять песню индийского гостя из оперы Римского-Корсакова «Садко». Он даже спел несколько музыкальных фраз, но ступевался и уселся на место, продолжая запивать индейку торопливыми глотками «Мукузани». Ирочка взглянула на Васеньку с досадным недоумением. Да, *ее тоскующий ангел* был чем-то серьезно встревожен. Словно кого-то или чего-то ждал или что-то предчувствовал.

В это время в дверь позвонили, и наша именинница поспешила открывать. Это было, как в театре. Мы сидели на сцене вокруг праздничного стола, а из-за кулис, куда убежала Ирочка, слышался ее серебристый смех и неразборчивые длинноты второго голоса. Через две-три минуты подталкиваемый хозяйкой в столовую вошел капитан Лебедев Николай Иванович. Я впредь буду его называть по фамилии, имени и отчеству или воинскому званию *капитан*, хотя никаких сомнений нет, что его воинские звания успешно росли, соответственно сроку службы и заслугам. Он был в костюме мышастого цвета, голубоватой рубашке, зеленоватом галстукенеразвязайке и с пышным букетом георгинов, помахивавших красными, белыми и бело-красными хвостами лепестков. Ирочка, казалось, была несколько удивлена, но виду не показала, приняла букет, подставила одну за другой щеки для поздравительного поцелуя и усадила нового гостя на свободный стул между мной и Васенькой Рубинштейном, что было естественно при нашем знакомстве еще с Бокситогорска. Лебедев нимало не смущаясь бросился

было произносить тост, но был приторможен Ирочкой, которая, улыбаясь и предлагая очередному гостю закуски (водку налил кто-то незамедлительно), поинтересовалась, как это он узнал и пришел поздравить в срок, хотя точная дата дня рождения несколько расходилась с нынешней? Почему не позвонил предварительно? И вообще-то, откуда приехал? На что Лебедев, все равно начав с поздравления именинницы, объяснил, что по долгу службы переведен в Ленинград, где работает в известном и очень серьезном учреждении на Литейном проспекте, которое уважительно называют Большой Дом, а насчет празднования дня рождения, то как говорят в народе, слухом земля полнится. В ответ мой внутренний застольный механизм, ведающий скорыми ответами на такого рода народные присказки, завертелся, закрутился и хотел было связать на тему Большого Дома и антенн на его крыше, приспособленных для отлова подобных слухов. Все же я заставил себя сдержаться. А потом было поздно острить, потому что в столовую быстрыми шагами вошла миловидная молодая женщина выраженного еврейского фенотипа.

«Я извиняюсь! Я очень извиняюсь! На двери висит табличка: *Профессор Федор Николаевич Князев*. Дверь открыта. Или я ошиблась адресом?» — сказала молодая женщина еврейской наружности и окинула взглядом стол, пытаясь определить среди сидевших профессора Князева. Ирочка поднялась и пошла к ней навстречу: «Нет, вы не ошиблись, милая. Это, действительно, квартира профессора Князева. Правда, в настоящее время его здесь нет. Но это неважно. Я его дочь. Меня зовут Ирина. Ирина Федоровна Князева. Чем я могу вам помочь? Кто вы?» Незнакомка окинула наше застолье горящим возбужденным взглядом, который, как палочка дирижера или рука гипнотизера, повел за собой наши взгляды, и остановился на Васеньке Рубинштейне. «Как вас зовут?» — повторила Ирочка. «Римма, — ответила знакомка. — Римма Исааковна Рубинштейн. Хотя, я, наверно, схожу с ума, что неудивительно в моей ситуации. Но вот он (знакомка показала на Васеньку) подтвердит, что я вас не обманываю, потому что он — это мой почти что бывший муж — Василий Павлович Рубинштейн». Васенька сидел не шелохнувшись. Мягкая улыбка покинула его широкое хазарское лицо. «Пожалуйста, подтверди, Василий!» «Подтверждаю. Моя почти что бывшая, — кивнул Васенька совсем невесело. — Зачем ты сюда пришла, Римка?» «Ну, ясно, что

не из-за тебя. Ты для меня не существуешь больше года! Мне нужен профессор Князев!» «Что же вы стоите, Римма? Садитесь, хотя бы сюда, — Ирочка показала на стул между собой и Роговым. — Отдохните, выпейте с нами. Что вам налить?» «Немного водки», — ответила Римма. «Налейте Римме водки!» — сказала Ирочка, и кто-то из гостей, кажется, Рогов, налил водку в подставленную Ирочкой стопку. «Ну и выпьем за знакомство, Римма. А потом расскажите, зачем вам понадобился мой отец — профессор Князев?» — спросила Ирочка. У нее была какая-то неповторимая врожденная способность успокаивать людей, находить слова, которые хотя бы на время снимают тревогу. Да и водка начала производить седативный эффект. «Все это совершенно невообразимо. Я искала профессора Князева, а встретила с его дочерью. И Василий тут же оказался. Правда, это странно, Вася?» «Очень», — согласился Васенька и тоже выпил водки. «Все-таки скажите Римма, зачем вам понадобился мой отец?» — повторила Ирочка. «Я не знаю, с чего начать. Вы празднуете, а я со своим несчастьем. Я ведь не предполагала... Думала поговорить с профессором Князевым... Все произошло так внезапно. Я сама работаю в гомеопатической аптеке. Но, знаете, против рака гомеопатия бессильна. И вот возвращаюсь я из аптеки, покупаю в газетном киоске газету «Вечерний Ленинград» и читаю коротенькую статью, в которой корреспондент газеты написал о том, что в Лесной академии организуется лаборатория по сбору березового гриба — чаги. И что получены первые наблюдения по лечению отваром этого гриба людей, больных раком». «Покажите мне газету!» — воскликнул Рогов.

Римма достала из кожаной сумки, которую она перебрала с плеча на спинку стула, газету и показала Рогову: «Вот здесь!» Московский экономист мгновенно пробежал статью и воскликнул: «Закрутилось! Я вам говорил, что закрутится! Ай да Федор Николаевич! Каков молодец! Не успели подписать соглашение — сразу в печать! Пусть народ знает своих героев!» Римма перебежала взглядом с Рогова на Ирочку, никак не решив, с кем быстрее и надежнее поговорить о своем деле. Выручила Ирочка. «Рассказывайте, милая, зачем вам все-таки мой отец?» «Дело в том, дело в том...», — Римма зарыдала, не в состоянии продолжить свой рассказ, в сущности, и не начатый. Ей принесли воды, дали салфетку, началось оживленное движение, которое так естественно и к месту в русском застолье (а это может быть скандал, примирение, драка, вызов

«Скорой помощи» или наряда милиции, участковый с повесткой из Прокуратуры или Райвоенкомата, бог знает что!), когда выпито много, и беседа зашла в тупик. Подобные *вставки*, как это случилось с Риммой, очень хороши для поддержания духа застолья. Наконец, она вытерла слезы, напилась воды, даже подцепила вилкой ломтик индейки и начала рассказ: «Кто у меня есть? Об *этом* говорить не будем (Римма с презрением взглянула на Васю Рубинштейна). Итак, дочка Асенька и моя мама. К несчастью доктор-онколог сказал, что у мамы в правой почке рак, который оперировать поздно, потому что метастазы расползлись по всему организму. Поверьте, я была абсолютно парализована. Не знала, что делать, куда кинуться за помощью. И вот сегодня читаю в «Вечерке» о березовом грибе, который может вылечить мою маму. Помогите мне, пожалуйста, встретиться с профессором Князевым!»

Гости отнеслись к Римме более чем доброжелательно. В особенности, наблюдая за гостеприимством хозяйки, а кроме того, не обнаружив враждебности со стороны Васеньки к его бывшей жене. Хотя она и заявила вначале, казалось бы, определенно, что наш приятель для нее не существует, он более чем существовал. И этому было скорое подтверждение. Каждый из нас понимал, что оба — Васенька и Римма нуждаются в снисхождении и сочувствии. Особенно Римма. Наилучшим было бы немедленно отвлечь их обоих от психологической скованности, в которой они оба оказались. Конечно же, Ирочка пришла на помощь, показав свой коронный номер. Пожалуй, только Рогов и Римма, и, возможно, капитан Лебедев никогда не видели этого сногсшибательного трюка. Ирочка стрелба с середины массивного дубового обеденного стола блюда, тарелки, приборы, бутылки, стаканы и прочие аксессуары праздника божественной еды и обильного питья вместе со скатертью, шагнула на стул, показав обольстительную ногу, а со стула — на коричневую в разводах сценическую поверхность именинного стола и крикнула нашему гениальному пианисту: «Глебушка, миленький, сыграй *мою* цыганочку!» Глеб с готовностью, как будто ждал этой минуты весь вечер, бросился к пианино начал играть. Ирочка отплясывала, любимый танец легендарных гусар, которые, согласно простодушным мифам, все вечера и ночи проводили в трактирах с цыганскими хорами и крали из табора себе в жены чернооких красавиц, звенящих серьгами в размер медного таза и ожерельями, на которые пошла, по крайней мере, половина цар-

ских золотых монет, украденных из государственной казны. Мы все были в диком восторге от лихих всплесков клавиатуры, которую Глебушка неистово перебирал, необузданно хохоча, взмахивая руками, подпрыгивая на круглом табурете-вертушке и лихо подпевая: «Цыганочка гопа-гопа, тебя любит вся Европа, черная кудрявая меня свела с ума!..» Мы плясали вокруг стола с таким энтузиазмом, что не заметили, как мелодия «Цыганочки» сменилась «Лезгинкой», а потом — зашифрованным под расписание поезда «Ленинград — Москва», уходящего в 7.40 вечера, еврейским танцем «Фрейлекс». Вот тут южная натура Риммы всплеснула, затопив беду, обиду и застенчивость. Или ее подтолкнула выпитая ко времени водочка? Она вслед за Ирочкой забралась на танцевальную эстраду дубового стола. Глебушка наяривал, а Ирочка и Римма, как природные солистки цыганского хора, притопывали, прихлопывали и поводили плечами с накинутыми воображаемыми шальями. Вся наша именнинная компания плясала вокруг стола, конечно же, включая Васю и даже двух новичков: капитана Лебедева и Вадима Рогова. Когда дело дошло до «Калинки — малинки» капитан Лебедев оказался самым успешным солистом/вокалистом и солистом/плясуном. Он знал досконально не только все слова знаменитой русской песни, но и все коленца плясового варианта «Калинки» в исполнении Ансамбля песни и пляски советской милиции. Васенька Рубинштейн отплясывал ближе всех к столу/сцене, то ставя руки в боки, то лихо взмахивая руками, получая необыкновенный заряд плясовой и песенной энергии от обеих плясуний Ирочки и Риммы.

Положение оказывалось действительно запутанным. С одной стороны — Васенька Рубинштейн, который, по его собственному признанию, ушел от жены и маленькой Асеньки единственно из-за Ирочки. Ушел в надежде на то, что когда-нибудь Ирочка окажет ему исключительную благосклонность. Могут возразить: зачем уходил? Дело-то безнадежное. Наверняка, уходил-то именно потому, что надеялся, хотя надежды никакой не было. Ирочка никого из нас выделять не собиралась. В самом деле, Васенька ушел из семьи не из-за того, что обнаружил у своей законной жены Риммы какие-то раздражающие или отвращающие его черты или привычки. Совсем наоборот, он и по сей день был убежден в том, что Римма — женщина миловидная и очень даже привлекательная, и готов был бы на любой дуэли (кулаки, пистолеты, шпаги, картеж-

ная игра, скажем, покер) отстаивать ее достойное право выступать в разряде красавиц. Дело в том, что Васенька был максималист и не мог, оставаясь внутри любящей и любимой семьи, продолжать соревноваться за обладание Ирочкой. Каждый знал (разве что за исключением капитана Лебедева, у которого свой кодекс чести и свои мечты о будущем), что Ирочка требует полной отдачи, ежесекундного поклонения и безусловного оказания знаков исключительного внимания. Мы были рыцари, а она — Прекрасная Дама. Правда, можно было *соскочить* с подножки экспресса «Ирочка Князева» по собственной воле или, будучи вытолкнутым, ясно представляя себе, что попасть обратно в круг ее поклонников — дело чрезвычайно сложное, а порой невозможное. Но визит Риммы Рубинштейн и безнадежное (если исключить предполагаемый магический эффект березового гриба) состояние ее матери создавало неожиданную ситуацию, при которой Васенька должен был принять участие в судьбе своей почти что бывшей тещи — бабушки его любимой дочери Асенки.

Вот тут-то и произошло то самое, что подходит под физическое и, одновременно, метафизическое объяснение происходящему. Подходит как доказательство существования некой детерминированной высшей силы или, наоборот, безбожной веры в ожидаемые случайности, выныривающие из космоса, согласно закону больших чисел. Справедливость, ведающая движением сюжета, должна была распорядиться так, чтобы случайная встреча Васеньки и Риммы Рубинштейн не утекла в болото неопределенности. Именно это и произошло. Темпераментная и непривычная к местным сценическим условиям (шлифованная поверхность обеденного стола), Римма так лихо отплясывала «Фрейлекс», что оступилась и грохнулась на пол. Через минуту она едва не кричала от боли в правой лодыжке, а еще через несколько минут мы увидели, как буквально на глазах у всей компании правая Риммина стопа отекает и начинает наполняться синеватой кровью, излившейся из лопнувших сосудов. Ирочка ловко соскочила со стола, принесла из морозильника пакет со льдом, который и приложила к распухшей ступне новоявленной плясуньи. Не кто иной, как Васенька Рубинштейн, сбегал вниз на Кировский проспект, остановил такси, дал шоферу пятерку в задаток, вернулся в квартиру и осторожно свел Римму в подъезд, а оттуда на улицу, где ожидало такси. Вскользь упомянем о лифте, который помог опустить пострадавшую береж-

но и быстро. Лифты в те времена были признаком социальной роскоши. Вася сказал шоферу, чтобы вез больную в травматологический пункт больницы Эрисмана, что было рукой подать, поблизости от набережной речки Карповки. Был конец недели, суббота, вечер выходного дня, когда народ гуляет, пьет, скандалит, дерется и попадает в милицию и на травматологические пункты. Или туда и туда. Ждать пришлось не менее трех часов, пока Римму осмотрел фельдшер, который направил ее на рентген поврежденной ступни, а потом пригласил хирурга-травматолога, который изучил рентгенограмму по еще мокрой от воды пленке, обнаружил трещину в правой наружной лодыжке и назначил наложение гипсовой лангетки. Конечно же, в течение этих трех часов и не только по просьбе Риммы, а также по своей инициативе, Васенька бегал к телефону-автомату звонить Асеньке, с которой сидела бабушка, та самая мать Риммы, у которой обнаружена опухоль почки, то есть разговаривать, в первую очередь, с бывшей тещей (хотя до развода дело еще не дошло, и значит, не бывшей, а фактически, настоящей), чтобы ни Асенька, ни она (теща) не волновались, потому что Римма скоро будет дома.

Вся эта история с днем рождения (одна из многих историй, включенных в мое повествование) настолько вышибала почву из-под ног первоначальных поклонников Ирочки (прежде всего из-под моих и Глеба Карелина), что на время наша королева парадоксально исчезла из круга моих ежедневных интересов. Я ее насильственно забыл. Наверняка, Глеб чувствовал нечто похожее. Во всяком случае, я не звонил ни Ирочке, ни Васе Рубинштейну и не знал, что происходит вокруг березового гриба — чаги. Однажды через два-три месяца после Ирочкиных именин позвонил Рубинштейн и сказал, что как будто бы чага действует благотворно на тещину опухоль, и появилась надежда. Самое интересное, по словам Васи, было то, что Римма и Ирочка крепко подружились, что с одной стороны восстановило Васины отношения с женой и дочкой Асенькой, а с другой — сделало двусмысленной или даже бессмысленной модель его прежних отношений с Ирочкой. Как будто бы Римма заняла его место или хуже того, стала первой среди Ирочкиного окружения.

Впоследствии мне удалось реконструировать месяцы жизни без Ирочки. Я имею в виду без физического присутствия Ирочки в моей ежедневной рутине. Во всем остальном, то есть в моих снах и

моих дневных миражах она не переставала присутствовать. Почему я сам по себе отошел от нее на длительное время? Впервые добровольно отошел надолго? Думал излечиться от нее как от хронической болезни? Ирочка была для меня наркотиком. Если считать пристрастие к наркотикам болезнью, то правда, хотел. Но ведь наркотическая нирвана влюбленности — это наслаждение. Зачем же лечиться от тяги к наслаждению?!

По ходатайству издательства «Художественная литература», с которым я продолжал сотрудничать как поэт-переводчик, мне провели телефон. Но я не звонил Ирочке, и она не звонила мне. Так что все сведения, изложенные в этом куске повествования, вернее, реконструкция общей картины ее жизни в эти месяцы почерпнута из кусков воспоминаний, принадлежащих разным источникам. Больше всего сведений я получил от Васи Рубинштейна, который вместе с Риммой постоянно общался с Ирочкой. И, как ни странно, от Рогова, который не обманул и ввел меня при помощи своей мамы в московское издательство. Именно Рогов в соавторстве с профессором Князевым и при участии Ирочки создал проект «Чага».

Профессор Федор Николаевич Князев вместе с московским экономистом Вадимом Алексеевичем Роговым *выбили* деньги в Министерстве лесной и бумажной промышленности, в состав которого входила Лесная академия. Директором академии был отец Ирочки. По нынешним временам это называется грант. А в те далекие времена заматерелой Совдепии деньги эти могли называться, скажем, капитальным вложением, дотацией и т.п. Своего рода экономическим экспериментом, теоретическую основу которого составляла гипотеза Вадима Алексеевича Рогова о развитии прикладных лабораторий и предприятий, потребляющих побочные продукты ведущих народных индустрий. Так что профессор Князев и экономист Рогов получили деньги под развитие экспериментальной фармацевтической лаборатории, в одну из первых задач которой входила добыча березового гриба — чаги, получение из него концентрата и широкая проверка лечебной силы чаги на белых мышках, зараженных раком, и затем — на больных людях. Клинические испытания на большой группе раковых больных предполагалось проводить в Институте онкологии на Березовой аллее Каменного острова города Ленинграда.

Кому как не Ирочке было возглавить новую лабораторию? Она отработала положенные два года в глубинке (Бокситогорск) на

должности терапевта и обнаружила, что быть участковым терапевтом или даже больничным ординатором не хочет. Кто как не Ирочка был создан для организации будущей лаборатории!? Эта идея пришла в голову Федору Николаевичу, который поделился мыслями с Ксенией Арнольдовной. «Да, идея прекрасная, — одобрила жена. — Кто, как не родной отец и, к тому же, директор, придумает и организует?» Первой реакцией Ирочки было чувство удовлетворения, а второй — полное отрицание. Анархистка и футуристка (как ей казалось), Ирочка ненавидела всякого рода администрирование, то есть насилие над чьей-то волей, хотя бы для пользы дела. Она совершенно по-другому собиралась распорядиться своей свободой, обретенной после ссылки в Бокситогорск. Она хотела заниматься наукой, но художественной наукой, оптимистической, находящейся на грани со спортом, балетом, изобразительным искусством. Она была начитанной молодой женщиной с воображением и эрудицией, полученными из чтения русской, и, преимущественно, англоязычной литературы, и представляла себе разницу между ежедневным кропотливым трудом в лаборатории и приятной жизнью врача спортивной медицины с тренировками на зеленых просторах стадионов или на морском берегу во время лагерных сборов команды, которую она будет опекать. При этом само собой предполагался сбор материалов по профилактике травм или инфекций у спортсменов, чтобы эти наблюдения через несколько лет стали базой статистических данных для диссертации. Или, скажем, не менее романтическая тема: предотвращение травм у артистов балета. Или — как высшая, но достижимая мечта — защита диссертации на тему: «Воспроизведение анатомических деталей человеческого тела в живописи итальянских мастеров».

Ирочка даже перестала звонить родителям, так обиделась на мизерное предложение стать заведующей лабораторией древесных грибов. И это при ее мечтах, красоте и таланте! Она сама начала поиски аспирантуры. Фантазии написать диссертацию на грани искусства и медицины отпали сразу же. Ни одна из медицинских кафедр этой темой не интересовалась, никакая аспирантура под такой проект не могла быть открыта. А вот в институте физкультуры и на кафедрах физиотерапии нескольких медицинских институтов (их было три в Ленинграде) предотвращение и лечение последствий травм было традиционной темой диссертаций. Ей предлагали заполнить и оставить анкеты в отделах кадров. Однако

вскоре оказывалось, что все аспирантские места были заняты, а новых открывать не предполагалось. Когда же Ирочка, расстроенная и разочарованная полным расхождением своих надежд и реальности, приехала поплакать на груди у матери, Ксения Арнольдовна напомнила дочери, что кадровики с ухватками чекистов-археологов мгновенно докапываются до материнской девичьей фамилии: Каган.

Оставалась экспериментальная фармацевтическая лаборатория при Лесной академии.

Странно, что при территориальной близости моего дома к химическому корпусу Лесной академии, я ни разу не столкнулся с Ирочкой. Вспоминается, что я иногда прогуливался в академическом парке. Иначе и быть не могло. Приходилось выветривать алкогольные пары, распивавшие мою черепную коробку. Как неточно сказано кем-то во времена окостенения русского языка — черепную коробку! Скорее, амфору (горлом вниз). Вот они — голова и шея. Эллипсоидное костяное вместилище мозга на шее-подставке. В те дни, когда у меня не было уроков в школе, я посвящал себя работе над переводами и сочинением собственных стихов. Проснувшись около двенадцати-часу дня, я прогуливался по Лесотехническому парку, но ни разу не сталкивался с Ирочкой. Кофе, яичницу, батон с маслом я проглатывал с невероятной скоростью и брался за переводы. Слава богу, я укладывался в бюджет, преодолев 50–60 строк за день, и со спокойной совестью садился за сочинение собственных текстов. Я даже позволял себе иногда вставать из-за «Олимпии» и смотреть в окно, окаймленное березой и черемухой. Это окно было визави химического корпуса, где, как оказалось, начиналась жизнь Ирочкиной лаборатории, о которой я почти ничего не знал. Хотя мы и перезванивались иногда с Глебушкой, но дружно обходили тему Ирочки Князевой. Щадили друг друга? Стыдились своей замершей любви?

Вот мое окно, закрытое, замазанное и заклеенное на зиму и распахнутое летом. За окном Новосельцевская улица, а за ней высокий забор, составленный из чугунных пик. Старинного литья тяжелые ворота, всегда заперты на цепь с замком. Чугунная калитка. Между моим окном и забором Лесной академии оставалось пространство травы (весной, летом и осенью) или снега (зимой). Над травой или снегом стояли дубы. Четыре или пять старинных дуба. По окружности желтели каменные строения, отштукатурен-

ные, покрашенные в желтушный цвет и похожие, как близнецы, друг на друга. В одном из них я жил в то время. Посреди желтушных строений до революции стояла церковь (снесена до последнего кирпича). Я каждый день видел дубы, желтушные кирпичные дома и чугунный забор, за которым стоял лабораторный корпус. Новосельцевская улица проходила под моим окном, отсекая химический корпус, в котором находилась Ирочкина лаборатория, о существовании которой я мало что знал.

Перевела меня через границу Риммочка Рубинштейн. В Лесотехнический парк можно было попасть разными входами. Так, что по теории вероятности/невероятности, прогуливаясь, я чаще всего пересекал Новосельцевскую улицу левее Химического корпуса и неизменно направлялся к прудам. Из Химического корпуса в Лесотехнический парк можно было проникнуть боковой калиткой, что и делали сотрудники разных лабораторий, когда нужно было идти в главное здание академии по служебным делам или в столовую. Была весна. Начинался тихий северный апрель, когда листья прорезаются сквозь капсулы набухших, как беременные, почки деревьев, с трудом решаясь окунуться из материнского тепла в пугающее пространство жизни. Я хотел было направиться вдоль аллеи к стадиону, туда, где верхний пруд парка соединяется с нижним при помощи заросшего кувшинками канала. Вдруг я увидел, что догоняю молодую женщину. Что греха таить: в те далекие годы каждая привлекательная молодая особа притягивала меня к себе. К тому же, длительное отсутствие Ирочки в моей повседневной реальности развязывало невидимые, но все еще существующие нити, сдерживавшие мою сексуальную свободу. Она была в черном драповом пальто с распахивающимися широкими краями, открывавшими при каждом шаге красивые ноги в черных чулках. Длинные черные волосы молодой женщины свободной волной падали на плечи и на спину. Только я хотел сказать какую-то вежливую банальность, как узнал в незнакомке Римму Рубинштейн. Она энергично шагала, размахивая изящным коричневым портфелем и напевая. Видно было, что она радуется жизни. Я успел подняться и поздороваться с ней: «Здравствуйте, Римма! Не узнали?» Она остановилась в недоумении: «Простите, никак не вспомню!» «День рождения Ирочки Князевой? На Кировском проспекте? В прошлом августе? Разве вы не Римма Рубинштейн?» Она мгновенно вспомнила: «Ну, конечно! Вас зовут Даня! Вы приятель моего

Васьки! Неужели он ничего не рассказывал?» «По правде говоря, ничего в связи с вами. Да и звонил пару раз не больше. У каждого свои дела! Как ваша мама?» «Мама тяжело болела. Спасибо, что вы вспомнили о моей маме!» «Как же! Как же! Отлично все помню! Ваше появление у Ирочки и разговор о вашей маме. У нее, кажется, было что-то с почками». «Рак правой почки. Но сейчас ей гораздо лучше. Она лечится в Институте онкологии на Березовой аллее. Сначала в стационаре лечилась. А теперь амбулаторно наблюдается и пьет отвар чаги, который мы готовим в нашей лаборатории. Впрочем, если вы меня проводите до главного здания академии, я расскажу подробнее». И Римма рассказала мне о том, как она сразу же поверила в чудодейственную способность березового гриба — чаги — вылечивать рак. В лаборатории кроме Ирочки и Риммы была еще санитарка, которая мыла колбы, пробирки и пипетки, и убирала помещение. На первых порах покупали березовый гриб в леспромхозах и у частных старателей, добывавших древесные наросты, где повезет. Но покупать дорого, и весной Ирочка собирается организовать экспедицию, чтобы добывать чагу в березовых рощах, срезая древесные грибы прямо с берез. Или, может быть, они отправятся в глубинку, куда-нибудь в Рязанскую область, где березовые рощи шумят над берегами Оки. Тогда будет достаточно концентрата чаги для лечения экспериментальных белых мышей. И, наконец-то, лаборатория сможет снабжать чагой Институт онкологии, где Ирочке отведут целую палату больных с метастазами рака.

Я не решался спросить, вернулся ли Васенька к жене и дочке. Слишком запутанно все получалось: Ирочка и вокруг нее Римма, Вася, Глебушка Карелин, Рогов, я. Хотя мы с Глебушкой временно отошли. Не знаю, как Глеб, но я внезапно понял, что этот долгий перерыв, это насильственное самоотсечение от Ирочки было актом искусственным, вроде любовного мазохизма, с которым надо было немедленно кончать, если я не хотел превратиться в существо, лишённое мечты о будущем. Проводив Римму до главного здания Лесной академии, я помчался домой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Я промучился полдня, бродя из угла в угол, разогревая чай и поглощая бутерброды, но ничего лучшего не придумал, как отправиться в Химический корпус. Я разыскал Ирочкину лабораторию, на двери которой висела табличка с татарским словом ЧАГА, постучался и услышал: «Войдите!» Ирочка была в синем

полотняном халате, какие носят химики. Комната была небольшая, с окном, двумя параллельными лабораторными столами, полками со штативами, колбами, фильтровальными насосами, пипетками и химическими реактивами в темных склянках с этикетками и химическими формулами. Что-то кипело, булькало, выпаривалось. Один угол комнаты был занят огромным холодильником. В другом, около окна, стоял письменный стол с полкой для книг, стопкой машинописной бумаги, ручками и карандашами. «Я так рада, что ты пришел, Даня!» — сказала Ирочка, и мы обнялись, словно не было полугодового отчуждения.

Я преподавал в школе по вторникам, средам и пятницам. Часов набиралось ровно столько, чтобы зарплата хватало на еду, квартиру и кое-какую одежду. Гонорары за переводы уходили на бар в Доме Писателей, куда мы с Ирочкой отправлялись на такси после театра. Наверняка подобные вояжи в Филармонию и ресторан Дома работников искусств на Невском совершала Ирочка с Глебом Карелиным. Я об этом ее не спрашивал. Так же, как не спрашивал о ее встречах с Рубинштейном, Роговым и капитаном Лебедевым. По вечерам Ирочки не бывало дома. Или она не подходила к телефону, если не ждала назначенного звонка. Ирочка была влюблена в поэзию, музыку и живопись. Странно, что у нее не было среди поклонников ни одного художника. Или я не знал до поры? Однажды, когда мы сидели с ней за столиком в баре Дома Писателей, а за окном гудел и ухал ломающийся Невский лед, стремившийся в Финский залив и Балтийское море, Ирочка рассказала о своем давнем романе с молодым художником Юрием Димовым. Это было, когда она закончила 4-й курс медицинского института. Через многоступенчатые связи внутри академических кругов, к которым принадлежал Федор Николаевич Князев и его семья, Ирочке удалось устроиться помощником руководителя биологического кружка в пионерском лагере Академии наук на станции Комарово, Финляндской железной дороги. Любознательные девочки и мальчики среднего школьного возраста, вступавшие в возраст половой зрелости, на занятиях кружка бодро подсчитывали количество тычинок и пестиков у садовых и полевых цветков, рассматривали под микроскопом ток крови в языке лягушки и изучали регенерацию хвоста ящерицы, отторгнутого смертельно напуганным юрким животным. Особенно же были популярны наблюдения над развитием куриного яйца: от кровавого пятнышка-

зародыша до вылупившегося желтенького цыпленка, сразу же готового приплясывать и клевать. Юные натуралисты делали зарисовки цветными карандашами и акварельными красками. По чудесному совпадению «Изостудия» студента Академии художеств Юрия Димова располагалась рядом с домиком, где Ирочка обучала пионеров и школьников живой природе. Юра был истинным художником. Человек с легкой рафаэлевской внешностью не мог не быть художником: золотисто-желтые солнечные кудрявые волосы светились, как небесный нимб. Ко всему: круглые очки в золотой тонкой оправе и легкая летящая рука, которая рисовала что-то в воздухе, на песке, на листе бумаги или на холсте. Иногда молодой художник заглядывал к Ирочке и давал кружковцам неоценимые советы по части пользования карандашами и красками для зарисовок с биологической природы. Ирочка в свою очередь заглядывала к Юре Димову и даже пыталась нарисовать с природы гипсовую голову Аполлона, но не обнаружила при этом ни малейших способностей к копиистике. «Вот и прекрасно! Ты, Ирочка, просто-напросто обладаешь внутренним художественным талантом, который и воспроизводится в твоей красоте. Тебе ничего не надо копировать! Ты сама себя лепишь и рисуешь. За тебя все сделала природа!» — говорил ей Юра в утешение, но не пустое утешение, а основанное на его наблюдениях за живыми моделями. Он уже четвертый год учился в Академии художеств, и работал со многими натурщицами.

Руководители многочисленных кружков и студий, пионервожатые и воспитатели, жили в маленьких домиках, и надо было договариваться с соседями по комнате задержаться в столовой, в клубе или читальне, чтобы дать возможность той или иной паре побыть в домике наедине. Прогуливаясь после отбоя по комаровскому пляжу, Ирочка слушала рассказы Юры о прекрасных натурщицах, которые прямо там в классе после сеанса или даже в перерыве заходят за ширму и занимаются любовью с молодыми художниками. «Как это прямо в классе?» — не поверила Ирочка, на что Юра ни минуты не усомнившись, клятвенно обещал привести Ирочку в класс, где она все увидит самолично. Когда же, вернувшись в Питер, Ирочка время от времени напоминала молодому художнику о том, что он обещал взять ее с собой на урок обнаженной природы, каждый раз оказывалось, что очередная натурщица простужена, и сеанс переносится. Наконец, Ирочка, не терпевшая за-

путанности в отношениях со своими поклонниками, сама отправилась в Академию, благо путь был недалеким: от Кировского проспекта напрямик на такси до стрелки Васильевского острова, а после — по Университетской набережной, мимо крылатых львов-сфинксов — до здания Академии художеств. Ирочка узнала у вахтера номер учебной студии, поднялась по мраморной лестнице, нашла класс и заглянула. На стуле, установленном на возвышении, сидела старуха с распущенными седыми волосами, спадавшими на грудь и спину. Старуха была обнаженной, но возраст и жизнь настолько избородили ее кожу и покривили ее кости, что никому и в голову бы не пришло назвать ее натурщицей. Ну, разве — моделью старой женщины. Какие тут ширмы и любовные сеансы! Ирочка тихонько затворила дверь, выбежала на набережную, схватила такси и вернулась домой. Юра звонил, но Ирочка отказывалась от встреч. Их дружба разладилась. «С тех пор мы не виделись с Юрочкой Димовым!» — вздохнула Ирочка. «А хотела бы?» «Сама не знаю, столько лет прошло. Не люблю друзей терять, а после разыскивать!» «Давай, я найду его!» В канцелярии Академии художеств дали мне адрес художественных мастерских при московской киностудии «Мультфильм», куда Юрий Львович Димов был распределен после получения диплома художника-живописца.

Да и сейчас, когда прошло около полувека от начала образования этой необычной компании, мне очевидно, что Ирочка была силовым стержнем винтовой лестницы, которая стремилась вверх и вверх, набирая новые витки, по которым мы карабкались вслед за нашей возлюбленной. Иногда уходили годы, пока наращивался новый виток, иногда рушились целые пролеты, на восстановление которых уходили годы, но никто, однажды попав в поле притяжения Ирочки, не выпадал окончательно. Я это знал, чувствовал с самого начала нашей дружбы — моей влюбленности в нее. Знал, как Ирочка переживает потерю художника Димова. Знал, что ей надо помочь. Тем более что в Ирочкин план входила экспедиция за березовыми грибами — сырьем для противоракового отвара чаги. Ирочка хотела составить экспедицию только из близких людей, входивших в ее окружение. «Хорошо бы к отчету о будущей экспедиции приложить альбом зарисовок: березовый лес, наросты на стволах и прочие красоты нетронутой природы. У меня есть предположение, судя по немногочисленным статьям о березовых грибах, что наибольшим противораковым эффектом обладают грибы

чаги, выросшие в чистых, незагрязненных химическими продуктами березовых рощах. Димов бы все это зарисовал». Практицизм, перемежающийся с романтичностью, стал важной чертой характера нашей королевы. Или начал проявляться в открытую? «А чем плох фотоальбом?» — спросил я. «Конечно, и фотоматериал требуется, — сказала Ирочка. — Но живые рисунки убедительнее. И по Юрочке я соскучилась!»

Ночной поезд «Ленинград — Москва» привез меня на Ленинградский вокзал, образующий вместе с Ярославским и Казанским «Площадь трех вокзалов». Оттуда было рукой подать до станции метро «Новослободская», где и располагалась киностудия «Мультфильм». Я вышел из метро и огляделся. Шумела, гудела и перезванивалась весенняя Москва. Пешеходы спешили разбежаться в разных направлениях, словно участвовали во множестве общегородских эстафет. Я пересек улицу и вошел в здание киностудии. Усатый вахтер стоял передо мной, как пограничник, тем более, что и облачен был в полувоенную форму с зелеными петличками и фуражку с зеленым околышем. Я объяснил, что разыскиваю своего друга по Ленинграду художника Юрия Львовича Димова. «Я вас соединю с отделом кадров», — сказал вахтер. Голос из отдела кадров ответил, что давать адреса и телефоны сотрудников «Мультфильма» неизвестным людям запрещено. Я ответил, что у меня с собой паспорт, и я вполне известен в школе, где преподаю литературу и русский язык, и в издательстве «Художественная литература», где сотрудничаю как поэт-переводчик. Так что я человек неслучайный, и мне вполне можно доверить адрес художника Юрия Димова. Но мои объяснения не помогли. Голос из отдела кадров был непреклонен. Я уселся на стул в невеселом раздумье. Стоило ли отпрашиваться из школы «на похороны московской тетюшки», тратить последние деньги на билеты, чтобы сидеть в проходной, испытывая терпение вахтера-пограничника! Наверно стоило, ведь так хотела Ирочка, ответил я себе. При этом я почувствовал раздражение или сомнение в необходимости. Трудно было разграничить эти мимолетные мысли, которые я немедленно отогнал, перебирая в памяти московских знакомых, которые могли бы мне оказаться полезными.

Мне дьявольски повезло. Массивная дверь отворилась, и в проходную со стороны Новослободской улицы ввалилось массивное тело детского поэта Герда Сапирова. Стоило один раз позна-

комиться с ним, чтобы никогда не позабыть. Если бы мне сказали, что он по прямой линии происходит от Бальзака, я бы ни на минуту не усомнился, тем более что Бальзак бывал на Украине, а родители Сапирова *эмигрировали* в двадцатые годы с Украины в Москву. Через несколько десятков лет, бродя по бульварам Парижа, я наткнулся на каменный бюст Бальзака, который вначале я принял за памятник Герду Сапирову. Крупная лохматая голова сидела на мощной шее гиревика, а шея опиралась на пирамиду грудной клетки и колизей спины. Залихватские усы висели двумя кистями вокруг мясистых, выпяченных, как у африканца, губ. Конечно, я немедленно узнал Герда, с которым познакомился прошлой осенью, когда он приезжал в Питер. Странно, что и Герд узнал меня, хотя мы так много тогда выпили. Я по недоверчивости подумал, что его реакция — всего лишь проявление цеховой солидарности литературного авангарда. Мы обнялись. Герд немедленно принялся обсуждать со мной систему качающихся рифм: рифмующиеся слова перекликаются, хотя конечные ударения приходятся на разные слоги. Я рассказал, зачем приехал в Москву. Он уверил, что ничего проще нет, чем найти Юрия Димова. «Даня, вы подождете, пока я поднимусь в бухгалтерию за гонораром?» «Конечно, Герд!»

Через пятнадцать минут мы мчались в такси по Ленинградскому проспекту в сторону метро «Сокол», где, оставив таксисту десятку в залог, забежали в гастроном и запаслись закусками/выпивками. Поселок художников, названный в память о Левитане, находился в пяти минутах езды от «Сокола». Это была дачная местность, сохранившаяся, если не в центре Москвы, как полукупеческий-полупомещичий Арбат, то на окраине, в непосредственной близости к вполне городским строениям. Теперь только я начинаю догадываться, что Арбат, поселок Левитана и Серебряный Бор с его довоенными (включая гражданскую войну) дачками, с плюшевыми от зеленого лишайника заборами и паромом через Москва-реку в Троице-Лыково — принадлежали воображению и замыслу неизвестного градостроителя. Герд Сапиров уверенно вел меня между избами, огороженными ветхими заборами, провисшими изгородями или сетками на железных опорах. Поселок Левитана образовывали избы, избушки, избенки, то есть крестьянские русские дома, сложенные из бревен. Были ветхие избушки, бревна которых готовы были раскатиться прямо на глазах. Попа-

дались и просторные избы, которые с достоинством поглядывали на пришельцев крупными окнами, перебирая стыки стен дебелыми пальцами толстых бревен.

«Вот и Юрина изба, — показал Герд Сапиров на замшелую хатку с высокой пристройкой, напоминающей голубятню. — Бывшую голубятню Юра Димов застеклил и устроил в ней мастерскую. У него тут особая система сигнализации. Для друзей один длинный и два коротких. Для иностранцев — два длинных и один короткий. А милиция может звонить до посинения. Половина художников поселка Левитана в Москве не прописана, вот милиция их и вылавливает нарушителей. Художники от милиции откупаются. Правда, Юра, кажется, прописан у тетки на улице Горького, а избушку с голубятней снимает у какого-то типа, который живет безвыездно у жены на станции Снегири, где разводит для продажи гвоздики в домашней оранжерее». «Вот кому приходится отмазываться!» — воскликнул я. «Теневая экономика!» — заметил Герд, как будто бы подхватил разговор, происходивший полгода назад за именинным столом у Ирочки Князевой. Но ведь Герда не было у Ирочки среди гостей, и разговора, возбужденного экономистом Роговым, он не мог слышать. Да, воистину, если перефразировать Карла Маркса с его крылатой фразой: «Призрак коммунизма бродит по Европе», то вполне подходит: «Призрак капитализма бродил по Совдепии». Я с таким изумлением вперился в Герда, что он усмехнулся: «Удивляетесь, что вот мол, детский поэт в политику полез?» «Поражаюсь совпадению образа мышления официального экономиста и неофициального поэта». «Вы не поражайтесь, Дания. По официальному статусу я — детский поэт. Так ведь этот статус мне *зэбня* и партийные идеологи навязали. Забудь, мол, про свои главные стихи, про свою философскую прозу, про свои авангардные пьесы, про коллажи, составленные из твоих формалистических стихов и рисунков друзей-художников. Забудь и получай свой кусок имперского пирога как детский поэт!»

Мы позвонили одним длинным и двумя короткими. Каблуки забарабанили по крутой лестнице голубятни. Дверь распахнулась, и я увидел молодого художника с рафаэлевской внешностью: золотисто-желтые солнечные кудрявые волосы окружали голову хозяина голубятни, как небесный нимб. У него были круглые очки в золотой тонкой оправе. Стройные летящие руки тянулась к Герду Сапирову: «Какими судьбами, старик?» «Самыми благоприятны-

ми! Да еще с моим другом — питерским поэтом Даниилом Новосельцевским». «И к тому же с закусками-выпивками!» — подхватил я. «Что вполне своевременно как, скажем, акт гуманитарной помощи, в которой я чертовски нуждаюсь больше суток». Юрий проводил нас наверх. Изнутри мастерская, построенная на месте голубятни, выглядела вполне артистически: холсты на разных стадиях работы: от грунтовки до нанесения последних штрихов, от начальных набросков до системы цветowych пятен, которые после внимательного взглядывания обнаруживали в себе законченные фигуры в необычном ракурсе, а то и составленные из цветowych пятен и пустот тела молодых мужчин и молодых женщин, обнаженные настолько, насколько обнажены дикие животные и стволы лесных деревьев. Одна картина была закончена и одета в раму. У нее было свое место на стене в мастерской. Картина висела на северной безоконной стене, освещение которой приходило из окон южной, восточной и западной стен. Законченность картины подтверждалась и простотой ее замысла. Прислонившись к стволу березы, белый ствол которой пятнался черными полосками и глазками, стояла девушка. Она была безусловной красавицей: сероглазая, с короткой ультрамодной стрижкой кудрявых каштановых волос, со спортивной посадкой головы на длинной шее, перетекающей в упругую и стойкую грудь. Это была Ирочка Князева. Она обнимала ствол березы, прижавшись щекой к черному бугристому выросту.

Так Юрий Димов попал в нашу экспедицию.

В планы экспедиции вначале входило отправиться в село Константиново Ярославской области, где родился Сергей Есенин. Мы полагались на удачу и выбрали Ярославщину в надежде, что стихи Есенина, во многих строчках которых воспеваются березы, наделены магической силой, и для нас будет настоящее раздолье в этом березовом краю. Но в последний момент перерешили по совету Юрия Димова поехать под Москву в деревню Михалково, что под боком от парка-музея Архангельское. У Юрия среди музейных работников были знакомые, советы которых могли пригодиться.

В основной состав экспедиции входили Ирочка Князева и Римма Рубинштейн. Ну, и группа поддержки: ваш покорный слуга — Даниил Новосельцевский, и все остальные: Василий Рубинштейн, Глеб Карелин, Вадим Рогов и Юрий Димов. Вполне понятно, что капитан Лебедев в экспедицию не поехал, но однажды в те-

чение сезона наведалься. Ирочка отводила капитану Лебедеву особую роль, о которой, естественно, никто из нас не догадывался. Экспедиция была рассчитана на месяц. Сняли вместительный дом. Когда-то это была изба зажиточного крестьянина. Основу избы составлял бревенчатый сруб, для фасада обшитый сосновыми досками. Дом смотрелся, как двухпалубный корабль. Внизу была обширная гостиная (зала), кухня с каменной русской печью (дань традиции) и электрической плитой (дань прогрессу). К гостиной примыкали две спальни, в которых размещались три солдатские койки и две раскладушки для мужской группы экспедиции. Наверху в двух светелках поселились Ирочка и Римма. Дочка Рубинштейнов — Асенька оставалась в Ленинграде с матерью Риммы, которая прошла к этому времени в Институте онкологии три курса чаготерапии, оказавшихся на первый взгляд вполне эффективными. Надо сказать, что московский экономист Вадим Рогов взял на себя финансовую и правовую часть: командировочные для участников экспедиции и переговоры с правлением колхоза и Красногорским районным советом, в состав которого входил поселок Архангельское с парком и музеем, и деревня Михалково, где нам предстояло жить, и на окраине которой начиналась обширная березовая роща. Важнейшим результатом двухступенчатых переговоров (экспедиция — правление колхоза — поселковый совет) явилось разрешение срезать грибы чаги (источники препарата) не только со стволов берез, спиленных для нужд колхоза, но и с растущих деревьев. Если березовые грибы с поваленных стволов были классическим примером использования «отходов производства», что вписывалось в гипотезу нашего Вадима Рогова, то спиливание чаги с растущих деревьев в договоре с поселковым советом квалифицировалось как мера профилактики «чистоты русского леса», выполняемая в рамках «шефской помощи» со стороны Лесной академии — Красногорскому лесничеству.

Приехали мы из Ленинграда на микроавтобусе, который в народе нежно по-армянски называли рафик, хотя тупорылый красавчик был вовсе не Ереванского, а Рижского автозавода. Московская часть экспедиции (Вадим Рогов и Юрий Димов) прикатила в Михалково на волге Рогова.

Если уподобить нашу экспедицию колонии муравьев, то Ирочка выполняла роль королевы-матери/сестры — руководя экономическим, эротическим и эзотерическим планами, воплощению

которых мы следовали неукоснительно. Следовала и Риммочка, напоминающая по своему положению в лаборатории «Чага» и месту в экспедиции — рабочую муравью. Еще одна аналогия: если принять нас за братьев, а наше братство становилось очевиднее и неоспоримее с каждым днем, то справедливо провести параллель между каждым из нас с Эдипом, а Ирочки с царицей Иокастой, матерью и одновременно женой Эдипа. Ирочка обладала магической способностью управлять каждым из нас и каждому из нас отдавать себя. Не ручаюсь, но вполне допускаю, что с некоторых пор Риммочка вошла в оба круга нашего *волшебного хора*, став вторым (после Ирочки) звеном в связке. Мужчины выполняли функции рабочих муравьев, но, из-за малочисленности в отличие от жителей реальной муравьиной колонии, несли еще и функции солдат, ну, хотя бы взвода стройбатовцев, если судить по тому, как мы были грозно вооружены: топоры, пилы, стамески, ножи, веревки, белила для замазывания древесных ран, и пр. Кроме того, у нас, в отличие от рабочих муравьев-насекомых, не было крыльев, хотя готовность к «сексуальному полету» более чем присутствовала, постоянно стимулируемая Ирочкой Князевой: королевой/матерью/сестрой.

Ирочка мудро решила, что Римма Рубинштейн будет поварихой четыре дня в неделю (понедельник, среда, четверг, пятница), два возьмет на себя сама королева (вторник, суббота), а по воскресеньям, когда экспедиция будет отдыхать, каждый перейдет на самообслуживание. Продуктами для экспедиционных нужд были забиты два холодильника, взятые на месяц в Красногорском прокатном пункте. Для потехи можно было сходить в ресторан «Изба», поблизости от парка-музея Архангельское. Ирочка предложила, а все дружно поддержали идею работать шесть дней в неделю.

Было решено вначале собирать чагу со сваленных прежде местными жителями и по каким-то причинам брошенных или невывезенных вовремя стволов берез. Позавтракав и натянув комбинезоны и резиновые сапоги, мы вышли из дома на проселочную дорогу. Первый день Ирочка решила посвятить ознакомлению с березовым лесом. Она шагала впереди с кожаной папкой подмышкой. В папке лежала карта местности. Березовый лес был разделен на квадраты. Таких квадратов было около десятка, так что можно было по ходу ознакомительной прогулки отмечать спиленные стволы или живые деревья с древесными грибами.

Стоял подмосковный июнь. Дом наш высился на пригорке. Проселочная дорога отделяла полсотни деревенских домов, преимущественно бревенчатых срубов, от зеленого простора овсяного поля. С правой стороны поля вилась проторенная пешеходами тропинка, уходившая прямоиком к главному в этой местности шоссе Ленинград — Москва. И, конечно, к музею Архангельское. Другая тропинка вела влево, в сторону деревни Воронки, петляла вдоль дальнего леса, составленного из елей, ольшаника и осин. В конце концов она тоже приводила к музею Архангельское и ресторану «Изба». Нас (кроме Юры Димова) музей и парк вокруг него интересовали постольку, поскольку они интересовали Ирочку Князеву, то есть, весьма поверхностно. Она была устремлена к березовому лесу, который начинался за спиной нашего дома. Прямо за изгородью метров на триста тянулся заболоченный луг, а сразу за лугом белел шелковистой берестой и подмигивал цыганскими глазами березовый лес, каких никто из нас в жизни не видел.

Ирочка шагала впереди, одетая, как и все остальные, в комбинезон и резиновые сапоги. Даже в рабочей униформе она отличалась какой-то необъяснимой привлекательностью: поворот головы на высокой шее, всплески смеха, стремительная красота груди, завораживающее полукружие ягодиц, подобное приливу/отливу. Я любовался нашей королевой. Со мной рядом шел Юрий Димов. «Какова натура!» — сказал он негромко и вроде бы про себя. Вадим Рогов, шедший по другую сторону от Димова, подхватил его реплику: «Потому и прикатил я сюда, а не в Сочи! Каша березовая вместо курорта, да ничего с собой не поделаешь!» «Я грешным делом думал, профессор, вас экономические проблемы сюда привлекли!» — пошутил Вася Рубинштейн в ответ на признание Рогова. «Одно другому не мешает, — захохотал Рогов. — Как в анекдоте о пятнадцатилетней девочке, сексе и скакалочке. *Одно другому не мешает!*» Римма Рубинштейн шла в последнем ряду вместе с Глебом Карелиным. Они о чем-то весело болтали.

Да, незадолго до отъезда в экспедицию во время рандеву с Ирочкой в моих монашеских апартаментах, она игриво и с особенной, свойственной только ей, иронией (*Ирочка — ирония — ирония*) заметила: «Сдается мне, что у нашего Васеньки скоро прорежется пара рогов!» «Как? Кто осмелился?» — воскликнул я, заранее зная ответ, потому что видел во время прогулки по Лесотехническому парку Глебушку Карелина, нежно целующего Римму Ру-

бинштейн, выбежавшую навстречу нашему музыкальному гению из боковой парковой калитки. «Не притворяйся, Даник, я и не собираюсь узурпировать коллективную любовь. Развлекайтесь, мальчики, если хочется, но не выходите за пределы нашего круга. Я ведь, как ни странно, консерватор-анархист и не верю в долговечность сексуальной энтропии». Помню, что в тот вечер, когда я любовался Ирочкой, натягивавшей трусики и шелковую кофточку, разрисованную желтыми и красными треугольниками, она с затаенной грустью сказала: «Знаешь, Даник, о чем я мечтаю?» И не дав мне ответить, продолжила: «Чтобы наш круг, если придется, ненамного расширился. Лишь бы мы никого не теряли окончательно».

Заболоченный луг был раем для опят. На длинных ножках, с бурными пятнышками на светло-палевых шляпках. Это были особенные луговые опята, которые мы чуть не приняли за обыкновенные поганки. Однако Юрочка Димов, бывавший и раньше в Архангельском и его окрестностях, с пылом утверждал, что луговые опята — вкуснейшие грибы, не хуже тех, что растут шапками на старых пнях. Решение Ирочки было собрать немного луговых опят на обратном пути, отварить, поджарить с картошкой и дать отведать Юрочке. «Авось, не отравится! Тогда и остальные смогут полакомиться». За лугом начинался березовый лес, разделенный лесничим на участки. Ирочка читала карту, отмечая сваленные стволы с наростами и живые деревья с темными буграми березовых грибов — будущих источников чудодейственной чаги. Лес был светлый, веселый. В промежутках между корнями росла густая трава, потому что хватало солнца и воды. То и дело под ногами попадались коровьи зеленые лепешки, над которыми пролетали зеленые самолетики навозных мух. К полудню мы прошли половину леса. Ирочка была оживлена. Да мы и сами понимали, что приехали не зря: чуть ли не весь пройденный лес был поражен древесными грибами. С теми, что продолжали расти на сваленных и невыезженных стволах, было понятно: снять со стволов древесные грибы не представляло сложности, как и те, что росли невысоко над землей на живых березах. А вот как быть с древесными грибами, красовавшимися около верхушки? Мы сгрудились в кружок и начали думать: как до них добраться? Конечно же, в первую очередь на ум пришла лестница или даже несколько лестниц для одновременной работы. «Все это так, но согласитесь, дорогие мои, что таскать на себе лестницы, а на обратном пути еще с рюкзаками, наби-

тыми спиленными грибами, окажется непосильной задачей. Мне вас жалко, мальчики!» — сказала Ирочка. Кто-то предложил оставлять лестницы в лесу. На что Ирочка отрезала: «Сопрут!» В подтверждение Ирочкиных слов раздалось многозначительное коровье мычание: мы догнали деревенское стадо, пасшееся на влажном приволье полян среди березового леса.

Пастух был наряжен в поношенную солдатскую форму. Купил он кирзовые сапоги, брюки, гимнастерку и бушлат у демобилизованного или донашивал собственную одежду, осталось загадкой. Судя по прорехам на бушлате, из которых вылезали клочки ваты, по зеленой вислоухой ушанке с оборванными завязками, он пас в этой форме деревенских коров не первый год. Пастух стоял за деревьями поблизости от нашей команды и не подавал голоса по причине деревенской стеснительности, гласившей: «Не лезь, пока не спросят!» Однако не выдержал и вызвался: «Для кого высоко, а кто с малолетства приучен. Мы на эти деревья, как мартышки, лазали. На верхних ветках берез лесные голуби гнездятся. Мы ночью, когда птицы утомятся, забирались, бывало, высоко по стволу и прямо из гнезда их брали. Жирные к осени. На самую поджарку!». Пастух был среднего роста, крепыш, с обветренным лицом, на котором пьяный румянец смешивался с загаром, и улыбка бродила, переползая в ухмылку. Звали его Павел Власов.

Ирочка договорилась с пастухом Павлом Власовым, что он будет по утрам подходить к ней на лесную делянку и получать задания на добычу грибов, растущих между высоких веток. Когда-то на опушке леса обитателями деревни Михалково была сколочена для пастуха сторожка, вроде шалаша с деревянными опорами. И дождь и жара ему были нипочем. Рядом с избой, которую мы снимали в деревне, стоял амбар, и хозяин выделил нам место для складывания добытых березовых грибов. За тарой сгоняли в ближайший магазин, так что источник драгоценного лекарственного сырья хранился у нас в ящиках в сухом амбаре.

В первый же вечер решили праздновать начало экспедиционного сезона. Луговые опята, поджаренные с картошкой на подсолнечном масле, оказались выше всякого ожидания. Открыли свиную тушенку и балтийские кильки. Водка была «Московская», привезенная в том же рафике Васенькой из красногорского продмага. Ужинали за кухонным столом. Ирочка сидела с одного торца, Римма Рубинштейн с другого. Глаза Ирочки излучали невероят-

ный восторг. Это ведь было первым реальным воплощением жизнненности нашего сообщества, скрепленного, оказывается, не только тягой к любовным утехам, но и научно-практической целью. «Вот так надо развивать общество будущего, культивируя разветвленные семьи. Сила взаимного притяжения будет опираться одновременно на экономические и эротические потребности такой суперсемьи», — задумчиво сказал Вадим Рогов. «Ну, а когда мы постареем и не сможем добывать деньги или заниматься любовью, что будет с нами?» — спросил я. «Я не знаю, что будет, Даня. Но ведь мы так изменимся, что станем другими людьми, чужими для нас — сегодняшних. Зачем же говорить, а тем более, переживать из-за чужих, далеких во времени, почти незнакомых людей?» — вместо Рогова ответила Ирочка.

В самом конце ужина, когда мы все крепко набрались, и Глебушка Карелин отправился провожать наверх в ее комнату быстро разомлевшую Риммочку, раздался стук в дверь деревянной палкой, и вошел пастух Павел Власов. Он только что пригнал коров в деревню. Коровы разбрелись по дворам, призывно мыча и торопя хозяек с вечерней дойкой. Ирочка показала пастуху Павлу Власову на освободившиеся места: «Присаживайтесь здесь или там и выпейте с нами за успех экспедиции!» Пастух выпил стаканчик водки и закусил килькой, которую положил на ломоть хлеба: «Желаем успеха!» Пржевав и проглотив, пастух Павел в задумчивости поглядел на бутылку с оставшейся половиной водки и сообщил: «В конце месяца я женюсь!» Мы закивали одобрительно, не зная, что сказать, кроме затасканных слов: «Поздравляем и желаем». Павел не смутился и продолжил: «Нюрка из ресторана. Уборщица. Так что всю компанию приглашаю!» Ирочка налила пастуху Павлу еще один стаканчик, и все выпили за жениха и невесту.

По самым приблизительным и предварительным расчетам, сделанным Риммой после сравнительного анализа березовых грибов, срезанных со стволов, поваленных недавно, и старых забытых стволов, прозимовавших в лесу, выяснилась разница в содержании протеинов и флавоновых глюкозидов. Это была ободряющая новость. То ли еще будет, когда мы приступим к добыче чаги с растущих деревьев! Римма ходила, как именинница. Во-первых, похвалила Ирочку, во-вторых, ее полевой приборчик для химического анализа работал успешно, а в-третьих, Глебушка и не думал ограничиваться случайными утехами. Он неотвязно следовал за Риммой.

Вставали обычно в девять. Завтракали. Выходили на работу около десяти. Ирочка строго следила, чтобы мы не пропустили ни одного спиленного крестьянами и забытого или поваленного буреломом ствола березы. К тому же, у нас имелись заранее приготовленные наклейки, на которых мы надписывали день взятия образца и с какого рода ствола образец добыт. Перекусывали на лесной полянке взятыми с собой хлебом, крутыми яйцами и кефиром, который неограниченно продавался в продмаге. Словом, к концу первой недели все поваленные до нас березы были обработаны, образцы надписаны и переданы Римме для предварительных анализов. К началу второй недели понадобился пастух Павел Власов, хотя мы смогли бы обойтись без него. Что я и предлагал, отозвав Ирочку в сторону от остальной части бригады, заканчивавшей работу поваленных стволов.

День был сухой. Ветерок извивался между стволами берез, шелковистая береста шелестела, как патефонная иголка. Шелестела, как патефонная иголка на черном круге заигранной пластинки, а кто-то невидимый напевал невнятные, трогающие за душу слова песни, полустертые временем. Мы отошли от бригады довольно далеко, держась за руки, как бывало два-три года назад в Лесотехническом парке. «Ты, кажется, хотел показать, что можешь добыть березовый гриб, растущий высоко над землей?» — спросила меня Ирочка. «Мы как раз под таким», — ответил я и скинул на землю брезентовую походную сумку для инструментов. Из сумки я вытащил кожаный пояс, на который были навешаны: пила-ножовка, стамеска и стальной топорик. На том же самом поясе висели два крюка, напоминающие серпы, которыми крестьяне жнут рожь или овес. Ирочка глядела на меня с недоверчивым восхищением: «Ты и вправду решил попробовать, Даник?» «Не уступать же пастуху Власову!» — ответил я в тон нашей королеве. Подумал: «Не уступать же тебя...» Я обхватил ствол и шагнул вверх так, что первый крюк впился в березовую кору и дальше — в древесину. Потом всадил второй крюк. Снова первый крюк и второй. Пояс мой служил опорой туловищу, крюки — ногам. Так шаг за шагом я поднялся до места, где между двумя узловатыми суками чернел нарост чаги. Я взглянул на землю. Ирочка напряженно смотрела вверх, но мне показалось, не столько на меня, сколько на исцарапанный ствол. Она пробегала взглядом снизу — вверх, сверху — вниз, и снова от корней — вверх. Время от времени Ирочка оглаживала ствол и при-

кладывалась к нему ладонью, а потом с озабоченным видом ко рту, как будто бы ее интересовал не я со своими крюками и инструментами, а нечто иное. У меня не было времени на размышления. Стамеской и топориком я обстучал черный морщинистый нарост и, наметив линию предстоящего среза, начал отпиливать чагу ножовкой. Живой гриб оказался плотным и вязким по сравнению с березовыми наростами, которые мы добывали в первую неделю с прежде поваленных или спиленных стволов. Здесь поблизости от верхушки дерева ткань гриба была сочащейся, и зубцы пилы увязали внутри древесной ткани, проросшей живыми грибными нитями — гифами, мешая руке с пилой-ножовкой двигаться вперед/назад. Приходилось пускаться чаще и чаще в ход стамеску и топорик.

Ирочка терпеливо ждала. Наконец, взмокший и обессиленный, я отпилил чагу, предварительно успев предупредить Ирочку, чтобы она отошла подальше от ствола. Я отпилил нарост чаги, упавший в траву у подножья березы. Когда я спустился вниз, вонзая крюки в обратном порядке тому, что я проделывал, поднимаясь к высоким ветвям, Ирочка обняла меня со словами: «Мой бедный мальчик, если лесничий увидит, как ты изувечил крюками ствол березы, нашей лаборатории дадут гигантский штраф. Можно добывать иначе». «Я не хочу, чтобы ты приглашала пастуха!» «У нас нет другого выхода, Даник. Ты что — ревнуешь, глупышка?» Она назвала меня ласковым словом, которое употребляла когда-то, обнимая меня на траве Лесотехнического парка и заглушая мой восторженный крик поцелуями и нежными словами: «Все хорошо, Даник! Я с тобой, глупышка». И теперь, как тогда: «Ты что — ревнуешь, глупышка?» Она показала на крохотный овражек, опустевшую барсучью берложку, что ли, и потянула меня за руку. Мы скатились на дно овражка. Ирочка оказалась сверху, торопя меня и себя выбраться из комбинезонов и выпутать ноги, пока я не оказался внутри ее горячего пульсирующего тела. «Ты что же, Даник, заревновал меня к этому пастуху?» — спросила Ирочка, когда мы возвращались в сторону лесной полянки, где ждала наша бригада.

Ни я, ни Ирочка не рассказали никому о том, как я спиливал чагу с высокой части ствола. Мы оба находились в состоянии полного опустошения, которое наступает после близости. Впрочем, так повелось в нашей компании: все всё знали, но обходились без обсуждения.

Стало рутиной, что пастух Павел Власов приходил на участок, где работала наша бригада. Собственно, добывали чагу только мужчины: Глебушка, Вася, Вадим, Юра и я. Мы спиливали грибные наросты с растущих берез: наросты, которые паразитировали невысоко от корней на белых шелковистых стволах с черными глазками. Пастух Павел Власов без всяких крюков забирался на верхнюю часть ствола, где с высоты морщились березовые грибы. Задания пастуху давала Ирочка, накануне обходя с ним часть леса, которую нам предстояло обработать на следующий день. Пастух являлся к нашему приходу и окончательно спрашивал Ирочку, что и где надо спилить, подчеркивая свою готовность следовать возможным переменам ее планов. Иногда, после запоя или ночного похода к невесте в дальнюю деревню Глухово, а наверняка и после того и другого, пастух не показывался сутки или более, не то от стыда, не то из-за временной амнезии, связанной с последствием алкоголя. Тогда Ирочка сама отправлялась вытаскивать его из лесного шалаша, построенного на сваях. В конце концов они оба появлялись на очередном участке, и пастух с пилой-ножовкой в зубах забирался вверх по стволу березы и спиливал гриб — чагу. На лице его была самодовольная улыбка, приводившая всех нас, кроме Ирочки, в молчаливое бешенство.

Правда, каждый как-то утешался. Например, Глебушка Карелин — Риммой. Ирочка продолжала балансировать между нами. Деревня Михалково была популярным дачным местом. В полудне ходьбы до роскошного парка и музея Архангельское. В пятнадцати минутах от шоссе и остановки автобуса, который шел до станции московского метро «Сокол». Я вставал рано. Не спалось. Были какие-то смутные замыслы, как тени воображаемых персонажей или проще говоря, как заготовки для прорастающей прозы. Чаще же всего роились в груди, да, да, именно в груди, а не в голове, разнотонные шумы. Это были не мелодии стихов, а ритмы стихов, созвучные ритмам качающихся, как лисьи хвосты, колосьев созревающих в поле метелок овса. Не спалось, а сочинять в комнате, где на койках мирно посапывали Глебушка Карелин и Юра Димов, не получалось. Когда я пишу стихи, всегда бормочу, как будто настаиваюсь на мелодию, которая должна, как ручеек, сочащийся из лесного озерца, перетекать из верхней строки (уступа) к нижней, и так далее. После многократных проборматываний и возвращений к началу я решаюсь записывать услышанное на бумагу.

В те весенние годы у меня не было пишущей машинки. О компьютере я даже не догадывался. Так что до середины шестидесятых я находился даже технически (инструментально, если ручку и чистый лист принять за писательские орудия труда) в пушкинской эпохе, из которой перешел в эпоху Хемингуэя, купив на первый крупный литературный гонорар пишущую машинку «Олимпию», перепаянную на русский шрифт с немецкого. А после в эмиграции перелетел в компьютерную эпоху еженедельника «Нью-Йоркер» и его авторов-олимпийцев.

Я проснулся около шести утра, когда солнце выкатилось из вершинок березового леса, а птицы продолжали распевать свои рассветные песни, еще не придавленные тяжелеющей жарой. Я шел вдоль овсяного поля, проборматывая зеленые ритмы зарождавшихся стихов. Было так тихо, что я услышал, как за моей спиной хлопнула дверь дальней от меня избы. Я остановился и обернулся. Какие-то дачники заметили мою оглядку и замахали приветливо руками. Ничего не оставалось, как подойти и познакомиться. Это было дачное молодое семейство: Саша, Инга и трехлетний Мотя. Они мне сразу рассказали: что живут в Москве около «Речного Вокзала» (станция метро и Северный речной порт), что Саша работает терапевтом в районной поликлинике на станции метро «Войковская», что Инга редактирует книги в техническом издательстве НИИ Информатики, что Мотя начал ходить в садик, но сейчас лето, и они сняли в Михалково дачу на июль и август. Мотя жался к Инге, обхватив выше коленки ее красивую ногу, а расцепить руки и протянуть мне одну из них, отказался. «Он у нас застенчивый», — оправдывалась Инга, в то время как Саша, дожевывая утренний бутерброд, пробурчал: «Разбаловали парня, не иначе». «Вы извините, Даниил, — сказала Инга, — но мы должны поторопиться. Иначе пропустим автобус до Сокола и Саша опоздает на прием в поликлинику». «Не обращайтесь на меня внимание!» — крикнул я им вслед. «Заходите вечером! Посидим, попьем чайку-коньячку, — обернулся Саша. — Часов в девять вернусь из Москвы!» И милое семейство заторопилось в сторону шоссе. Странная штука, но впервые за мое знакомство с Ирочкой я думал о другой женщине со звонким, как высокие ноты ксилофона, именем Инга. Впервые в жизни я позавидовал, что меня не провожает к автобусу молодая красивая женщина, моя жена, и мой трехлетний сын Мотя. Я обманываю себя, заставляя повторять все три

имени: Саша, Инга, Мотя. Я отвлекаю себя от воспроизведения в памяти тогдашнего портрета Инги, наслаивая на него фотоснимок Саши: длинный, subtilный, очкастый, черноволосый с намекающимися залысинами. Тридцати-тридцатитрехлетний молодой эскулап, обремененный многочисленными пациентами и утомительными совместительствами. И фотопортрет Моти: упитанный русоволосый и голубоглазый малыш, прижимающий к груди коричневого плюшевого мишку. Наслаиваю портреты мужа и сына, зафиксированные памятью. Но портрет Инги ярче, отчетливее: длинные светлые волосы с желтизной («Ромашка, конечно!»), фиолетовые глаза, узкие запястья, развитый таз, высокий подъем стройных ног, чуть испуганная улыбка с ямочками около уголков рта. Как будто бы я коснулся чего-то недоступного мне до этого. Как будто бы это меня провожали к автобусу жена и сын, торопясь по тропинке, бежавшей между овсяным полем и лесом.

Я обманываю себя до сих пор, хотя прошло около полувека, что любил одновременно двух женщин: Ирочку и Ингу. Или русский глагол любить светится по-разному в соседстве с разными словами и разными обстоятельствами? Как хамелеон, который приобретает разные цвета в зависимости от цветового свечения соседних предметов или декораций? Ведь хамелеон не притворяется. Он светится по вере своей в истинный цвет. Ирочка была моей королевой, моей восторженной страстью, неугасающим желанием, родником, из которого хотелось пить, а, напившись, ощущать жажду снова и снова. Ирочка не вписывалась ни в какой быт. Все окружающее для нее было лишь временной декорацией: гостиница, улица, театр, буйная вечеринка, березовая роща, газета, закордонная модная книга или эротический журнал «Playboy». Всяческие случайности падали к ее ногам, не став даже кроем ко времени примерки. Она перешагивала через жизнь, как перешагивает осень сброшенную желтую листву или зима — упавшее с неба снежное платье. Нас она держала при себе, ну хотя бы в роли одежды, пластинок, рабочих муравьев, источников духовной дружбы и любовных утех. Пожалуй, в Ирочке не было тепла, а были жар и холод. Она сжигала или замораживала. Не было тепла и покоя.

Не за теплом ли я после ужина пошел в дальнюю избу к милтому семейству Осининых (Саша, Инга и Мотя)? На мой стук открыл Саша. Я принес бутылку муската «Красный камень». Этот коллекционный крымский мускат я купил из-под полы у бармена

ресторана «Изба» в Архангельском, сбежав туда после работы в березовом лесу. «Это для тебя, Инг! — крикнул Саша, наверняка, насмехаясь над моим мещанским выбором. — Моя жена любит сладкие вина. Как вы угадали?» Я хотел сказать ему, что я просто надеялся сделать Инге приятное, но промолчал. Видно было, что Саша следует собственным представлениям о жизни, не принимая в расуждение чужие. «Да, я люблю мускаты! Особенно «Красный камень». Как вы угадали, Даня?» — Инга произнесла мое имя так естественно, как будто мы были знакомы с детства, выросли на одной улице. «Честно говоря, я не угадывал. Так совпало. Я попросил у бармена что-нибудь хорошее, и он предложил «Красный камень». «А я навещал сегодня на дому старую генеральшу — давление разыгралось, и она достала из буфета заветную бутылочку. Знает мой вкус. Сейчас попробуем». Саша пошел на кухню открывать бутылки. Инга была явно смущена простодушием Саши: «Не подумайте, Даня, что он берет взятки». «Я так и не думаю, — ответил я. — Мне тоже иногда приносят подарки. Я отказываюсь. Наверно, зря. Дело в том, что подарки приносят чаще всего родители хороших учеников». Саша вернулся из кухни с подносом. На подносе стояла бутылка с коньяком и другая с мускатом. И стаканы». «Ты не помнишь, Инг, куда мы засунули плитку шоколада?» — спросил Саша. «Да, шоколад!» вспомнил я, что у меня кармане лежит плитка «Золотого руна», которую я купил в том же баре для Моти. «Детям сладости вредны! А нам шоколад полезен для потенции! За знакомство!» — провозгласил тост Саша, разламывая плитку на квадратики. «Истина в вине!» — ответил я, чтобы сдвинуться с места, потому что баржа разговора скреблась днищем о грунт. Мы с Сашей пили коньяк. Инга потягивала мускат, а потом ушла посмотреть, как спит Мотя. Мы тянули коньяк, пытаюсь наладить разговор. Инга заглянула к нам, извинившись, что у нее срочная работа, статья, которую надо отредактировать, чтобы Саша утром захватил с собой и отвез в редакцию. Я кивнул в ответ, а, может быть, протянул вежливое *жалъ*, хотя не стану лукавить, пришел я из-за Инги. Прошло столько лет с тех пор, из которых добрую половину я играл в прятки с самим собой. Я убеждал себя, что дружу со всей семьей, и прихожу и встречаюсь со всеми тремя, включая Мотю. Более того, убедил себя, что приходил, главным образом, из-за Моти, который был умненьким и веселым малышом. Признаюсь, в то же время, что Сашин нигилистический на-

строй мыслей мне очень импонировал. Я про себя называл Сашу тургеневским Базаровым. Конечно же, я обманывал себя, признавая, что мне всего лишь приятно находиться в обществе Инги. Я хотел этого.

Мои утренние встречи со *святым семейством*, как я про себя называл Сашу, Ингу и Мотю, стали почти ежедневными. Я уговаривал себя, что знакомство с ними ничуть не изменило моих привычек, в особенности, вставать рано и прогуливаться до завтрака вдоль овсяного поля. Каждое утро я встречал Осининых у начала тропинки, ведущей в сторону шоссе и автобусной остановки, желал Саше счастливого пути и обещал заглянуть вечером. Мне хотелось поскорее проводить Сашу до остановки автобуса, чтобы потом возвращаться вместе с Ингой и Мотей, то есть честно заработать право поболтать с Ингой о литературных пустяках, о незначительных новостях поэзии или живописи, которыми Инга живо интересовалась. Поболтать в отсутствие Саши. Я заметил, что даже по вечерам, когда я приходил к Осининым, Саша замыкался и глотал внеочередные порции коньяка, стоило нам с Ингой погрузиться в обсуждение последних публикаций в «Литературке» или в «Новом мире». О, нет! Саша нам нисколько не мешал, но всем своим видом выражал скуку и безразличие. Я пытался поставить себя на его место и вообразить, как при мне — учителе русской литературы — двое или трое врачей взяли бы обсуждать проблемы лечения воспалений мочевого пузыря или непроходимости кишечника с таким же энтузиазмом, как мы с Ингой анализировали соответствие или несоответствие скачущих ритмов с ликующими звукосочетаниями конечных и внутристрочечных рифм в стихах Вознесенского. Поэтому самые свербящие мое любопытство литературные проблемы я стал оставлять на потом, чтобы обсудить их с Ингой вечером, когда Саша извинялся за то, что дико устал и отправлялся спать, оставив нас с Ингой наедине. Или на обратном пути, проводив Сашу до остановки автобуса в Москву. В такие дни я пропускал завтрак и мчался на лесную делянку с ломтем хлеба в руке. Ирочка определенно заметила мои поведенческие перемены и вначале делала большие глаза. В ответ я принимал безразличный вид, показывая, что не замечаю ее удивления. С некоторых пор я почти каждый вечер проводил в семье Осининых.

Это были счастливые часы моего архангельского лета.

На большее (со стороны Инги) я и не рассчитывал, хотя воображение временами до того разыгрывалось, что я не находит себе

места, словно видел наяву во временной последовательности, как Осинины, поспешно заперев за мной избу, готовятся ко сну, приотворив дверь комнаты, в которой посапывал Мотя. Видеть это с такой же предметностью, как видят реальность, было невыносимо. И хотя я знал, что в ближайший день или два смогу утешиться Ирочкой, сюрреалистические картины нашего полигамического общения ни в какие сравнения не шли с радостным гиперреализмом мужского и женского тел, сплетенных узурпаторским таинством семейного счастья.

Во время наших коньячных сессий, которые происходили по два-три раза в неделю, Саша все чаще и чаще развивал свои представления о возможности модернизации отечественной медицины. Не сомневаюсь, у него для глубоких рассуждений было достаточно клинического опыта, социальной наблюдательности и природного интеллекта. Иначе, что нашла в нем Инга? Чтобы сразу отбросить возможные неверные представления о докторе Осинине как примитивном участковом терапевте, замечу: он был умным талантливым врачом, сознательно решившим приложить свой опыт и свои знания на самом изначальном этапе соприкосновения медицины с больным. Был случай, который более чем доказал его врачебный талант. Пастух Павел Власов ворвался в нашу бригадную избу во время ужина. Мы никогда не видели пастуха в таком раздерганном состоянии. Он твердил: «Умирает, истекает кровью моя Нюрка! Надо везти в Красногорскую больницу!» Мы решили везти Нюру в роговском «Рафике», посчитав, что так будет быстрее всякой «Скорой помощи». Тут меня осенило сбегать за Сашей Осининым. Он моментально осмотрел больную, которой Ирочка на время отдала свою кровать в королевских апартаментах. Диагноз был прост и категоричен: никакого выкидыша. Типичное геморроидальное кровотечение от тяжелых подносов, которые каждый день таскает Нюрка в ресторане «Изба». И если она (Нюрка) желает сохранить свою *не первую* беременность, надо перейти на более легкую работу. Правда, с переходом не получилось, хотя Саша предлагал написать директору ресторана записку с рекомендациями. Поэтому я очень серьезно относился к Сашиним рассуждениям, которые были, наверняка, одной из первых в тогдашней нашей стране попыток соединить общедоступность медицины, оплачиваемой государством, с конкурентной (по правилам свободного рынка) возможностью выбора пациентом врача-терапевта или

врача-специалиста (хирурга, ларинголога, гинеколога и т.п.) по своему желанию. За возможность выбора больные должны были доплачивать из собственного кармана. Недорого, но платить. «Вы не представляете, Даня, как часто ко мне обращаются больные с других участков нашей поликлиники или прикрепленные к другим поликлиникам, или даже живущие в других районах Москвы и в других городах. Они просят их проконсультировать, правильно поставить диагноз, назначить лекарства, вылечить». «Что же вам мешает?» — спросил я. «Закон, который запрещает частную практику без специального патента». «Так купите патент и лечите легально!» — ответил я, сразу поймав себя на мысли, что мой совет настолько примитивен и банален, что не заслуживает Сашиного опровержения. Однако он не дал воли раздражению или досаде, и терпеливо пояснил мне, что патент стоит безумно дорого, и за сверхурочные и нерегулярные консультации наберит недостаточно денег, чтобы оплатить использование помещения для кабинета, содержание медицинской сестры, выполнение элементарных анализов крови и мочи (скажем, на сахар), и прочее и прочее. «Какой же вывод, дорогой доктор?» — спросил я Сашу, начиная разочаровываться и склоняться к мысли, что он относится к тому типу мыслящих интеллигентов, которые, как нигилист Базаров, отрицают, не созидая. «Я и сам знаю, что на одном отрицании далеко не уедешь», — горько усмехнулся Саша, глубоко затягиваясь и шумно выпуская дым. Мы в это время давно перешли на крыльцо, где можно было курить и громко разговаривать, не боясь отравить никотином или разбудить разгоряченными голосами маленького Мотю, или помешать Инге редактировать рукописи или читать англоязычные романы. «Знаете, Саша, я вас познакомлю с Вадимом Роговым!» «Если он врач, то не стоит: самая консервативная среда». «Вадим — ученый-экономист. И притом настоящий прогрессист!» — горячо заступился я за нашего реформатора.

Я привел Сашу Осинина (на этот раз как соседа по Михалкову) в нашу бригадную избу около десяти вечера. Ужин давно кончился. Посуда была убрана и перемыта коллективными усилиями всей компании. Наступило время *расслабухи*. На обеденном столе появилась бутылка виски, привезенная все тем же Вадимом Роговым, который хоть и входил на равных правах и при одинаковых обязанностях в наше трудовое сообщество, обладал определенным пиететом, который создавали его научная степень, должность, ста-

тьи по экономике и высокая зарплата. Ближе всех в этом смысле к Рогову примыкал Васенька Рубинштейн, но отнюдь не был теоретиком нашего сообщества. На столе Саша увидел сухие вина, вермут. Водка и коньяк у нас не котировались. Виски же утвердилось как редкий в те годы плод, произрастающий на *редкоземельной* почве истинного таланта, скажем, экономического или писательского, каким, к примеру, обладали Егор Тимурович Гайдар (1956–2009) и Василий Павлович Аксенов (1932–2009). Именно в годы, когда сложилась наша компания, я встретился с одним из этих гениев. Но это к слову. И никакого отношения к нашей истории не имеет.

Сашу Осинина я привел к нам в гости как раз, когда наступило время расслабухи. На этот раз привел не для оказания скорой помощи, как во время Нюркиного кровотечения, а чтобы познакомиться с Вадимом Роговым и остальными. Гремела и взрывала тишину легнего вечера рок-музыка, раздиравшая приемник. Глебушка Карелин подыгрывал на гитаре и напевал. Кстати сказать, Нюрка время от времени посещала наши сборища, в особенности, когда у нее были отгулы за сверхурочные часы в ресторанной кухне. В эти свои приходы Нюрка выглядела вполне прилично и даже сексуально привлекательно. Да и пастух Павел старался смыть лесные запахи, оставить кнут, телогрейку, солдатские брюки и резиновые сапоги в Нюркиной избе, в которой он поселился, не дожидаясь свадьбы. На этот раз они оба весьма активно пили и танцевали. Я привел Сашу познакомиться с Вадимом Роговым, предполагая это сделать по традиционной модели: дескать, такой-то и такой-то прослышал о ваших новациях, которые оказались сродни некоторым реформам, которые такой-то и такой-то, то есть Александр Осинин, намерен внедрить в медицину. Не тут-то было. Вернее, было тут, но не сразу. А сразу Саша Осинин погрузился в приятный и вседозволенный мир вечеринки нашей компании, центральной осью которой была Ирочка Князева. Прежде всего, Ирочка продолжала оставаться безумно привлекательной с той дозой дозволенности в одежде и поведении, которая соответствовала ее доктрине свободной любви внутри замкнутого сообщества, доступ в которое (сообщество) посторонним позволялся, да и то временно, только при ее специальной благосклонности. Иногда это была щепотка соли или малая доза пряностей (случай присоединения к нам Риммы Рубинштейн), или особый вид социальной вакцилотерапии, как я представлял себе временное допущение в

нашу общину пастуха и посудомойки. Так или иначе, Ирочка была центром наших дневных трудов и наших вечерних развлечений. Если протянуть метафору до гремящей музыкой и сверкающей огнями цирковой арены, Ирочка была иллюзионистом, а Римма и Нюра — ее ассистентками, которым можно было отрезать голову/руки/ноги или в любое время исключить и набрать новых волонтеров из публики. Была душная летняя ночь, еще более разогретая выпитым алкоголем и танцевальными фигурами, повторяемыми многократно под гремящую музыку рок-ансамблей. Ирочка была в коротенькой юбочке, едва закрывающей верхнюю треть загорелых бедер. Шелковая безрукавка державшаяся на единственной пуговице, едва успевала попеременно прикрывать то левую, то правую грудь, плавающую в коктейле табачного дыма, телесных испарений, парфюмерных запахов и музыки. Танец был общий при общем соблюдении общего правила: дамы не признавали навязчивой тесноты лифчиков, а молодые люди отплясывали рок без рубашек, футболки или маек — в купальных трусах или шортах. Согласно некоей традиции, возникшей в связи с нашими вечерними развлечениями, Римма была стилизована под цыганку: в цветастой юбке, весьма обнажающе распахивавшейся до основания левого бедра, и батистовой алой кофточке, державшейся на тесемках. Нюра (мы единодушно согласились отбросить барско-простонародный суффикс: *ка*), перешедшая к тому времени на новую ступень ресторанной карьеры, став официанткой, обслуживающей летний, открытый поближе к парку-музею павильон, придумала некую профессиональную одежду: голубые короткие шортики и белая размахайка, завязанная на животе бантом. Между пояском шортиков и бантом перемигивалось с партнерами по танцу недремлющее око пупка. Я привел Сашу Осинина в самый разгар нашей ежевечерней расслабухи. Инга осталась в своей дачной избе править статьи и сторожить сон Моти.

Да, Вадим Рогов был прирожденным реформатором. Он ментально схватился за Сашу Осинина, едва тот успел коротко рассказать о ситуации в районных поликлиниках и возможности увеличить отдачу практической медицины и, при этом, заработать дополнительные деньги для народного здравоохранения и слушников здравоохранения — поликлинических врачей. Все это в равной степени относилось к больницам, прибольничным амбулаториям и больничным ординаторам. В двух словах Вадим объяс-

нил доктору Осинину, что гипотеза модификации здравоохранения должна *работать* как приложение к общей экономической теории Рогова. Просто в формулу, применяемую в заводском цехе или на лесном участке (отходы производства — есть потенциально полезные и недоиспользованные продукты народного хозяйства) подходят поликлинические кабинеты, наполовину пустующие по целым дням, не говоря о субботах и воскресеньях, когда у больных есть по-настоящему свободное от работы время, которое можно и нужно использовать в первую очередь в заботе о собственном здоровье. А кроме того — лаборатории, кабинеты физиотерапии, диагностическая аппаратура и т. д. и т. п. Рогов и Осинин прямо вцепились друг в друга, добавив к себе еще и Юру Димова, который в шутку или всерьез, или то и другое вместе, присоединился к ним и расширил идею в приложении к изобразительному искусству. Всерьез и одновременно в шутку, потому что художник никогда ничего не должен делать абсолютно всерьез, то есть относиться к себе до конца серьезно, иначе искусство мгновенно кончится и начнется ремесленное самовоспроизведение, рисование собственного многотиражного автопортрета. Юра услышал разговор Осинина и Рогова, соорудил три коктейля из виски и еще чего-то, притащил стаканы с выпивкой в угол гостиной, где экономист и врач с энтузиазмом обсуждали будущее дополнительных производств как начало параллельной экономики, и сходу объявил о возможности выполнять художниками-нонконформистами масштабные заказы (в духе Сикейроса и Риверы) при оформлении новых заводов, плотин или скотных дворов.

Мне явно нечего было обсуждать с Вадимом, Сашей и Юрой, кроме как предложить использование вечерами и по выходным дням пустующие парты и учебные доски в классных комнатах, или баскетбольные корзинки, козлы, брусья, шведские стенки и маты в физкультурном зале. Но эта идея уже была воплощена, а потом дискредитирована вечерними школами для рабочей молодежи. Я вышел на воздух. Из распахнутых окон, как сгустки коктейлей, выплескивались кванты заливчатской музыки. Деревня Михалково погружалась в ночную тишину и темноту. В избе, которую снимали Осинины, горел свет. Я пошел навстречу этому свету. Постучался. Никто не ответил. Я вошел в сени, нашарив дверь в кухню. Дверь была на тугой пружине и стукнула о раму, захлопываясь. Я нащарил выключатель. Лампочка на электрическом шнуре тускло заго-

релась. Никто не выходил навстречу. Я выключил свет и вышел в палисадник. Дом стоял, как темный ночной стог. Я не хотел верить, что Инга спит и я сейчас не увижу ее. Я пошел в обход. Калитка открывалась в огород. В это время месяц вынырнул из-за тучи и осветил задворки избы. На заднем крыльце кто-то курил. «Инга! Не напугал?» — спросил я, хотя знал наперед, что не напугал и что она рада. «Нет, конечно! Я наверняка знала, что вы придете. Даже загадала на месяц: вынырнет — и вы придете!» «Саша остался?» «Я его познакомил с отличными людьми. Они так вцепились друг в друга, что вряд ли он скоро вернется». «Тем более хорошо, что пришли. У нас много времени поговорить. Вы любите разговаривать?» Меня смущала и раззадоривала ее открытая манера говорить. Это ведь очень опасное качество — открытая манера говорить. Если обнаженно говорит дурак, то собеседник оказывается в загоне, построенном из глупостей, как из осиновых жердей. И соглашаться не хочется, и спорить с дураком бессмысленно. Инга была совсем другая. Как настроенный рояль под пальцами чуткого пианиста. Пальцы и клавиши переговариваются друг с другом. И каждое соприкосновение пальцев и клавиш это глубокий и откровенный разговор.

Мы сидели рядом на заднем крыльце. Наши плечи соприкасались. Наши лица были полуповернуты друг к другу. Мы родились в таких разных районах Ленинграда и могли вполне сойти за жителей разных городов. Инга была городской девочкой. Я мальчиком из предместья. Да, была война, и меня вместе с мамой эвакуировали в село Силу недалеко от города Молотова (Перми) на Каме. В 1944 году мы вернулись в Ленинград. Вернее, в предместье города, которое называлось Лесное с его обширным Лесотехническим парком и Лесной академией. Здесь я закончил школу, отсюда ездил в Университет и здесь у ворот в Лесотехнический парк встретил Ирочку Князеву. Я и теперь думаю, что до встречи с Ирочкой Князевой была ненастоящая моя жизнь, а только подготовительные стадии для будущей настоящей жизни в присутствии Ирочки. До Ирочки я проходил последовательные стадии метаморфоза от ребенка — до подростка — до юноши, до — молодого человека, который наконец-то оформился в молодого мужчину благодаря присутствию прекрасной расцветающей женщины Ирочки Князевой. В пространстве времени между мною — подростком и мною — молодым человеком мое развитие напоминало взросление сала-

мандр, которые на некоей неокончательной стадии — аксолотля — могут даже размножаться, но их потомство обречено оставаться вечными аксолотлями. Это все равно, что рабы, восставшие против суверена и побывавшие свободными людьми, после подавления мятежа вернутся в рабство и будут продолжать воспроизводить рабов. Или проще: ребенок, прижитый рабыней от господина, унаследует рабство (стадию аксолотля), а не положение свободного человека — взрослой саламандры. Словом, Ирочка вывела меня из стадии юноши предместья и сделала цивилизованным молодым мужчиной в кругу ее почитателей. «Так вот она какая — ваша Ирочка! — заключила мой рассказ Инга. — Ну, а дальше, дальше что будет? С вашей... компанией? Не уверена, что правильно называю... С кругом обожателей?» Я не знал, что ответить на вопрос Инги. То есть, я знал, что буду продолжать эту жизнь и дальше. Знал, что мы все (Глебушка, Васенька, Римма, Юра, Вадим, я и, вполне возможно, капитан Лебедев) будем жить, чтобы находиться в теснейшем приближении к Ирочке, видеть ее, осязать ее, вдыхать ее нежное дыхание, радоваться ее смеху, любить ее. Разве это недостаточная цель жизни? Но ведь не мог я все до конца открыть Инге! Это была тайна нашего круга. Тайна, которая оберегала неповторимое счастье от размывания сомнениями. Я начал что-то мямлить. Инга не выказывала неудовлетворенности, но открытость нашей беседы была надломлена. Оставалось ждать другой ночи, другого уединения, другого настроения, чтобы попробовать быть вполне откровенным. Такие обрывы откровенных разговоров с Ингой повторялись в будущей жизни еще не раз и омрачали наши абсолютно дружеские отношения, которые становились все ближе и теснее, присоединяя со временем элементы цивилизованной эротики к полной равноправности эмоционального и интеллектуального вклада в дружбу. Ведь не выбегаем же мы из зрительного зала на сцену и не набрасываемся на актрис, рассказывающих при помощи театральных условностей о высочайшем накале сценической эротики?

Впрочем, переходы в разговорах от полной откровенности до внезапного замыкания и ухода в себя начались с самого первого нашего ночного сидения на крыльчке деревенской дачи-избы. Не помню наверняка, какими словами я объяснял Инге причину метаморфозы, произошедшей со мной после встречи с Ирочкой. Наш разговор коснулся связи между наслаждением и духовностью. По-

жалуй, именно Инга назвала эту формулу, как будто бы исподволь добираясь до сокровенных причин, объединявших нас вокруг Ирочки. Именно тогда были произнесены загадочные санскритские слова: КАМА СУТРА. Как она (Инга) догадалась, что именно англоязычный том КАМА СУТРЫ, привезенный профессором Князевым из Индии и подаренный любимой дочери, откроет ей, а потом всей нашей компании глаза на высшую соединенность наслаждения и духовности?

А ведь именно так и было. Не знаю, как с другими, но со мной познание премудростей древних индусов произошло в минуты близости с Ирочкой. Как студенты в анатомическом театре, мы переходили от разноцветных картинок, поражающих возбуждающим натурализмом и пространственной откровенностью античных художников, щедро делившихся с нами своим постижением момента истины, когда искусство и жизнь соединяются в вечности. Я все это рассказал Инге и ждал ее ответной открытости. Но как в банальном анекдоте («пришел муж и все опошлил...»), вернулся с вечеринки Саша Осинин («А вы тут воркуете на заднем крыльчке, как голубки! Прости, Инг, голова трещит, как пустой котел... А ваша завлабша хороша! Как я встану утром?»), покрутился и ушел в избу. Откровенный разговор был прерван. Мы посидели немного и тоже разошлись.

Инга сама предложила неожиданную для меня (не берусь свидетельствовать за нее) модель отношений, не оставляющих места для близости. Мы договорились быть настолько откровенными друг с другом, что каждое слово, сказанное между нами, отвергало разговор пальцев, губ, кожи, без которых эротика превращается в пересказ, аннотацию, фотографию оригинала. Так мы решили в самый первый раз, в тот вечер, когда Саша Осинин, вовлеченный в занимательный экономический разговор с Вадимом Роговым и Юрочкой Димовым, крепко напился и вернулся за полночь, чтобы застать меня и Ингу на заднем крыльце избы. Конечно, я предпочел бы перенести наши с Ингой разговоры на утреннее или дневное время, которое само по себе отвергало бы даже намек на нечто большее, чем дружба. Да, лучшие из наших разговоров были те, которые пришлось на два или три раза, когда я договаривался с Ирочкой выйти на работу несколько позднее, чтобы покинуть лесную делянку с полным мешком березовых грибов, когда остальные давно вернутся в избу из леса и будут готовиться к ужину. Эти не-

забываемые утренние свидания, когда я вместе с Ингой и Мотей провожал Сашу Осинина к московскому автобусу, были такими редкими и короткими, что запомнились на всю жизнь. Странная штука время дня. Вечером все наши разговоры и откровенные рассказы, рассказы-исповеди, окрашивались в совершенно никчемные при сложившейся ситуации полутона, четверти тонов или как еще назвать тонкие нотки русских междометий, которые особенно остры после заката солнца. Нам же хотелось голой правды. Каждый из нас впервые в жизни встретил слушателя, готового принять от другого голую правду, истинную правду. Мы не были к этому готовы.

Мы четвером шли по тропинке, окаймлявшей поле овса: Саша, Инга, Мотя и я. Мотя радовался, что мы все вместе идем, разговариваем о всяких пустяках, стайки птиц взмывают из качающихся на утреннем ветру желто-зеленых метелок овса, Инга дает поручения Саше: что купить, кому позвонить, а мы с Мотей то убегаем вперед от родителей, то отстаем немного понаблюдать за жуком, пересекающим тропинку или за особенным цветком, доселе невиданным в этих местах, пока не доходим до шоссе, пока не ожидаемся автобуса, пока не машем уезжающему Саше. Мне доставалась та же тропинка, только в обратном направлении, в то время как доктор Осинин катил в автобусе в Москву, чтобы принимать больных, гоняться между совместительствами по Ингиным поручениям, готовиться в обратный путь от «Сокола» до Архангельского — на дачу в Михалково. Казалось бы вот оно долгожданное время, свидание без помех, простор для открытых разговоров. Так и было урывками, когда Мотя, почувствовав ребячьим сердечком, что нам с Ингой необходимо разговорное уединение, убегал вперед, находил палочку-скакалочку или замечал лягушку-квакушку и ускакивал лихим конником, или приучал себя к удовольствию наблюдателя-натуралиста. В эти отрывочные, но совершенно ясные куски наших утренних свиданий-провождений не надо было убеждать себя в нечаянности касаний или заглушать разговор не потому, что в невинных словах не меньше взрывчатости, чем в словах опасных. В эти прозрачные утренние урывки откровенности Инга рассказала мне о своей былой жизни.

Она родилась, как это принято называть в наши дни, в *нормальной* (счастливой) семье, которая стала внезапно *проблемной* (*несчастливой*). И хотя внутри семьи оставалась любовь, но облобочка, которая окружала эту семейную любовь, была прорвана

злодейски. Квартира, где родилась и жила Инга, находилась в одном из красивых каменных зданий Ленинграда, входивших в ансамбль пяти углов площади Льва Толстого. Снова *Пять Углов!* То есть до того, как Инге исполнилось двенадцать лет, семья считалась вполне нормальной, и даже хорошей. Отец был директором знаменитого кафе-кондитерской «Мишка на Севере» на Невском проспекте. Мать работала в Доме Моделей, была художницей-модельером. Вполне естественно, что мать приглашала отца на демонстрации моделей, где было много красивых молодых манекенщиц. После успешных демонстраций дирекция устраивала банкеты. Так повелось, что отец присылал на эти банкеты из кафе «Мишка на Севере» торты и пирожные. Это было вполне естественно, потому что украшало банкеты и ничего не стоило Дому Моделей. Авторитет же Ингиной матери в глазах дирекции Дома Моделей от этого сильно возрастал. Отцу Инги торты и пирожные, посланные на банкеты в Дом Моделей, почти ничего не стоили или стоили очень мало. Он вносил какие-то незначительные суммы в кассу кондитерской, оформляя большую часть посланных в Дом Моделей тортов и пирожных как шефскую помощь. Незначительные же суммы, которые отец Инги все-таки вносил, как бы покрывали расходы на мать Инги и ее гостей, принимавших участие в банкетах. И все-таки кто-то донес на отца Инги в специальный антирасхитительный отдел (ОБЭХСС) Министерства внутренних дел под тем углом зрения, что торты и пирожные были *взяткой* в пользу дирекции Дома Моделей за благосклонное отношение к *абсолютной бездарности* — матери Инги, несамокритично называющей себя художником-модельером. Начали копать. Докопались до большего и не только в связи с Домом Моделей, но и с другими заводами, службами и предприятиями, при помощи которых строилась родителями Инги дача в Репино, недалеко от музея великого художника. Любители превращать горькую пилюлю в ядовитый эликсир распространили слух, что отец Инги, приходивший на демонстрации в Дом Моделей, прелюбодействовал на снятой тайком квартире с одной из манекенщиц, на которой он обещал жениться. Она как будто бы забеременела. Он как будто бы отказался признать будущего ребенка. Она из мести как будто бы написала куда надо письмо с указанием тортов, пирожных и особого положения бездарной матери Инги. Отца Инги выгнали с директорства, конфисковав почти что достроенную дачу. С трудом он

устроился водителем грузовика на хлебозавод, что дымил более полувека на углу проспекта Энгельса и Ланского шоссе. Ингиной матери пришлось уйти из Дома Моделей. Она с трудом нашла работу закройщицей в ателье женской одежды. Правда, квартиру на площади Льва Толстого не отняли. Семья навсегда перестала быть *благополучной*. Все связи были отрублены. Инга поступила на вечернее отделение Полиграфического института и выучилась на технического редактора. Работы не было. Все подходящие вакансии, шедшие по разряду «интеллигентных» работ, доставались *по связям для детей из благополучных семей*. Все связи Ингиной семьи были отсечены, как отсекают острым ножом смолистую и шерстистую, в уютных ромбиках кожуру ананаса, оставляя сладкую и беззащитную мякоть.

Такой сладкой и беззащитной стала Инга, намыкавшись по приемным главных редакторов и заведующих отделами кадров, наслушавшись идиотских объяснений причин, не позволявших им взять ее на работу, хотя бы младшим редактором. А были и того отвратительнее лица мужского пола, сидевшие на должностях-шлюзах. Которым очень хотелось загодя заручиться ее согласием на будущую карьеру молоденькой редакторши — безотказной наложницы.

Сюжет-исповедь «Молодые годы Инги Осининой» я слушал урывками во время прозрачных до холодка утренних прогулок по краю овсяного поля, на обратном пути после провожания Саши до московского автобуса. Вполне понятно, что когда мы шли к автобусу, чаще всего я играл с Мотей, бегая наперегонки и выхватывая из утренней флоры и фауны занимательные для ребенка цитатки: двуглавый гриб, выпавший из гнезда птенец, квохчущая в овсах курица, замешкавшийся на тропинке ежик.

Мои редкие утренние прогулки с семейством Осининых и частые вечерние посиделки с Ингой на заднем крыльце ее дачи, когда Саша в бригадной избе обсуждал с Роговым, Димовым и Рубинштейном экономические проблемы зарулившего на вечную стоянку социализма, происходили на фоне активной дневной работы нашей экспедиции по добыче гриба — чаги. Римма в своей походной лаборатории делала выборочные анализы на содержание в березовых грибах активных веществ, приносила данные Ирочке Князевой, и мы на радостях устраивали очередной банкет с песнями и плясками. Хотя наша бригадная изба стояла на околице

деревни Михалково, разухабистая музыка, сопровождавшаяся притопами и прихлопами, не могла не достигать слуха нормальных советских дачников, снявших на лето за немалые деньги ночной покой и сон с открытыми окнами. Дачного покоя не было. Сон не приходил. Было составлено коллективное письмо дачников в Красногорское районное отделение милиции. Ирочку посетил участковый милиционер в звании младшего лейтенанта и строго предупредил. Ирочка Князева не была бы собой, покорись она грубому вторжению во внутренний мир нашей компании. Дозвонилась? Дала телеграмму? Воспользовалась своей (несомненной) телепатической энергией? Дело не в путях коммуникации, а в том, что через два дня к нашей бригадной даче подкатила черная волга с двумя нолями в главе номерных знаков. Из машины вышел наш давний приятель капитан Лебедев, теперь уже с погонами подполковника внутренних войск. По случаю его приезда был устроен грандиозный банкет, после которого Ирочка укатила на черной волге с двумя нолями развлекаться дальше с капитаном Лебедевым. В течение романа воинские звания капитана Лебедева будут расти, но мы договоримся называть его капитаном Лебедевым. Это как капитан Лебядкин, капитан Миронов, штабс-капитан Рыбников. Это, как имя собственное: вместо Николая — капитан. Дачники больше не жаловались. Участковый не появлялся.

Если долго и безрезультатно добиваешься чего-то, надо сказать себе: «Остановись! Ты зашел в тупик». Это справедливо. Особенно, когда ты добиваешься чего-то исключительного. Тоннель, по которому ты пробирался, перегородил кто-то более удачливый или более талантливый, или менее отягощенный неустранимыми обстоятельствами. В этом соревновании — главное: способности, воспитание, связи. Инга вышла из неблагополучной, а в недавнем прошлом совсем несчастливой семьи, наказанной законом, опиравшимся на комбинацию доноса и криминальных обстоятельств, вышла в свет социальной несправедливости, на биржу труда, на стадион соревнования за свое место в жизни. Лучше бы ей родиться в среде политических заключенных, прошедших лагеря, реабилитированных после освобождения или реабилитированных посмертно! Даже в среде несчастного братства детей, родившихся в семьях бывших политических зэков, ей никто не сочувствовал и никто не симпатизировал. Она входила, если воспользоваться статистическими терминами, в группу «отрицательного контроля».

Поняв это, Инга вскоре осмотрелась и нашла работу в книжном магазине на углу Невского проспекта и речки Мойки. Магазин продавал иностранные книги. В особенности популярными в те годы были альбомы художников-модернистов. На следующий день после завоза партии альбомов (обычно по субботам) выстраивалась очередь. Некоторые лица запоминались. Их обладатели приходили за новыми поступлениями чаще других. Сашу Осинина было трудно не запомнить. Он был долговяз, очкаст, курчав, безумно стеснителен и — самое запоминающееся — одет в военноморскую форму старшего лейтенанта медицинской службы. Через 3–4 альбома, что по времени соответствовало 3–4 календарным месяцам, они познакомились. Еще через месяц Саша пригласил Ингу поужинать в «Кавказский ресторан», который был поблизости от Казанского собора в подвальчике, на другой стороне Невского проспекта, наискосок от книжного магазина.

Усатый администратор усадил их за столик неподалеку от четырех музыкантов, игравших на удлинённых деревянных инструментах протяжную музыку. Инга и Саша сразу же потерялись в причудливых названиях грузинской кухни. «Давайте закажем шашлык!» — предложил Саша. «И салат из помидоров с огурцами», — подхватила Инга. «Наши хинкали пробовали?» — участливо спросил официант, тоже с усами, но не такими пышными, как у администратора. «И «Цинандали», пожалуйста!» — вспомнила Инга. Собственно, знакомство их и началось во время этого ужина в «Кавказском ресторане». Инга не была большой охотницей рассказывать о несчастьях, когда-то обрушивших добротную жизнь ее семьи. Да и ее собственные мыканья в поисках работы по специальности технического редактора были отнюдь не розовыми мемуарами. Но все же рассказала. Острое вкусное вино заглушило природную Сашину стеснительность, а к моменту откупоривания второй бутылки «Цинандали» он тоже приоткрыл свою биографию. Вернее, короткое резюме своей жизни, которая кому-то может показаться невероятной. Он родился в Москве, в семье артистов цыганского театра «Ромэн». Предполагалось, что по традиции Саша станет актером или музыкантом этого замечательного театра. Родители Саши часто уезжали на гастроли с театром, оставляя мальчика на попечение соседей по коммунальной квартире, размещавшейся на шестом этаже огромного каменного дома, который тянулся вдоль Садового кольца от ресторана «Пекин» чуть ли не до Малой Бронной улицы.

Балкончик комнаты Осининых нависал над зловещей вывеской «МЯСО», рекламирующей магазин на первом этаже. С тех пор Саша стал присматриваться с уважением к вегетарианцам. Мизансцены закулисного быта цыганского театра, помноженные на картины быта коммунальной квартиры, где рос Саша Осинин, заронили мечту о свободе от всяческого быта. Море для него было метафорой свободы. Саша решил стать моряком. Так он оказался в ленинградском нахимовском училище, которое закончил с золотой медалью. Следующей ступенькой по лестнице свободы была ленинградская военно-морская медицинская академия, которую Саша тоже закончил с отличием и был направлен служить врачом на подводную лодку. Так совпало, что первый год службы в Кронштадте пришелся как раз на несколько начальных месяцев работы Инги в книжном магазине. Каждую субботу Саша приезжал из Кронштадта в Ленинград.

Сначала каждую субботу, если не дежурил в гарнизонном госпитале. Потом начал приезжать даже по пятницам с тем, чтобы провести две ночи с Ингой. В ее семье не принято было обсуждать образ жизни Инги. Да и обсуждать было нечего. Саша ей нравился. Они спали вместе и ходили по музеям, киношкам, театрам. У него водились деньги — зарплата военно-морского врача была вполне приличной. Им нравилось развлекаться и заниматься любовью.

Дело шло к зиме. А зима — к Новому Году. В Кронштадском офицерском клубе по традиции устраивали банкет с елкой. Инга не первый раз приезжала к Саше в его кронштадскую комнату в офицерском общежитии.

Часы показывали половину девятого. Пора было переодеваться в праздничное и спешить к началу банкета. Инга была в красном коротком платье, стянутом черным ремешком в талии, и в ожерелье из горного хрусталя. К этому зеркально подходили черные туфельки с хрустальными пряжечками и рекордно высокими каблучками. «Как ты процокаешь по нашим бульжникам, Инк?» — хохотал Саша. «Ты перенесешь!» — не задумываясь, ответила Инга. «Давай порепетируем?» — он поднял ее и начал носить по комнате. «Какой умник! Здесь уронить не страшно, а даже очень кстати — на кровать. А на бульжники только попробуй!» Саша нарядился в серый костюм с белой рубашкой и голубым галстуком. На банкет разрешалось приходить в гражданской одежде. Им повезло. К подъезду подскочило нечаянное такси. В банкетном зале дома

офицеров народу было пруд пруди. В те годы курение не было явлением асоциальным, а, напротив, — общепринятым. Саша закурил и принялся разыскивать столик, занятый офицерами с его подводной лодки. Они ждали Сашу и Ингу. Это были старший лейтенант, командовавший дизелями, и капитан, ведающий торпедными аппаратами. Оба с женами. Дамы познакомились с Ингой еще раньше. Около десяти начали провожать Старый год. Потанцевали. Дело шло к полночи и к Новомуднему приветствию Хрущева по телевизору. Выпили шампанское за год *новых побед и свершений*. Начались танцы. На эстраде сидели джазовые музыканты, приглашенные из Ленинграда. Было весело. «Ты меня любишь, Инк?» — спросил Саша и поцеловал ее в шею. «А ты?» «Больше всего на свете!» — ответил он. «Пойдешь за меня?» Она не ответила. Только поцеловала в губы. Она не могла слукавить, что готова на всю жизнь заточить себя на острове, в морской крепости Кронштадте. Любила, но не смогла солгать. Любила ли запредельно? Через минуту ответила: «Люблю. Но еще больше люблю свободу». Он понял и больше не мучил ее. Оркестр продолжал закручивать ритмические фигуры все жарче, все настойчивей. Музыкальные стили и направления перемешались в котле разухабистых танцев: буги-вуги, фокстроты, польки, чарльстоны, лезгинки, гопаки — все, что могло повеселить офицеров-подводников, их жен, подруг и недолговечных приятельниц, пришедших сюда разогнать тоску островного одиночества. В повседневной жизни висело над ними облако изолированности. Кронштадт — город на острове. И хотя Ленинград близко — всего лишь на другой стороне Финского залива — не хотелось примериваться к судьбе графа Монтекристо. Да и Саша понял скоро, что мечта о свободе и походы подводной лодки без стоянок в иностранных портах, а если и стоянок, то без выхода на берег, все равно, что прогуливание тигра на железном поводке. Он начал задумываться, как бы демобилизоваться. И вот на этом новогоднем вечере судьба сама пошла к нему в руки.

За ближним столиком гуляла компания моряков с соседней по причалу подлодки. Четверо молодых офицеров-подводников с дамами. Одного из них Саша встречал иногда в госпитале во время дежурств. Это был капитан-лейтенант Никонов, выпускник калининского медицинского института, прослуживший на Балтийском флоте три или четыре года. Встречаясь на дежурствах в госпитале или на клинических конференциях, он даже вроде бы покрови-

тельствовал Саше, выказывал по отношению к коллеге снисходительное дружелюбие. Особенно назойлив этот морской врач был в вопросах бытовой этнографии. Заводил разговор о переселении племен и народов по Средне-Русской возвышенности, где стоял город Калинин (до революции — Тверь), а иногда вспоминал о цыганских кочевьях, которые видел еще мальчиком, когда ездил к бабке в деревню неподалеку от областного центра. Впрямую этот краснолицый, блондинистый с волнистой рыжиной коллега никогда не спрашивал Сашу о его происхождении, но продолжал этнографические разговоры с выходом то на цыган, то на индусов, а то и на евреев.

В последний раз Никонов настиг Сашу в перерыве во время лекции по защите от лучевого поражения. Он подошел к Саше и начал рассказывать о том, что вычитал из газет о некоем цыганском бароне, главе всех европейских цыган, который даже издает в Париже цыганскую газету на французском языке. «Понимаешь, старлей Осинин (Никонов обращался даже к знакомым офицерам не по имени, а по званию и фамилии), понимаешь, старлей Осинин, вот я и удивился: почему на французском, а не на цыганском». «Потому что у нас нет письменности», ответил Саша. «У вас?» — переспросил хитровато Никонов. «Да, у нас. У нас — цыган нет своей письменности». «Вот я и говорил, что у вас. А мне не верили, что ты, Осинин, цыган!» «Ну и что?» «А так ничего. Хорошая погода!» — и Никонов пошел в зал дослушивать лекцию. И вот теперь, сидя с Ингой за столиком и ведя залихватскую беседу со своими соседями, Саша все время настороженно поглядывал на Никонова и его компанию. Каждый взрыв смеха, долетавший от них, каждый поворот головы в его сторону воспринимался как едкая примитивная шутка, затрагивающая его (Саши) цыганское происхождение. Предчувствие было неслучайным. Пошатываясь, Никонов направился в сторону музыкантов, о чем-то договорился с дирижером, вручил ему купюру и вернулся на место, время от времени поглядывая в сторону Саши и производя какие-то несурзные движения руками и головой, напоминающие пародию на экзотический танец. И действительно, как только оркестр доиграл очередной номер — танго или фокстрот, дирижер взмахнул руками, и загремела разухабистая «Цыганочка». Инга видела, что Саша напрягся, как будто бы ожидая беду. И вправду, нетвердой походкой Никонов приблизился к Саше, хлопнул его запанибратски

по плечу и с ухмылкой сказал: «Что же ты не пляшешь свою “Цыганочку”?» Я заплатил. Покажи нам — офицерам русского флота, как цыган с еврейкой под одну дудку пляшут! Сначала «Цыганочку», а затем, чтобы не обижать твою девушку, закажем еврейский танец — «Семь сорок». Этого было достаточно, чтобы Саша встал из-за стола, подошел к Никонову и сказал: «Я бы мог ответить тебе тем же хамством и заказать «Калинку-малинку». Но не сделаю даже этого, чтобы не оскорблять прекрасный русский танец кривляньями такого болвана и шовиниста, как ты, Никонов!»

Через несколько дней Сашу вызвал командир базы и показал рапорт Никонова, в котором Осинин обвинялся в разжигании национальной розни и оскорблении старшего по званию офицера. Дело было передано замполиту. Вопрос был щекотливый, цыган — военно-морской доктор была абсолютная редкость, может быть, единственный случай в истории русского флота. Чтобы не раздувать дело и не позорить базу подводных лодок, старшему лейтенанту Осинину предложили лечь в госпиталь, чтобы проверить состояние здоровья и в, связи с результатами обследования, обсудить возможность или невозможность проходить дальнейшую службу. У него обнаружили неустойчивые подъемы и спады кровяного давления, вызванные повышенной реактивностью нервной системы и приводящие к системному заболеванию с обтекаемым диагнозом «вегето-сосудистый невроз, осложненный начальной стадией гипертонической болезни». На основании этого заключения Сашу уволили в запас *по медицинским показаниям*.

Инга и Саша поселились в Москве, на Садовом кольце, в коммунальной квартире, где пустовала комната родителей, продолжавших кочевать с Театром «Ромэн» по необъятным просторам Совдепии. Саша нашел работу в поликлинике поблизости от метро «Войковская». Приходилось работать не восемь, а двенадцать часов, чтобы получать в полтора раза большую зарплату, чем ставка терапевта. Он любил медицину и не роптал. Инга устроилась техническим редактором в институт научной информации поблизости от метро «Сокол». Через два года они купили однокомнатную квартирку на первом этаже кооперативного дома поблизости от метро «Речной вокзал». А еще через год родился Мотя Осинин.

Инга не могла слухавить, что ради любви готова на всю жизнь заточить себя на острове, в военно-морской крепости Кронштадт. Но разве замужество не такая же крепость? Любила ли она Сашу

так, чтобы принять заточение замужества как счастье на всю жизнь? Этого она не знала. Честно призналась мне, что не знала. Однако приняла. Обрывки наших разговоров я смонтировал в памяти не сразу, а поразмыслив, наверняка, кое-что переменял местами, как это водится на киностудиях. Неуверенное признание в невозможности оценить степень любви к Саше сорвалось с ее губ, когда мы стояли над лесным прудиком, в предпоследнюю субботу нашей экспедиции по сбору чаги. Саша остался в Москве дежурить по неотложной помощи. Мотя пытался вылавливать маленьким белым сачком водяных жучков и паучков, катавшихся по темному зеркалу воды. Они выскакивали из сачка в последнюю минуту. Он был упорный мальчик и продолжал охоту. Нам же с Ингой нечего было продолжать, потому что ничего не началось. Как будто бы предвидя, что предстоящие случайные встречи — пересечения моих одиноких прогулок во время провожаний Саши Осинина в Москву вот-вот оборвутся, Инга принесла мне листок бумаги с адресами и телефонами: ее нынешним — московским и — родителей в Ленинграде: «Кто знает, вдруг получится, что увидимся?»

Прощальный банкет Ирочка распорядилась устроить в пятницу вечером. Отъезд в Ленинград и Москву был намечен на субботу. Читатель вправе спросить: «А как же обещание быть почетными гостями на свадьбе пастуха Павла и местной официантки Нюры?» Не все обещания выполняются, не на все вопросы есть ответы. Свадьба по каким-то причинам перенеслась на август. Да Ирочке было и не до Нюрки с ее пастухом. Чагу уложили в картонные коробки, которые насобирали за месяц в «Сельпо» и ресторане «Изба». Вася Рубинштейн на пару с Ирочкой Князевой отвезли на рафике в Ленинград, в лабораторию при Лесной академии коробки с целебными грибами. Ровно через три дня рафик вернулся, чтобы забрать домой ленинградскую часть экспедиции. Замечу, что всех вначале поразила твердая воля Ирочки самой отвезти добытую чагу в лабораторию. Прodelать путь в шестьсот с лишним километров из Подмоскoвья в Ленинград и обратно, когда любой из нас с готовностью отправился бы по первой Ирочкиной просьбе — озадачило каждого из нас, по правде говоря. Даже, если предположить, что эти три дня Васенька Рубинштейн превратил поездку на рафике в путешествие султанского сераля на кораблях пустыни — двугорбых верблюдах. Но ведь сроки поджимали! И что он мог придумать особенного за эти три дня, из которых большая часть

времени ушла на утомительную дорогу с остановками на заправку бензина и перекусами в пошлых придорожных харчевнях? Но если даже принять, что доставив чагу в лабораторию, они сняли самый роскошный номер в самой фешенебельной гостинице, скажем, «Европейская», ну что можно *такого* вообразить?! Еда? Обслуга? Сногшибательный джаз в ресторане на крыше «Европейской»? Все это наша Ирочка видела-перевидела и не отправилась бы за семь верст кисели хлебать. Тогда что же? Не знаю, как другие, мы не обсуждали действия Ирочки, но я подумал, что Ирочка не хотела никого допускать к транспортировке, оприходыванию и хранению драгоценного сырья.

Да, прощальный банкет заставил меня впервые призадуматься о том, кто такая наша Ирочка? Это вовсе не значило, что я разлюбил ее, то есть что ее красота и магнетизм больше не ослепляли и не притягивали меня к ней. Вовсе нет! Я не берусь утверждать или отрицать, что остальные чувствовали нечто похожее. И это новое, появившееся во мне и позволившее (прищуриваясь от яркого света и расставив ноги, как на шаткой палубе) впервые всмотреться и вдуматься, не исключая, было связано со знакомством с семейством Осининых. Я не раз проборматовал простую фразу: «Вот живут же люди по-другому!» Наша компания, наше содружество, не знаю, как точнее назвать, наш круг тесного общения, существовала-вала-вало-вал по — Ирочкиным правилам. И эти правила создавали для меня до встречи с Осиниными иллюзию счастья. Потому что без Ирочки, как я испытал прошлой зимой, жить было несчастьем. И тут-то, не сомневаюсь, все мы были едины: Глебушка, Васенька, Риммочка, Юрочка, Рогов и даже капитан Лебедев. Все мы продолжали боготворить нашу королеву, не подвергая ее правила сомнениям. Стол был уставлен бутылками и закусками. Ирочка много пила и не пьянела, а становилась все веселее и веселее. Со стаканом вина она подходила то к одному, то к другому, и *тот или другой* старался встать или занять место у стены или у окна, или сесть на стул так, чтобы Ирочка, прогуливаясь по комнате, заставляла его (*того или другого*) свободным для нее. Словно каждый готовился побыть с Ирочкой наедине хоть недолго, даже среди звона стаканов и звяканья вилок, даже под звуки сумасшедшей прощальной музыки. Наедине (хотя и при всех в шуме и гаме банкета) побыть с Ирочкой и услышать что-то единственное и прощальное. Подошла она и ко мне. Я стоял у окна, цедил остатки

виски. Лыдинки растаяли. «Ты не грусти, Даня, что эти твои москвичи Осинины уехали. Как ее зовут?» «Инга». «Да, Инга. Красивое имя. И она красивая. Но лучше меня все-равно не найдешь!» «Я и не пытаюсь, Ирочка». «И не пытайся!»

К этому времени вскоре после возвращения в Ленинград относится начало моего приятельства с Виссарионом. Познакомился я с ним в окололитературных кругах, состоящих из поэтов, их девушек и независимых молодых людей, которые играли роль чувствительной аудитории, наверняка сами писали, но до поры ничего публично не читали. Они тоже были с девушками, которые, как и девушки поэтов, с легкостью переходили от одного к другому и с готовностью перепечатывали и распространяли стихи молодых поэтов. Ирочка знала за мной эту слабость — то есть неспособность полностью раствориться в ней, мое неукротимое желание продолжать сочинение стихов и, что было хуже всего, всерьез общаться с кругом молодых поэтов, любителей стихов и девушек. Да, именно Ирочка почувствовала опасность с появлением Виссариона в среде молодых поэтов. Он ворвался, как ветер с гор, если можно приравнять Литейный проспект с его каменными горами зданий, откуда переселился на Петроградскую сторону, возмутил ровное общение молодой ленинградской литературной среды, которая если и бунтовала иногда против засилья ретроградов-народников и ретроградов-академистов, то бунтовала в рамках приличия, не нарушавшего общественных норм поведения литераторов и не призывала к свержению или даже модифицированию общественных устоев и порядка, заведенного в писательской организации и в стране. Я в это время довольно устойчиво, хотя и в небольшом объеме, выражающемся в скромных, но постоянных гонорарах, сотрудничал как поэт-переводчик в издательстве «Художественная литература». Одновременно моя первая книжка стихотворений под названием «Зарисовки» постепенно продвигалась по редакторским кабинетам издательства «Советский писатель». Забавно напомнить, что оба издательства: «Художественная литература» и «Советский писатель» располагались на разных этажах в здании Дома Книги, увенчанном еще в дореволюционные времена огромным глобусом. Именно в одном из редакторских кабинетов «Советского писателя» (редактором был честный, но бездарный поэт — фронтовик Г.И. Тагирев) я и увидел в первый раз Виссариона. Это был молодой человек атлетического телосложения, заросший волни-

стой черной гривой и курчавой черной бородой, как зарастают горные склоны кустарником терновника. Виссарион ревел, как разгневанный лев, и пытался вручить редактору рукопись в столбиках стихов, а редактор убеждал терпеливо: «Виссарион, пожалуйста, успокойтесь», и также терпеливо отталкивал от себя пачку машинописи, и повторяя, как старая пластинка: «Виссарион, прочтите редакционное заключение, и тогда мы с вами подробно поговорим о том, что можно сделать с рукописью». Я вышел из кабинета, не желая присутствовать при столь интимном акте, каковым является разговор писателя с редактором, вполне резонно предположив, что после встречи с Виссарионом редактор Г.И.Тагирев не сможет сосредоточиться ни на чем, в том числе и моих стихах, я спустился на лифте и решил ждать Виссариона на Невском проспекте около дверей Дома Книги.

Через какое-то время Виссарион вышел на улицу. Я окрикнул его. Мы познакомились. Я пригласил его выпить водки в рюмочной на углу канала Грибоедова и Невского. Мы выпили и начали читать друг другу стихи. Не могу сказать, что наше приятие переросло в тесную дружбу. Да я к этому и не стремился. Он подавлял тех, кто слишком сближался с ним. Мы иногда выступали вдвоем или в компании более близких Виссариону молодых поэтов. Слава его неслыханно возросла за столь короткий период времени, что могла быть сравнима с природными явлениями особенной мощи: ураган, землетрясение, наводнение. Стихи Виссариона наполняли и сотрясали каменные пространства литературного Ленинграда, грозясь затопить официальный писательский истеблишмент.

Да, именно Ирочка почувствовала опасность появления Виссариона в среде молодых поэтов, общавшихся со мной. И чтобы понять это природное явление и предотвратить возможные опасные для меня последствия приятельства с Виссарионом, решила пригласить его к себе. Это было зимой, через полгода после возвращения из экспедиции за чагой. Нас было четверо: Ирочка, я, Виссарион и Римма. Не думаю, чтобы Ирочка пригласила Риммочку Рубинштейн для Виссариона, но и не исключаю, что воображалась ею некая новая комбинация, конечным результатом которой было бы ослабление слишком прочной связи между Риммой и Глебушкой Карелиным, к которому, как мне казалось, Ирочка продолжала испытывать нежную привязанность. Ксения Арноль-

довна приготовила жареных куропаток, за которыми я по просьбе Ирочки забежал в резиденцию ее родителей в Лесотехническом парке. Интересна психологическая деталь. Я даже и не думал возражать зайти к родителям Ирочки за этими дурацкими куропатками. Хотя Ирочке самой от лаборатории до особняка родителей в Лесотехническом парке было пятнадцать минут ходьбы. Даже и не думал возражать! Жареные куропатки с брусничным вареньем, салат из крабов, торт с малиной и взбитыми сливками, литовская водка «Паланга» на клюковке — все было приготовлено по высшему классу. Главным образом для того, чтобы выяснить реальную опасность, которую представляет собой мое литературное приятельство с Виссарионом. Да, Ирочка заслуживала обожания и благодарности за красоту и прозорливость! Виссарион быстро напился и продолжительно читал. Ирочка слушала со вниманием и нежной улыбкой, перешедшей ей через неведомые нам ручейки виртуальной наследственности от Натали Пушкиной, Полины Виардо или Лили Брик. Риммочка время от времени кивала или восторженно вскрикивала, но все внимание Виссариона было обращено к Ирочке. Под конец вечера мой литературный приятель был до того пьян, что мне пришлось развозить по домам его — на Литейный проспект и Риммочку — на Таврическую улицу.

На следующий день я позвонил Ирочке, и она без обиняков сказала мне: «Даня, твой приятель-поэт, наверняка, очень талантлив. Он, как ракета. Как бы тебе не обжечься в его пламени».

Блистательные стихи и анархический образ жизни Виссариона привели к затяжному конфликту с властями и руководством союза писателей, которые самым гнусным образом запретили издательствам опубликовать его первую книгу стихотворений и не давали заказов на переводы. Поставили Виссариона в положение молодого человека, не зарабатывающего на хлеб и прилепили к нему клеймо *тунеядца*. Последовал сфабрикованный госбезопасностью судебный процесс, приговор и высылка на три года в глухую заполярную деревню в Архангельской области. Этим власти не ограничились. Молодые литераторы из окружения Виссариона поплатились последней надеждой опубликовать в журналах или книжных издательствах свои, даже принятые до этого к печати стихи и рассказы. Что же касается меня, то редакция издательства «Советский писатель» вернула рукопись книги, приложив

убийственное заключение — приговор. Одновременно в издательстве «Художественная литература» перестали заказывать мне переводы стихотворений авторов, книги которых продолжали оставаться в планах издательства. Ко всему этому, меня вызвал на беседу директор школы, в которой я преподавал русскую литературу. Он показал мне письмо из райкома партии, в котором я фигурировал как близкий друг Виссариона, выступавший с ним на полуподпольных вечерах поэзии и поддерживавший его антиобщественную деятельность. На основании сказанного директор школы предложил мне уволиться по собственному желанию, если я не хочу получить такую запись в трудовую книжку, после которой меня никто никогда никуда не примет на работу.

Я позвонил Ирочке в лабораторию. Несмотря на взаимную близость круга друзей, соединенных Ирочкой, мы придерживались правила: никогда не приходите друг к другу без звонка. Особенно к Ирочке. Она и раньше, до организации лаборатории «ЧАГА» не выносила внезапных вторжений, даже непредусмотренных и несогласованных визитов родителей к ней на Кировский проспект. Я позвонил Ирочке в лабораторию, и она тотчас пригласила меня зайти. Интуитивно я захватил с собой паспорт и трудовую книжку с пристойной записью об увольнении *по собственному желанию*. Я постучался в дверь лаборатории «ЧАГА». Ирочкин голос позвал: «Входите!» Я вошел. Римма Рубинштейн что-то фильтровала под колпаком вытяжного шкафа. Ирочка надписывала разноцветные карточки на клетках с белыми мышами. Она оторвалась от клеток и поспешила ко мне. Мы поцеловались. Римма помахала мне, крикнув, что вот-вот освободится. Ирочка повела меня к своему письменному столу. «Садись и рассказывай: что случилось». Я рассказал и показал трудовую книжку: «Поздравь меня — я *тунядец!*» «Я так и знала, что дружба с Виссарионом добром не кончится. Я имею в виду тебя, Даник. Конечно, Виссариона жалко. Но он борец. Вернется из ссылки на крыльях славы. Уже сейчас его стихи сравнивают с пастернаковскими из “Доктора Живаго”. Да, он придет через испытания к всемирной славе. Помяни мое слово! А вот такие, как ты, Даник...». Она не закончила. Мне даже показалось, что слезинки сверкнули в уголках ее глаз. «Риммуля, оторвись, пожалуйста, от своих колб. Надо посоветоваться!» Римма сняла резиновые перчатки и вымыла руки. Мы обнялись. Она была очень милой девочкой, с которой мы никогда не переходили черту близости

сти, но всегда были рады видеть друг друга. Это, пожалуй, произошло не из-за тихого романа Глебушки Карелина с Риммой, а из-за *нашего тоскующего ангела* Васеньки Рубинштейна, к которому я продолжал испытывать чувство благодарности. Он ведь спас меня от пневмонии, достав американский эритромицин.

«Ты когда-нибудь держал мышей в руках, Даня?» — спросила Ирочка. «Это что — на случай, если меня арестуют как тунеядца, посадят в тюрьму и единственными моими приятелями по камере окажутся мыши? Я буду их кормить с руки, дрессировать и тем самым преодолевать тоску одиночества. Ты это имела в виду, Ирочка?» «Я имела в виду белых лабораторных мышей, мой дорогой шутник. До камеры дело не дойдет. Не допустим. Верно, Риммуля?» «Ни в коем разе!» Мы все рассмеялись. В молодости любые тревоги уходят, стоит кому-нибудь пошутить. «Я говорю вот об этих чудесных лабораторных животных. Ты когда-нибудь брал их в руки, Даник?» «Представь себе, Ирочка, не только брал в руки, а брать и держать их надо за хвост, иначе укусят и очень больно, не только брал, но и пересаживал из одной клетки в другую, давал корм, менял воду, словом, делал все, что положено получать белым мышам, доверенным любознательному мальчику. Я ходил в школьный кружок юных натуралистов со второго класса по пятый». «А потом?» — спросила Римма. «А потом надоело. Я увлекся собиранием монет, марок, футболом и еще чем-то особенно интересным для подростка, у которого мама целый день на работе, и улица становится самым увлекательным местом для самодельных городских аттракционов. Скажем, прокатиться на подножке трамвая или зацепиться железным крюком за кузов грузовика и промчаться на коньках по обледенелой улице от поворота до поворота. Ну, а к девятому — десятому классу пошли стихи, и литература вытеснила все остальное». «Даник, боюсь, что литературе придется потесниться на некоторое время», — улыбнулась безмятежно Ирочка. Она умела внезапно перешагнуть через черную полосу недачи и улыбнуться, как ни в чем не бывало.

Ирочка предложила мне должность лаборанта. Зарплата была небольшая, меньше, чем в школе, но я согласился без колебаний. Ведь Ирочка будет каждый день в одной комнате со мной, и я смогу смотреть на нее, слушать ее голос, просто знать, что она здесь. Я начну работать, и забудется тревожное ожидание милиционера с повесткой в суд за *тунеядство*. Забудется страх высылки из Ленинграда.

Моя жизнь расщепилась на два совершенно несвязанных существования. С утра до вечера я занимался экспериментами на белых мышах. Смысл этой работы сводился к тому, чтобы подтвердить (или опровергнуть) способность нашего препарата, полученного из березового гриба (чаги), подавлять развитие злокачественных опухолей. Без этого этапа Ирочка никак не могла перейти к испытаниям чаги в онкологической клинике. Требовалось соблюдать протокол, обязательный для медицинского применения каждого нового лекарства. За этим со всей строгостью наблюдал московский экономист Вадим Алексеевич Рогов, добившийся финансовой поддержки лаборатории «ЧАГА». Отец Ирочки, директор Лесной академии Федор Николаевич Князев заглядывал к нам, словно невзначай проходя мимо, и невзначай расспрашивал об очистке препарата, о количестве активного вещества на килограмм сырья (березового гриба) и, естественно, об эффективности препарата в опытах на животных. Ирочку, казалось бы, не тяготил этот контроль. Напротив, она с упоением вычерчивала графики, просиживала вечерами в научной библиотеке и каждую неделю ездила к своему научному руководителю, профессору Марии Семеновне Гольдштейн, в Институт онкологии на Березовой аллее.

В отличие от многочисленных рецептов народной медицины по приготовлению и применению внутрь отваров или экстрактов березового гриба, наш препарат предполагалось очистить до такой степени, чтобы вводить больным в виде инъекций. Соответственно, надо было, прежде всего, проверить, токсична ли химически очищенная чага при введении ее белым мышам подкожно, внутрибрюшинно или даже внутривенно. И только при условии, что препарат чаги (мы назвали его ПЧ) окажется безвредным, можно будет приступить к экспериментальной терапии различных видов рака в опытах на лабораторных животных. Не стану описывать в деталях ход экспериментов. Не это входило в замысел романа с главной героиней — Ирочкой Князевой, женщиной, вокруг которой взвихриваются и кружатся, как в центре Вселенной, сюжетные линии этого повествования. Скажу только, что сырья (березовых грибов, спиленных во время экспедиции), едва хватило для экспериментов. Но не буду забегать вперед. Расскажу об экспериментах на белых мышах. В моей анкете было вполне справедливо записано, что обладатель сего диплома окончил Ленинградский университет, т.е. у меня был диплом молодого специалиста с высшим об-

разованием. Кстати, в числе необязательных предметов я прошел курс биологии, потому что мои университетские годы пришлось на реабилитацию советской молекулярной биологии и генетики, и прежде всего на открытие Уотсоном и Криком структуры ДНК, что меня крайне интересовало. Все это так, но я не знал практически (мануально) экспериментальную биологию, а тем более, экспериментальную онкологию, то есть не был научен грамотно ставить эксперименты на животных.

Белые мыши шуршали в железных клетках, помеченных Ирочкой разноцветными этикетками и поставленных в углу лаборатории. В колбах, хранившихся Риммой в холодильнике, ждали мышей серии ПЧ. Пора мне было приступать к экспериментам. Я честно признался Ирочке, что умею только переносить животных из клетки в клетку, а также кормить и поить. Всему остальному я должен научиться: «Но где? У кого?» Ирочку мое признание ничуть не огорчило. Не удивило, не огорчило и не разочаровало. «Даник, — сказала Ирочка, — Я все это прекрасно знала, когда сделала тебе предложение (она замедлила на минуту), сделала тебе предложение о работе. Главное, что ты вне опасности. Ни о чем не думай. Я договорилась: ты будешь ездить два-три раза в неделю в Институт онкологии и учиться у тамошних ученых заражать мышей злокачественными опухолями и лечить животных».

Пролистаю эти страницы, которые вполнегодились бы читателям журналов «Наука и жизнь», «Химия и жизнь» или «Природа», не говоря уже о знаменитом американском научно-популярном журнале «Scientific American», но совершенно не интересуют читателей любовного романа, который я сочиняю. Скажу только, что за год челночных поездок в лабораторию экспериментальной терапии рака Института онкологии я кое-чему, действительно, научился. Экстракт березовых грибов, очищенный Риммой до состояния ПЧ (препарат чага), не вызывал никаких болезненных последствий при кормлении мышей или введении шприцем подкожно, внутрибрюшинно или внутривенно. Это значило очень многое. Ведь главный принцип медицины: «Врач, не повреди больному!» ПЧ не вредил первым пациентам нашей лаборатории — белым мышам. ПЧ устойчиво защищал белых мышей от развития саркомы (рак соединительной ткани), рака молочной железы и меланомы (рак кожи). Т.е. если начать введение нашего препарата чаги через неделю после прививки опухолей или даже

одновременно с введением, рак не развивается или развивается очень медленно по сравнению с контролем (мыши с привитым раком, которым не давали ПЧ). Правда, ПЧ подавлял не столь успешно далеко зашедший раковый процесс. Когда мы всей лабораторией обсуждали эти данные, Ирочка воскликнула: «Ты гений эксперимента, Даник! Твои результаты подтверждают наблюдения народных знахарей. В местностях, где пьют вместо чая отвар чаги, заболеваемость раком гораздо ниже, чем средний уровень пораженности раковым процессом в стране, области, районе! Кстати, почему бы нам не отметить первый успех?» Мы с Риммой охотно согласились.

По дороге к Ирочке попросили таксиста остановиться на площади Льва Толстого около «Гастронома». Вдруг мне вспомнился рассказ Инги, что она жила когда-то здесь на площади Льва Толстого (тоже у *пяти углов*), но, в отличие от Ирочкиных *пяти углов* не поблизости от Невского, а на Петроградской стороне. Словно угадав мои мысли, Ирочка заметила невзначай: «Есть петербургская легенда, что на *пяти углах* рождаются красивые женщины». И дерзко засмеялась. У Ирочки была такая особенность: при добром нраве и аристократизме вдруг *выступить* с неожиданной дерзостью: «Есть петербургская легенда, что на *пяти углах* рождаются красивые женщины». Все мы знали, что Ирочка родилась на Пяти Углах. Но как она дозналась до Инги? Риммочка осталась в такси, а мы бросились набирать закуски-выпивки. В тот короткий период позднего хрущевского и раннего брежневского правления в центральных гастрономах (вершиной был Елисейевский на Невском проспекте) можно было в случае удачи сразу купить прекрасные грузинские вина, коньяки, ветчину, швейцарский сыр, маслины, кетовую и даже паюсную икру, и всяческие консервы, включая легендарных камчатских крабов. Мы всего этого и закупили. А когда я вызвался заплатить, Ирочка ласково и настойчиво отодвинула от кассы мой тощий бумажник, положив на медный язык стеклянной будки крупную купюру, которую ловко слизнула правая рука кассирши, а левая весело прозвенела ручкой денежной шарманки. Наверняка план вечеринки был продуман Ирочкой заранее, иначе почему бы, едва мы успели войти в ее квартиру и разложить на столе закуски-выпивки, в дверь позвонили, и в гостиную вошли вместе Васенька Рубинштейн (Риммочка клялась, что не звонила Васе о вечеринке) и капитан Лебедев, на этот раз в от-

менном светло-коричневом (мокко) костюме и красно-сине-белом галстуке. Выглядел капитан Лебедев очень пристойно, не суетился, широко улыбался, и кажется, раздался в плечах. Оба принесли цветы, коньяк, конфеты, торт. «А я опять ни с чем!» — аукнулось мне. Все перецеловались, в том числе и с капитаном Лебедевым. Долгое время знакомства и рекомендация Ирочки сблизили его с нами. Риммочка вполголоса спросила мужа о каких-то вечерних делах, связанных с Асенькой, их дочкой, которая подросла и без истерик оставалась с бабушкой. Кстати, мать Риммочки Рубинштейн благополучно *дотягивала* второй курс внутривенной терапии ПЧ, и рентгеновские снимки были вполне обнадеживающими. Опухоль почки как бы замерла, перестав увеличиваться в размерах. Да, для матери Риммочки пришлось хлопотать в Ленинградском горздраве и на Ученом совете Института онкологии о разрешении провести курс чаготерапии еще до завершения опытов на белых мышах.

Застольная беседа на этот раз почти не касалась светских тем: кто из артистов/артисток кино с кем снимается? кто кому с кем изменил? кто от кого ушел? со скандалом или пристойно? кого из писателей выдвинули на Государственную премию? и если выдвинули, то почему за такую серятину, когда напечатана отличная проза Аксенова? Да, да! Не говоря о Васеньке Рубинштейне, само имя которого подстегивало вчитаться, а потом увлечься прозой знаменитого тезки-модерниста, капитан Лебедев после первой-второй рюмки решительно заявил, что считает «Звездный билет» и «Затоваренную бочкотару» своевременной и справедливой критикой бюрократов и консерваторов на всех уровнях общественной жизни и, в особенности, в работе государственного аппарата. «И даже в ваших органах?» — Ирочка карикатурно похлопала по своему животу и во второй раз дерзко захохотала. Она умела отбросить светский лоск и по-простонародному показать каким-нибудь архиввыразительным жестом свое полное презрение к объекту разговора. На что капитан Лебедев (напомню, что к этому времени, наверняка, полковник внутренних войск) скопировал рукобрюшную жестикуляцию Ирочки и откровенно начал ей вторить. Явно, насмехаясь, над этими злополучными органами. Всем стало весело и просто. Самым же приятным сюрпризом оказался заключительный звонок в дверь, который увенчался появлением нашего московского экономиста Вадима Алексеевича Рогова. Он был с цвета-

ми. Две-три рюмки коньяка и короткий пересказ с жестами нашего предыдущего разговора об Аксенове, госаппарате и внутренних органах сравнивал направление и скорость мысли московского гостя с интеллектуальной скоростью и сатирической насыщенностью предшествующей части застольного разговора. «Прежде всего, тост!» — поднялся Вадим. Мы все посмотрели на Ирочку и наполнили рюмки. «За Ирочку, которая все придумала и организовала, в том числе, предусмотрела родиться дочерью профессора Князева! — предложил Вадим. Все выпили за Ирочку. — За Римму, которая очистила препарат чаги! — Все выпили за Римму. — За Даню, который доказал, что ПЧ лечит от рака, хотя бы белых мышей! И за всех нас, включая Глебушку и Юрочку, без которых жизнь была бы беднее и бледнее! — это был тост, предложенный Ирочкой». Мы выпили, а Вадим Рогов сбегал в прихожую за своим тисненым *а ля крокодил* портфелем. «Я намерен прикинуть в цифрах наши достижения/задачи и пришел к выводу, что размер лаборатории, число сотрудников и количество сырья достигли своего предела. Ты согласна, Ирочка?» «Абсолютно!»

Он вытаскивал один за другим листы бумаги с фразами, отпечатанными на машинке, и фотокопиями графиков и диаграмм, из которых выходило, что все сырье, добытое во время экспедиции, ушло на очистку ПЧ, и химически чистого препарата хватило только для опытов на белых мышах. Он сказал, что предстоит самая главная задача: проверить на статистически достоверном количестве больных раком эффективность ПЧ у людей. Только потом можно будет предлагать ПЧ как проверенный и эффективный препарат в онкологические клиники. И в заключение Вадим сказал: «Я подсчитал и получается, что для проверки лечебного эффекта ПЧ даже у первой группы больных (весьма ограниченное количество) понадобится в тысячу раз больше сырья и, по крайней мере, в десять раз больше лаборантов для очистки промышленного количества ПЧ. Ну, и соответственно, новейшая лабораторная техника и во много раз большее помещение для лаборатории «ЧА-ГА». И, конечно же, необходима в десятки раз большая финансовая поддержка. Какие мысли, дорогие коллеги?» «Половина химического корпуса пустует с тех пор, как умер профессор Крестовский, и никто больше не занимается очисткой терпинов для производства камфары и других лекарств. Годами простаивают прекрасные помещения для химических лабораторий», — сказала

Ирочка. «Ты сможешь убедить отца в необходимости расширить лабораторию до размеров производственного корпуса «ЧАГА»? — спросил Рогов. «По-моему, отец давно ждет этого предложения», — ответила Ирочка. «Я могу прислать на месяц-два бригаду опытных строителей. Они только что закончили переоборудование тракторного цеха, — сказал Васенька Рубинштейн. — Но кто будет платить рабочим и на какие деньги будут куплены стройматериалы? А сырье для препарата из чаги — где возьмем в таком количестве?» Мы взглянули на московского гостя. Он кивнул Васеньке, показывая, что понимает важность вопроса, но не хочет прерывать строй разговора. Неожиданно выступил капитан Лебедев: «Я думаю, что в порядке шефской помощи медицинской науке министерство внутренних дел сможет регулярно поставлять в производственный корпус «ЧАГА» такое количество березового гриба, которое обеспечит получение очищенного ПЧ, нужного не только для предварительных клинических наблюдений, но и постоянного планового лечения больных в Институте онкологии». Сказав такую длинную и серьезную фразу, капитан Лебедев одну за другой выпил две рюмки коньяка и заулыбался, как школьник, отмахавший без запинки перед классом «Песнь о вещем Олеге». «Отлично! — воскликнул московский экономист Рогов. — Вот преимущества социалистической системы, когда коллективные усилия различных звеньев народного хозяйства идут на пользу народного здравоохранения!».

Я не выдержал всего этого словоблудия. Обращаясь к Васеньке, Рогову и капитану Лебедеву одновременно, я съязвил: «Вы хотите сказать, Вадим, что тоталитарный режим, который вы называете социализмом, имеет свои преимущества?» Васенька весело мне подмигнул. Рогов промолчал. А капитан Лебедев, продолжая играть роль барского дитяти, переросшего в барина, снисходительно похлопал меня по плечу: «Что лучше, по-вашему, для подростков из колоний для трудновоспитуемых: валить лес или срезать в березняке чагу для лечения больных?» «Лучше, чтобы их не сажали в тюремные колонии!» — ответил я. «И отдали города и поселки в руки юным бандитам?» — голос капитана Лебедева дрожал от обиды. Да, именно от обиды человека, который делает доброе дело, а его презирают за доброту. «Конечно, я против уличных банд, Николай Иванович. Но прежде всего я против использования рабского труда даже для благородного дела, которым занима-

ется наша лаборатория». «Ирочка, Вадим, да объясните же Дании-лу, как он глубоко заблуждается. Ну, пожалуйста, Дая, послушай-те кого-нибудь, если не доверяете мне. Ведь нельзя же так — по мундиру судить о мыслях человека». «Дая, милый, ты посмотри внимательно, — поглаживая меня по плечу, увещевала Ирочка. — Николай относится к либеральному крылу того ведомства, которое в целом справедливо заработало недобрую славу. Мы здесь все свои, как одна семья, и скажу тебе откровенно, что мне тоже сначала было трудно привыкнуть к мысли, что я общаюсь («Прости, Коля!») с гэбэшником, более того, дружу с ним. Мы все дружим. Николай неоднократно доказал преданность своей либеральной линии поведения. И просто преданность нашей компании. Не говоря уже о посторонних, то есть к нам непосредственно не относящихся делам. Например, в деле Виссариона. Хотя и к тебе, Даник, это имело некое, (слава Богу!) косвенное отношение. Так вот именно для Виссариона полковник Николай Иванович Лебедев добился вместо отбывания срока в исправительно-трудовом лагере строгого режима — относительно легкой высылки в северную деревню». «За что же, Ирочка, даже деревня? За стихи? За любовную и философскую лирику?» «За тунеядство!» — взорвался капитан Лебедев. «Тогда вы меня послезавтра потащите в тюрьму, потому что с завтрашнего дня я больше не работаю в этой лаборатории, которая будет производить лечебный препарат, полученный при помощи труда заключенных!»

На кухне лежал блокнот, а к нему приложена шариковая ручка. Ирочка была аккуратистка и записывала в блокноте предстоящие на день дела. Я пошел на кухню и написал на листке из блокнота заявление об уходе *по собственному желанию* с завтрашнего числа. Поцеловав Ирочку и Римму и кивнув остальным, я ушел.

Поздним вечером, валяясь без сна в своей железной кровати, я услышал шаги в коридоре. Кто-то постучал в дверь моей комнаты. Это была Ирочка. У нее с незапамятных времен хранились ключи от моей коммунальной квартиры и от моей комнаты тоже. Но она постучалась. Она была в плаще, с которого стекала темная вода. За окном хлестал ливень. Из тех пронизывающих до костей ленинградских ливней, которые идут одновременно со всех сторон, из всех стихий, окружающих наш город: неба, Невы, Ладоги, Финского залива. «Я хочу поговорить с тобой, Даник», — сказала Ирочка, снимая плащ и развешивая его на спинке стула. «Если о

добыче чаги юными арестантами, то я все сказал и даже написал. Я к этому не желаю иметь никакого отношения. И всем остальным не советую. Кроме капитана Лебедева». «Даник, давай попьем чаю и поговорим, как взрослые люди, а не как влюбленные подростки, которых разлучают жестокие родители». Я пошел на кухню, поставил чайник на газовую плиту и вернулся в комнату накрывать на стол. Бывало, что я по рассеянности или бесшабашности забывал купить элементарные продукты или предметы быта: чай, сахар, соль, спички. Правда, всегда была водка или коньяк. На случай, если заглянет кто-нибудь из литературной братии. Бывало, заглядывали и не только днем, а в самые неурочные часы, скажем, далеко за полночь. Так что на этот раз я вначале принял Ирочкин стук в дверь за неожиданный визит одного или нашествие целой компании поэтов. Хотя вначале забыл, что ключи были у нее одной. Я принес закипевший чайник. Заварил чай прямо в чашках и приготовился слушать. Негодование до того переполняло меня, что впервые, может быть, за все время нашего знакомства (влюбленности, любви, привязанности, физической связи) я даже не пытался начать любовные игры. Как-то вдруг образовалась между нами полоса отчуждения. Это была чужая мне женщина, перевоплощенная в Ирочку. И не дожидаясь от нее возвращения (или опередив его) ко вчерашнему предложению капитана Лебедева, я озлобленно, как никогда прежде с Ирочкой, прорычал: «Он бы еще Виссариона направил на заготовки березового гриба!» Неожиданно, вовсе не в ее привычках, абсолютно выйдя из природной доброжелательности и разумного равновесия, Ирочка взвизгнула: «Да ты, послушай, кретин, прежде чем залезешь окончательно в свою догматическую скорлупу. Послушай голос разума, а если не хочешь слушать женщину, которая тебя действительно любит, как никто (кроме матери, но ее нет!), если ты не хочешь вслушаться в мои слова, то все, что до сих пор между нами было, просто ложь и похоть!» Каждому, кто читает эти строки, прежде всего может пойти на ум, что, и вправду, все, что было между мной и Ирочкой, это *ложь и похоть*, учитывая, что сакральные слова Ирочки могли относиться еще и к другим из нашей компании. Но что мне было за дело до других! Ведь это в моих объятиях она стонала и плакала от счастья, это со мной она была до того откровенна в своих любовных фантазиях, трансформировавшихся в сладчайшую в мире реальность, это с ней я затвердил божественную

тайнственность Кама Сутры, проникающую в каждый нерв моего тела. Это с ней, это с ней, моей единственной возлюбленной Ирочкой Князевой! Это она, оседлав меня, вытягивая из меня душу, и падая на мой живот, обессиленная от очередного оргазма, рассказывала горячим шепотом, что после моего ухода (бегства!) капитан Лебедев открыл некий план (совершенно секретный!), согласно которому наиболее отличившимся сборщикам березового гриба пребывание в воспитательно-трудовой колонии будет сокращено вдвое. А значит, план капитана Лебедева — это благо, и не помогать ему — значит наносить ущерб заключенным, если признать, что колония — один из видов заключения.

Словом, я остался в лаборатории. Тем более, что для блага (опять для блага!) больных, которых будут лечить нашим ПЧ, необходимо проверять активность каждой очередной (из очищенных) серии препарата в опытах на белых мышах. Меня уломали. Самое странное, что я и не пытался найти себе место учителя русской словесности, с ужасом вспоминая проверки тетрадей, контрольные работы, педагогические советы, воспитательную суету в опекаемом классе и конструирование персональных характеристик к концу года. К тому же, заказы на переводы мало-помалу начали возобновляться и приносить небольшие гонорары, которых вместе с зарплатой старшего лаборанта вполне хватало. Да, половина химического корпуса была переоборудована и отдана под лабораторию «ЧАГА». Ирочка была по макушку засыпана административными делами. Она участвовала в отборе больных для первой клинической проверки ПЧ и посещала обходы и клинические конференции в Институте онкологии, где обсуждались больные, которых лечили нашим препаратом. У нее был отдельный кабинет. Но — вот забавная деталь! Сколько Ирочке ни предлагали завести в помощь секретаря-администратора, ну, хотя бы для перепечатывания деловых писем, телефонных переговоров, покупки канцелярского оборудования и т.д. — она предпочитала держать информацию о препарате исключительно в своих руках. Хранила в специальном сейфе, код от которого был ведом только ей. Насколько я знаю, в лаборатории никто не знал кода. Готовые серии ПЧ хранились в специальном холодильнике с замком, код которого тоже знала только Ирочка. И препарат после всех внутрिलाбораторных проверок Ирочка сама отвозила в Институт онкологии. К этому времени у Ирочки появилась собственная машина, купленная,

правда, на имя Федора Николаевича Князева. Это был «Москвич». В те далекие годы владеть любым легковым автомобилем считалось неслыханной роскошью.

Производство и выпуск ПЧ подчинялся раз навсегда принятому протоколу. Из лаборатории очистки, которую возглавляла Риммочка Рубинштейн, очередную серию препарата передавали мне. Вместе со мной теперь работали две лаборантки, которых Ирочка отобрала по конкурсу из выпускников медицинского училища. Каждая серия ПЧ проверялась на противоопухолевую активность прежде всего в опытах с культурами тканей (подавление размножения раковых клеток, растущих в чашках Петри), а затем в опытах на животных. Я передавал Ирочке отчет о результатах экспериментов, и она решала, можно ли использовать в клинике проверенную серию препарата. Риммочка и ее помощники работали аккуратно, и ПЧ обладал высокой противоопухолевой активностью.

Каждую пятницу Ирочка устраивала в лабораторной библиотеке научно-производственные конференции. Сотрудники, которых теперь было около двенадцати человек, пили чай с булочками, поставляемыми из буфета Лесной академии за счет лаборатории. Такое редко случалось в совдеповские времена. Риммочка демонстрировала графики и диаграммы о ходе очистки разных серий препарата. Мне в свою очередь приходилось подкреплять Риммочкины биохимические данные результатами изучения активности ПЧ в опытах на чашках Петри и на животных. В свою очередь Ирочка (в лаборатории ее называли только Ирина Федоровна) рассказывала о первых результатах лечения больных с разными типами и стадиями рака. Как правило, это были запущенные (неоперабельные) случаи рака молочных желез, почек или кожи (меланомы). По совету профессора-онколога Марии Семеновны Гольдштейн решено было ограничить экспериментальную группу больных этими тремя видами злокачественных опухолей для того, чтобы полученные результаты были статистически достоверными. Ирочка приносила на лабораторные конференции результаты анализов и рентгеновские снимки больных, лечившихся препаратом очищенной, концентрированной чаги (ПЧ). Мы могли в течение недель и месяцев наблюдать за каждым из пациентов, к которым мы привыкли и называли по фамилиям: *наша Веретенникова, наш Бухман, наша Попова.*

Как правило, после обсуждения на лабораторной конференции противораковой активности новой серии ПЧ Ирочка отвозила ампулы с препаратом в Институт онкологии. Отвозила всегда сама и сама передавала ампулы заведующей отделением, в котором проводился экспериментальный курс. Я знаю это определенно. Впоследствии мне довелось быть невольным свидетелем странного случая. Я запомнил его навсегда. Дело было так. Ирочка пригласила меня заехать к ней после работы, чтобы вместе перекусить перед концертом в Доме работников искусств, на Невском проспекте. Ирочкин «Москвич» стоял припаркованный на Новосельцевской улице под окнами ее кабинета. В лаборатории «ЧАГИ» не делалось тайны из наших с Ирочкой дружеских отношений, которые никогда не пересекались со *служебными обязанностями*, как было принято выражаться согласно бытовавшему штампу. Правда, я никогда не злоупотреблял на работе нашей дружбой. В этом была особенность натуры Ирочки, ее уникального административного таланта. Сотрудники «ЧАГИ» были объединены невидимыми ниточками взаимной доверительности. Если кто-нибудь заболел или должен был отсутствовать по какой-то другой причине, достаточно было позвонить Ирочке, и никаких оправдательных справок или объяснительных записок не требовалось. Ирочка приучила всех нас к системе доверия. Если что-то не получалось в процессе очистки или проверки препарата на мышах, об этом знала вся лаборатория и вся лаборатория находила ошибку и исправляла ее. Так что я в этом круге не был исключением. И вполне естественным для остальных сотрудников было, что я и Риммочка пользуемся у Ирочки наибольшим доверием. Мы были вместе с Ирочкой основателями лаборатории «ЧАГИ».

Ирочка оставила свой «Москвич» во дворе, и мы поднялись к ней. Времени до начала концерта было предостаточно. В холодильнике у нее всегда хранился бодрящий венгерский рислинг, колбасы, сыры. Мы выпили и перекусили, завершив легкий ужин крепким турецким кофе, который я сварил в медной турецкой джезве (турке). По-настоящему турецкой, а не только по названию. Профессор Князев привез джезvu в подарок дочери из Турции, где он выступал на конференции по охране горных лесов Кавказа. Ирочка оставила меня поскучать за рюмкой коньяка и кофе, а сама помчалась в ванную, сбрасывая по пути блузку, джинсы, лифчик, трусики. Такая была у нас игра: я должен был изловчиться и пой-

мать не только кожуру (одежду), но и прекрасный плод (тело моей возлюбленной). Я схватил ее за руку в последнюю секунду, когда Ирочка почти скрылась в ванной, и потянул в спальню, когда раздался телефонный звонок. Ирочка как будто бы ждала этого звонка. Она вытолкала меня обратно на кухню, а сама заперлась в спальне с телефонной трубкой. Ее не было минут пятнадцать. Наконец она вышла. «Знаешь, Даник, это из нашего клинико-экспериментального отделения. Они там или разбили ампулу, или открыли нестерильно. Словом, нужна замена, и я должна мчаться обратно в лабораторию, взять из холодильника несколько ампул и отвезти в Институт онкологии». «Хочешь, я поеду с тобой?» — предложил я. Она категорически ответила: «Нет, спасибо, Даник! Жди меня здесь. Я слетаю и заеду за тобой». Я остался ждать. Ирочка все не возвращалась. На концерт мы безнадежно опоздали. Наконец, в четверть десятого Ирочка позвонила. Что-то случилось с машиной. Она застряла где-то далеко. На мой вопрос: «Где? Я возьму такси и приеду помочь!» — Ирочка резко ответила: «Если хочешь, жди у меня. Успеем ко второму отделению. А лучше всего поезжай к себе. Прости, что так вышло».

Правда, она вскоре вернулась, и мы успели как раз ко второму отделению, когда публика возвращалась в зал после длительного перерыва с буфетом, в котором можно было выпить вина или шампанского, съесть бутерброд с салями или икрой, которая считалась в те времена общепризнанным деликатесом. Ирочка была взвинчена своим дорожным приключением с доставкой ампул ПЧ. Ко всему прочему, машина забарахлила, и, по ее словам, надо было заправиться, а бензоколонка находилась у черта на куличках; дежурного доктора вызвали в другое отделение, а без него нельзя было вводить препарат; в довершение всего, в спешке поехала на желтый свет, и пришлось пятнадцать минут объясняться с гаишником, пока он милостиво не принял без квитанции и изымания водительского удостоверения довольно весомый штраф наличными, и т.д. и т.п. Кульминацией же этой серии невезений было столкновение носом к носу с Глебушкой Карелиным, который нежно вел за руку в зал Юрочку Димова, горячо обсуждая с ним достоинства и недостатки пианистки Бэллы Давидович — звезды, восходящей на смену знаменитой исполнительнице музыки Шопена — Марии Юдиной. Глебушка и Юрочка даже не заметили нас. Я хотел было окликнуть друзей, но Ирочка была до того ошараше-

на и подавлена неожиданной встречей, наслоившейся на неприятности с доставкой препарата, что немедленно потребовала проводить ее домой. Хорошо, что я уговорил ее махнуть в бар Дома писателей, где коньяк отпускали без наценок.

Это была одна из наших самых нежных ночей. Как будто бы никого, кроме нас двоих, на свете не было. «Даник, — шептала она, — ты у меня единственный. Я сегодня в этом полностью убедилась. Знаешь, бог с ними, с Глебом и Юрой. Если им хорошо вдвоем, пускай получают свой дополнительный квант счастья. Это ведь не уменьшает радости, которую я нахожу в каждом из них, или все мы получаем друг от друга. Это сверх того, что они узнали со мной. Только ты, Даник, не прельщайся дополнительными квантами счастья, потому что никто так не будет любить тебя, как твоя Ирочка». Мы не спали до рассвета, перебирая друг друга от мизинцев до мочек ушей, как гитарист-импровизатор перебирает струны послушного инструмента, повторяющего силуэты женщин и амфор. Наутро, когда мы завтракали (это была суббота), Ирочка вскользь заметила: «Даник, ты вчера мог недоумевать по поводу моего долгого отсутствия и прочее. Я была не в Институте онкологии. Ты у меня не спрашивай, где и зачем. Так надо было. И никогда не пытайся дознаваться, если увидишь какие-то странности вокруг ПЧ. Это не имеет отношения ни к качеству препарата, ни к лечению больных, которых мы сейчас подвергаем экспериментальной терапии. Договорились?» «Хорошо, Ирочка», — ответил я.

Воля моя была парализована. Я решил для себя, что моя жизнь, если представлять себе жизнь как время нахождения на земле и в околоземном пространстве, что моя жизнь поделена стеной из прозрачного материала на две части: собственно мою и мою, которая принадлежит Ирочке. Можно проходить беспрепятственно сквозь прозрачную стену, не оцарапывая ни душу, ни тело, но перейдя, четко представлять себе, в какой среде обитания ты находишься. Если в Ирочкиной, то меня окружает причудливое сочетание лиц, толпящихся вокруг нашей королевы. Каждый день заполнен заботами о качестве препарата, многочисленными цифрами измерений веса мышей, величины опухолей, продолжительности жизни подопытных животных.

В Ирочкиной среде проходили наши сборища. Иногда с участием капитана Лебедева. Сначала на квартире у Ирочки, а потом,

когда дела с препаратом ПЧ пошли все лучше и лучше, роскошные застолья устраивались в ресторане гостиницы «Европейская», что считалось эталоном финансового процветания. Действительно, накануне одного из таких празднований во времена раннего брежневского правления, Ирочка позвала меня в свой кабинет и вручила конверт. «Что это, Ирочка?» — спросил я. «Это бонус тебе за хорошую работу. В дополнение к зарплате. Так принято во всех цивилизованных странах», — ответила Ирочка. Я открыл конверт. Там была тысяча рублей хрустящими сотенными ассигнациями. «За что это? Я же получаю зарплату!» «Лаборатория решила дать тебе поощрение за успешную работу. Мы много сделали в прошедшем году. Твоя роль, Даник, очень велика. Так что бери и радуйся!» Подобные поощрения стали повторяться каждый год в конце декабря. Я не спрашивал ни у кого из сотрудников лаборатории, получают ли они, как и я, бонусы. Сразу почувствовал, что спрашивать, во-первых, неудобно и даже неприлично, а, во-вторых, интуитивно почувствовал, что ли, или умозаключил, что этот бонус, получаемый от Ирочки без всякой расписки в ведомости, как новогодний подарок, несет в себе нечто запретное или секретное, не могу точно определить.

Другой средой обитания моей души и моего тела была литература. И эта литературная среда ни в коей мере не соприкасалась со средой, где царила Ирочка. Да и сама Ирочка в мою литературную среду даже не пыталась проникнуть, как будто бы этой среды вовсе не было. Я уходил с работы, выходил из дверей ее квартиры, провожал ее после театра или бара и возвращался в свою литературную среду, которая чаще всего была моей одинокой комнатой с пишущей машинкой на еще отцовском письменном столе, моим одиноким ужином, одинокими хождениями по редакциям или посещениями друзей, которые ждали моих новых стихов, а еще больше надеялись поделиться своими, недавно сочиненными, потому что это и была истинная жизнь тогдашней полубогемной литературной среды. Жизнь в литературной среде тех долгих тоскливых лет брежневской империи была, как ни странно, прозрачной, чистой, безгрешной, как жизнь отшельников или монахов забытого скита. Многие из моих коллег по этой среде и в самом деле жили на хлебе и воде и работали дворниками, сторожами, истопниками, разносчиками газет. Так что мое положение благодаря ежедневным возвратам в сферу Ирочкиного влияния было несравнен-

но лучше, чем у моих друзей поэтов. Правда, многие из них приспособивались, перебиваясь написанием детских книжек, рекламных стихов или научно-популярных сценариев.

Иногда жизнь в Ирочкиной среде получала сигналы тревоги с самых неожиданных и несвязанных между собой сторон. Однажды это произошло летом на крыше гостиницы «Европейская». Все так и знали этот ресторан под условным наименованием *Крыша*. Внизу на первом этаже был не менее роскошный, но не такой модный, как *Крыша*, «Восточный зал». Стояла пора уходящих белых ночей — середина июля, когда до двенадцати-часа было светло, но прозрачный свет окрашивался в лилово-розовую дымку, поднимавшуюся из-за Михайловского замка, от каналов, окружавших Летний сад, от каменного ожерелья Невы. Мы сидели за столиком вшестером: Ирочка, приехавший из Москвы экономист Вадим Алексеевич Рогов, Васенька и Риммочка Рубинштейны, а также Глебушка Карелин, который приходил на подобные сборища, скорее, для оживления романтической памяти, связывавшей всех нас с первоначальной экспедицией, когда мы добывали березовые грибы в Михалковском лесу неподалеку от Архангельского. Круговая панорама нашего неповторимого Ленинграда была, как стихи, записанные на страницах соборов и дворцов. Адмиралтейство и Зимний дворец, Ростральные колонны и Марсово поле вместе с блистательным джазом и паркетом танцевальной площадки на *Крыше* входили в понятие огромного пикника, на зеленых полях и в парках которого хотелось веселиться, дурачиться, забывать рутину жизни. Мы так и делали, запуская воздушные змеи тостов и передавая эстафетные бутылки водки, коньяка, шампанского и любимых грузинских вин. Наши дамы Ирочка и Риммочка были нарасхват. Чаще всего они танцевали с Вадимом Роговым или Глебушкой Карелиным.

Мы с Васенькой Рубинштейном потягивали коньячок и вели бесконечную беседу о нарождающейся еврейской эмиграции в Израиль. Для меня это было предметом разговора на абстрактную тему, вроде романа Рэя Брэдбери «Марсианские хроники». Или, скажем, как обсуждение идеи переселения евреев на остров Мадагаскар. Васенька не был столь категоричен. Он не отрицал возможности (при открывающихся воротах) переезда в Израиль религиозных евреев, которые приобретут в Палестине (так по старой привычке еще называли территорию государства Израиль) нормальную среду для духовного общения. Неожиданно среди музыки в стиле старого

ню-орлеанского джаза, когда солист перемежает пение с игрой на саксофоне, трубе или кларнете, слышалась нотка разговора на повышенных тонах. Мы оглянулись. Студенистое тело танцующей публики покачивалось в приливах и отливах музыки, как стая медуз. Вдруг мы увидели, что на пути Ирочки и Глеба оказался некий пожилой гражданин, который весьма запальчиво жестикулировал. Я вскочил со стула, и весь наш столик поднялся. Мы окружили Ирочку, Глеба и пожилого гражданина, которого наша королева пыталась успокоить, дружески улыбаясь, прикасаясь к его плечу и мягко убеждая: «Пожалуйста, Сергей Иванович, приезжайте завтра в мою лабораторию, и мы все решим самым справедливым путем!» «Какая уж тут может быть справедливость, Ирина Федоровна! Сорок дней, как жену похоронил, что и отмечаем с семьей и друзьями. А ведь вы обещали, что она поправится, что и без больницы обойдется!» «Завтра, завтра приезжайте ко мне в лабораторию, и все решим интеллигентно», — повторяла Ирочка, подзывая официанта, торопя Рогова расплатиться и уводя нас из ресторана.

В каком-то бреду я провел ночь, выпив стакан водки и свалившись на кровать в одежде. Наутро я приготовился решительно поговорить с Ирочкой, но каждый раз двери ее кабинета были заперты, а под конец дня Риммочка пригласила меня прогуляться по аллеям парка. «Ирочка уехала с Роговым в Кисловодск на месяц, попросив меня замещать ее на это время. Так что, Даник, ты можешь обо всем, что произошло вчера в ресторане, спрашивать у меня, — сказала Риммочка, сорвав метелку суставчатой травинки и загадав, как в детстве, на петуха или курицу. — Этот вчерашний гражданин был типичный псих, который, к тому же, не умеет хранить секретов. Да, его покойная теперь жена прошла курс чаготерапии в Институте онкологии. Случай был неоперабельный. В начале лечения были некоторые положительные результаты — уменьшился размер первичной опухоли грудной железы, но полного рассасывания метастазов не произошло. Да ты и сам понимаешь, Даник, в таких запущенных случаях мы рассчитываем на паллиатив: некоторое торможение развития метастазов, улучшения самочувствия, нормализация состава крови и т.д. Словом, после курса лечения больную выписали домой. Ее муж (ты вчера видел его в ресторане) умолил Ирочку выдавать ему дополнительные ампулы нашего ПЧ, чтобы продолжить лечение. Ирочка пошла на это, взяв с мужа больной честное слово, что передача ему ПЧ останется в тайне. Видишь, что значит — иметь

дело с непорядочным человеком?» «И что же этот... кажется, Сергей Иванович собирается предпринимать?» «Не беспокойся, Даник! Ирочка перед отъездом в Кисловодск все с ним уладила».

Тем не менее, я беспокоился. Впервые я отчетливо представил себе в действиях Ирочки возможность чего-то криминального. Все собралось вместе, как разрозненные результаты многочисленных экспериментов, сведенные в одну таблицу. Непреклонность Ирочки в том, чтобы лично передавать ампулы с препаратом в Институт онкологии (а, может быть еще куда-нибудь?); недопущение никого из сотрудников к лабораторным журналам, где зарегистрирована каждая ампула ПЧ, полученная после очистки; давний случай с очень странной поездкой сначала в лабораторию за ампулами, а потом на какую-то мифическую бензозаправку, когда я ждал ее, чтобы отправиться на концерт в Дом работников искусств; скандал в ресторане гостиницы «Европейская» и, наконец, внезапный отъезд с Роговым в Кисловодск, куда Ирочка улетела, даже не попрощавшись со мной. То есть, уехала, чтобы избежать откровенного разговора. Внезапно я физически ощутил, как зацарапались лапки летучих мышей коготками по моему телу. Зацарапались, заскреблись, гадостно зашуршали новенькие хрустящие ассигнации ежегодных таинственных бонусов. Это были коготки страха. Не из умирающих ли больных произросли эти бонусы? Умирающих медленнее, но все равно — обреченных! Мне стало так омерзительно на душе от этих летучих мышей-бонусов, от этого страха, что я, не дожидаясь возвращения Ирочки из Кисловодска, написал заявление об уходе по собственному желанию. Не буду пересказывать всего, что мне говорила Риммочка, как уговаривала забрать заявление. Бессмысленно!

Я снова был свободен, как пять? семь? сколько же, и в самом деле? — лет назад? Прошла целая эпоха. За все эти годы я успел так полюбить Ирочку, что ни разу не усомнился: правильно ли она живет? Правильно ли живут люди, окружающие Ирочку? Правильно ли я жил до сих пор? И снова возникли образы двух сфер, в одной из которых я жил честно и правильно, это была литература. А в другой, которая была отделена от литературы прозрачной и легко проходимой перегородкой, я, как оказалось, жил по законам круговой воровской поруки, то есть нечестно и неправильно. Мне могут возразить в мою же защиту, что и во второй сфере моей жизни, моей среды обитания, я жил честно: ставил опыты на белых мышках (заражал, лечил, взвешивал, измерял, оценивал статистически результа-

ты). Я не имел дела с передачей препарата врачам или больным, не получал ни у кого денег за ПЧ и прочее, и прочее. Но ведь я же получал из рук Ирочки бонусы, я их брал, подозревая, что дело нечистое, не хотел вдумываться и не мог отказаться. Не хотел и не мог, потому что был вовлечен в преступную круговую поруку. Конечно, уйдя из лаборатории «ЧАГА» я ничего не изменил в том, что было сделано в прошлом. Ни хорошего, ни плохого. Ирочка вернулась через две недели и в тот же день позвонила мне и договорилась встретиться в парке у пруда.

Был холодный день конца августа, и ее южный загар с особенным нездешним оттенком, в котором наверняка отложился яркий красно-фиолетовый пигмент винограда «Изабелла», особенно противоречил скованности, с которой Ирочка разговаривала со мной. Это была не только скованность слов, но, главным образом, скованность кистей рук и локтей. Руки были запряганы в карманы жакета из пупырчатой (серая с черным) суконной ткани, из которой шьют осенние костюмы. Такой же была юбка. Запряганы, чтобы я не увидел дрожания пальцев. Даже сапожки, казалось, были на пупырчатых подошвах, чтобы завершить композицию костюма-скафандра, придуманного, чтобы отталкивать холод, дождь, мои слова. Впервые в истории нашей жизни я выступал (или ей казалось?) в роли оппонента. «Даник, пойми, я не могу допустить, чтобы ты ушел из лаборатории». «Почему, Ирочка? Я литератор. Пора мне переходить на вольные хлеба. Стихи надо сочинять не от случая к случаю, а каждый день, как молитву. Писать стихи, ходить по редакциям, пристраивать. Я и так столько лет отдал препарату!» «Значит, ты решил выйти из нашего круга?» «Но ведь Глебушка Карелин и Юрочка Димов живут настоящей жизнью художников, и не выходят из нашего круга?!» «Так сложилось, Даник. Да и не сравнивай нашу близость с тобой и мою с ними. Ты еще вспомни капитана Лебедева и других! Конечно, мы все — это круг друзей. Как колесики у часов. Я не могу без каждого из вас. И вы все без меня. Не могу, и они не могут! Пойми, Даник! Ты скажешь, наше дело, наш препарат, наши встречи вне лаборатории, потрясающая эротика, которая пронизывает отношения нашего сообщества. Все это так, кроме тебя и меня. Я люблю тебя, Даник. Прошу тебя, не порывай со мной!» «Я и не порываю с тобой, Ирочка. Ведь было же у нас до этого препарата? Было что-то настоящее?» «И теперь остается, Даник». «Ирочка, я ведь, как в романе Набокова «Камера обскура», ничего не знаю, что

выходит за пределы лаборатории и Института онкологии». «Ну, хорошо, я попробую объяснить тебе, хотя бы схематично, чтобы ты понял», — сказала Ирочка, закурив «Мальборо». Была у нее такая особенность. Вообще-то не курила, а в минуты крайней экзальтации закуривала. Но какая сейчас была экзальтация? Разве что отрицательная! И она объяснила, только от этого не стало легче и яснее. Несколько лет назад, как только ПЧ был проверен на группе тяжелых больных и оказался способным задерживать течение рака больше, чем на год (при клиническом прогнозе у не леченных контрольных больных: 3 месяца — полгода) наша очищенная чага стала широко применяться в Институте онкологии и онкологических отделениях нескольких больниц. Березовые грибы — сырье чаги, поступали в неограниченном количестве. Тут постарался капитан Лебедев. А вот химическая очистка и проверка препарата требовали больших затрат. Лаборатория получала дотации только в самом начале. Спрос на ПЧ чрезвычайно велик. Приходилось идти на определенные нарушения, продавать препарат гораздо дороже цен, установленных для больниц. Это позволило платить хорошую зарплату сотрудникам лаборатории». «В том числе давать бонусы?» — спросил я. «Да, — ответила Ирочка. — Но в этом и есть смысл теневой экономики, Даник. Мы внедряем принципы свободного рынка в работу нашей лаборатории». «Я не думал, Ирочка, что свободный рынок допускает подпольную торговлю лекарствами. Это ведь может обернуться следствием и судом. Разве ты не боишься, Ирочка?» «Мы прикрыты, Даник. Но, если ты боишься...» Впервые за годы наших отношений я отделил себя от Ирочки. Мой страх за себя отделился от страха за нее. Причина была в том, что для меня главным всегда была литература. Это был страх попасть в ссылку или тюрьму и лишиться не только возможности сочинять и владеть написанным, но и общаться с друзьями-поэтами. Я навсегда отрезал бы себе путь к редакциям. Хотя, несомненно, Ирочка была энергией для моей литературы. Находясь на свободе, я мог бы (я понял, что мог) воспользоваться другими источниками энергии. В тюремном лагере или ссылке я лишился бы даже этих, дополнительных. Но может быть, достаточно было воспоминаний об Ирочке? Вся ее жизнь сосредоточилась в лаборатории, которая давала ощущение свободы, финансовой свободы, конечно же. И свободы быть королевой, распоряжавшейся нашей работой, нашей любовью, нашими деньгами.

Словом, я выпал из Ирочкиного круга. Ушел из лаборатории. Стал свободным художником. Меня могут спросить, почему же я не занял такого же положения, как Глеб и Юрий? То есть, не смог, не порывая с Ирочкой и другими, отойти от лаборатории. Не что иное, как страх гнал меня из этого круга. Наверняка сомнения и даже страх посещали и других: Васеньку Рубинштейна, Риммочку, капитана Лебедева. Впрочем, такие, как капитан Лебедев, не ведают страха. Почему же все-таки я оказался первым, кто откололся? Был самым слабым? Самым прозорливым? Или эта рулетка с самого начала не увлекала меня, а я потянулся за Ирочкой, случайно укрылся в лаборатории, когда боялся стать тунеядцем, не хотел повторения участи Виссариона? Хотя Виссарион с честью прошел ссылку, вернулся в Ленинград и вскоре эмигрировал.

Мы еще презванивались с Ирочкой и даже ужинали пару раз в ресторане Дома писателей. Это были горькие прощальные встречи. Но и с оттенком некоей оправдательной и даже образовательной линии по ходу разговора. Образовательной, разумеется, не с моей стороны. Образовывала Ирочка. Во время этих прощальных прогулок и ужинов Ирочка нечаянно выдергивала из прошлого (главным образом, из моей экспериментальной работы) какие-то разноцветные ниточки, переплетенные временем в тугую косичку давно минувших дел и разговоров. Добиралась, как канатоходец с крылатым шестом, до таких высот, как финансовые формулы московского экономиста Вадима Рогова. Или рассказывала мне об охране «капитанами Лебедевскими» таких предприятий параллельной экономики, как наша лаборатория, о защите от поборов со стороны так называемых отрядов самообороны, которые, по сути, были прообразами мафиозных объединений времен перестройки. Пожалуй, к Ирочкиному удовлетворению, не знаю, какого оттенка подобрать слово для этих малополезных бесед, я не высказывал ни малейшего интереса к денежным механизмам теневой экономики, и в частности, к экономическим механизмам нашей производственной лаборатории. Я был рад, что препарат чаще всего *работает* и больным становится легче. Конечно, я хотел бы вернуть эти пресловутые бонусы, полученные за многие годы. Но это было бы чистоплюйством, подлостью и предательством самого себя, прожившего эти годы в кругу Ирочкиной компании.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ

Меньше всего я предполагал встретить Ингу, да еще в одну из первых недель после моего переезда в Москву. Расскажу по порядку. Мой старый каменный двухэтажный дом, стоявший напротив химического корпуса Лесной академии, пошел на слом. От ветхости или оттого, что нужна была площадь под строительство кооперативного здания для сотрудников Лесной академии, или от всей совокупности обстоятельств, вполне подходящих под словформулу *судьба*. Я получил отдельную однокомнатную квартиру в Сосновке, неподалеку от ленинградского Политехнического института, взамен двух комнат в прежней коммуналке. И эту квартиру я, не въезжая, обменял на комнату в еще одной коммуналке, на этот раз в московской коммуналке на третьем этаже старинного здания. Окна моей комнаты выходили на Патриаршие пруды. Причинами моей поспешной и, казалось бы, невыгодной сделки (отдавал отдельную квартиру за комнату в коммуналке) послужили следующие обстоятельства: тупик в отношениях с Ирочкой, которую я не видел несколько лет, хотя она вначале (еще около года с небольшим) оставалась в лаборатории «ЧАГА», то есть визави, в трех минутах ходьбы; тупик в отношениях с ленинградскими издательствами, которые не брали мою рукопись стихотворений к изданию, откладывая ее на бесконечные доработки, не заказывали переводы; и, наконец, мое желание порвать со всем тяжелым, неустойчивым и опасным, развивавшемся к этому времени в городе моего рождения, где я, казалось, ходил по острию ножа. Я не оговорился, сказав, что Ирочка еще больше года оставалась в лаборатории «ЧАГА». Как я потом узнал (под огромным секретом от Римочки Рубинштейн), дело о незаконном распределении препарата чаги (ПЧ) было все-таки возбуждено, сотрудников допрашивали, пытались проследить, куда сбывались излишки ПЧ, пока судебное производство не было прекращено (наверняка благодаря вмешательству капитана Лебедева) и лаборатория закрыта. До сих пор не могу найти рационального объяснения тому, что меня ни разу не привлекали для дачи свидетельских показаний.

Итак, в одну из первых недель после моего переезда в Москву я встретил Ингу Осинину. Солнечный сентябрьский день сыпал

пригоршнями золотые листья на дорожку вокруг Патриарших прудов, на капризные водяные росписи, оставленные ветерком, на кепки стариков и платки старух, облепивших садовые скамейки. Я шел от угла Тверского бульвара и Малой Бронной улицы, где у меня с Театром того же названия завязались творческие отношения, скрепленные договором. Текст довольно увлекательной пьесы был написан молодым татарским драматургом, которому посчастливилось родиться неподалеку от гигантской нефтяной скважины. Он предлагал свою пьесу по праву первородства, как если бы это была не пьеса, а его родная сестра. Пьеса, написанная по-татарски, была не без драгоценных камней таланта, которые и превращают простой пересказ в явление литературы. Загадку запутанных узлов сюжета пытались разгадать герои пьесы, среди которых причудливо смешались уголовники, бомжи и новоселы-нефтяники, преданные коммунистической идее. Пьеса была написана по-татарски, к оригинальному тексту приложен подробный подстрочник. Но даже художественного перевода нехватало, чтобы расшевелить избалованного московского зрителя. Я предложил главному режиссеру театра, фамилия которого — Баркос — загадочно напоминала одновременно фамилии двух предшествующих *главрежей* (Баркан и Эфрос), ввести в текст интермедии с частушками и маленьким джаз-бандом, превратив пьесу в веселый мюзикл. После каждой репетиции я уходил на Патриаршие пруды переводить свои растрепанные мысли в логически связанные куски сюжета.

Свободных скамеек не было. Пришлось извиниться и сесть рядом с молодой дамой, сосредоточенно рассматривавшей поверхность пруда. «Ну, конечно, присаживайтесь!» — вежливо отмахнулась молодая дама, и я мгновенно узнал Ингу — Ингу Осинину из давно минувшего подмосковного лета в Михалкове. — «Боже мой! Инга!» «Даня!» «Сколько лет прошло!» «И вправду, сколько лет?» «Даже не помню, как мы были: на ты или на вы?» — спросила Инга, углубленно всматриваясь в меня. Я вспомнил, что у нее была особенность, особенная черта характера или особенные фигуры мимики лица, когда собеседник чувствовал себя подробно изучаемым. Есть же люди, и таких большинство, которые легонько скользнут по самой поверхности лица собеседника, что-то увидят, что-то заметят, но долго не размышляют над увиденным и замеченным. Инга всматривалась и пыталась понять. «И вправду, сколько лет? — повторил я не столько вопрос, сколько подтверждение того, что прошло три, пять, семь лет. — Мотя, наверно,

взрослый юноша?» «Почти десять. Так что не виделись мы около семи лет. А обещали позвонить, когда придется побывать в Москве. Разве не бывали, Даня?» «Бывал, конечно, хотя и нечасто». Она посмотрела на меня своими распахнутыми аметистовыми глазами, поверив сразу и в то, что бывал, но нечасто, и в другое, еще не сказанное, но накопленное за эти годы без Ирочки и до Инги. Я не знаю, как долго мы сидели на этой скамейке, подсаживался ли кто-нибудь третий, или публика, прогуливающаяся вокруг Патриарших прудов, оставила нас в покое, видя, как мы оживлены друг другом. Я рассказал Инге, что ушел из лаборатории, которая через несколько лет вовсе закрылась; что давно потерял связь с Ирочкой; что перешел на вольные хлеба и — самое главное — переехал в Москву и поселился вон в том доме по другую сторону пруда. «Как замечательно! — воскликнула Инга. — Вы мне когда-нибудь покажете ваши апартаменты?» Я вспомнил, что в затруднительных случаях, когда Инга не была уверена в точности того или иного слова, она употребляла редкие, старинные или иностранные слова. Например, *апартаменты*, потому что не знала: живу ли я в отдельной квартире или в коммунальной. Ну, и конечно, я рассказал Инге о пьесе, которую перевожу и дорабатываю для Театра, находившегося на Малой Бронной улице. «Теперь у меня есть знакомый драматург, и я могу хвастаться моим подружкам!» Потом Инга рассказала о своей жизни.

Живут они там же, поблизости от метро «Речной Вокзал», правда, переехали из однокомнатной в трехкомнатную квартиру. Мотя пошел в четвертый класс английской школы. Саша работает в поликлинике Литфонда на улице Черняховского. Из его проектов по внедрению сверхурочного платного медицинского обслуживания в вечернее время или в выходные дни, ничего не вышло. За использование поликлинических кабинетов районная фининспекция насчитала такой налог, что терялся всякий смысл этой новации. Саша разобиделся и перешел в писательскую поликлинику. «Что же касается меня...» «Именно! Что же касается вас?» «Мне дьявольски повезло!» «?» «Кто-то успешно лечился у Саши. Этот кто-то был знаком с кем-то, у кого невестка работала ответственным секретарем в редакции журнала «Дружба народов» и много лет страдала от приступов сезонной аллергии. Этот кто-то порекомендовал невестке — секретарю показаться Саше, который ее значительно подлечил. В это время в редакции «Дружбы народов»

открылась должность технического редактора. Даник (можно — Даник?), вот уже полгода, как я абсолютно счастлива!» «Несмотря на берлинскую стену?» «Несмотря!» «И очереди за австрийскими сапогами?» «Несмотря на еще какие!» Мы оба расхохотались и обменялись телефонами.

Наконец, текст перевода был готов. Частушки, которые исполняли солисты маленького джаз-бэнда (гитара, кларнет, контрабас), открывали и завершали каждую сцену. Репетиции начинались в десять часов утра, включая выходные дни, потому что главреж Баркос дал председателю репертуарной комиссии Министерства культуры слово выпустить спектакль к октябрьским праздникам. Как-то само собой получилось, что после утверждения русского текста пьесы, роль татарского драматурга в репетиционном процессе значительно уменьшилась, а командировочных ни союз писателей Татарстана, ни театр не платили, и мой коллега решил вернуться в родные пенаты, а именно в Казань, оставив меня на съедение главрежу Баркосу. И в самом деле, моя участь висела на волоске, и я вряд ли дотянул бы до генеральной репетиции, потому что главреж Илья Захарович Баркос каждый раз, обращаясь ко мне, выхватывал карающий меч из ножен своей официальной должности, название которой содержало в себе глагол *режь!* Он был кровожаден, как саблезубый тигр, коварен, как рысь, и мудр, как змей. Он знал наизуток текст пьесы и обращался ко мне во время репетиции (выкрикивал мое имя Даниил) только для того, чтобы проверить, готов ли я ради искусства шагнуть в яму со львами, и не отвлекаюсь ли я на внеслужебные «разговорчики» с помощницей режиссера хорошенькой Настенькой, которую бог не наделил актерским талантом и потому отдал на заклятие главрежу. Я был готов шагнуть в яму даже без Настеньки, во всяком случае, оркестровую, так я мечтал о своем первом спектакле. Единственным, на кого Баркос не набрасывался с ядовитыми замечаниями и, нередко, верными советами, был актер Михаил Михайлович Железнов, народный артист, лауреат, кинозвезда и пр. и пр. Выйдя из потомственной театральной семьи, Михаил Михайлович внедрился в социалистический кинематограф и реалистический театр, почти одновременно сыграв в кино роль юноши-дельфина, а в театре — гоголевского Хлестакова. Потом пошли шеренги комиссаров, следователей и прочей псевдоромантической братии, запрудившей советские сцену и экран. В театре Михаил Михайлович добросовестно играл классические роли героев-любовников, потому что

был красив, хорошо двигался на сцене и недурно исполнял русские романсы. Вот и все. Это был бы пик его актерской карьеры. Пик и финал! Не сыграй он роль советского резидента-разведчика в классическом сериале «Осенние мгновения».

В это утро, около десяти, актеры стекались на репетицию. Появился взвинченный Баркос. Настенька, что было необычно для нее, опаздывала. Затем вбежала, неприбранная (тоже необычно) и кругом виноватая, судя по ее извиняющемуся бормотанию. Не то электричка не остановилась на платформе ее родимого полустанка, не то на станции метро отключилось электричество и задержались поезда. Михаил Михайлович Железнов, вошедший в репетиционный зал минутой позже, объясняться не стал, помахал рукой Баркосу и уткнулся в протянутый ему текст репетируемой сцены. Текст был протянут заведующей литературной частью театра, хотя должен был — Настенькой. Это и взбесило главрежа. На глазах у публики, в этом случае, на глазах у труппы, взбешенный главреж принялся распекал Настеньку за нынешнее опоздание, за отсутствие текста, в том числе, *для нашего мастера*, за что-то еще и еще. Вернее всего, злость Баркоса была вызвана безмятежной улыбкой Михаила Михайловича, подтверждавшей растерянность и виноватость Настеньки. Не стану отрицать, я воспользовался промашками в расписании электричек, перенапряжением пробок в электросети метрополитена, бестактностью главрежа, мелким предательством господина народного артиста и пригласил Настеньку выпить кофе в перерыве между утренней и дневной репетициями.

Настенька оказалась милой уступчивой девушкой, с благодарностью принявшей мою руку, протянутую ей в день сплошных неприятностей. Оказалось, что никакой вакансии в окрестностях ледяного сердца главрежа для нее не предвиделось, а мимолетная связь с народным артистом никуда не вела. Мы продолжали сбегать с Настенькой в окрестные кафешки или пельменные/шашлычные, заранее договариваясь о месте встречи, чтобы не нанизывать на хвост внутритеатральных сплетен новые приключения неудачливой помощницы режиссера. Тем не менее, продолжительность наших тайных свиданий начала выпадать в осадок или, пользуясь более ясными химическими терминами, кристаллизоваться и приобретать форму граней с четкой конфигурацией картежных предсказаний: любовь, разлука, дальняя дорога, казенный дом, марьяж. Перестали быть секретом наши тайные свидания за чашкой

кофе. Все остальное домысливалось при помощи известной формулы, когда А — это молодой неженатый мужчина, а В — молодая незамужняя женщина. А — обладает жилплощадью в центре Москвы. В — живет в доме родителей на подмосковном полустанке. Вполне понятно, что В стремится переехать к А. Сразу оговорю, что все эти логические построения происходили в нашем подсознании (моем и Настеньки), и я ни в чем ее не виню, а виню исключительно себя. К этому времени Настенька частенько оставалась до утра в моей комнате на Патриарших прудах, что свело до минимума ее минутные опоздания на утренние репетиции. Да и то смехотворно нарочитые, чтобы не бросалась в глаза синхронность наших появлений перед взорами главрежа Баркоса и труппы.

Со дня встречи с Ингой на скамейке около Патриарших прудов прошло немногим более трех месяцев, что по русским правилам ухаживаний/встреч/расставаний кое-что значит, и, может быть, значит начало или конец чего-то серьезного. По американским же представлениям (забегаю вперед!) эти сроки ничего не значат или значат почти ничего. Если это и значило что-нибудь, то для Настеньки и для главрежа. Настенька относилась к нашим с ней отношениям весьма серьезно и, подозреваю, с надеждой. Главреж Баркос, как ни странно, весьма одобрял наши отношения, видя во всем этом некое воплощение порядка в гетевском понимании пантеизма. Он полностью переменялся ко мне, увидев в молодом литераторе возможности трансформации в зарождающегося драматурга. Однажды, зазвав к себе в кабинет, главреж поинтересовался: есть ли в моем творческом портфеле оригинальные произведения прозы или драматургии? Или только переводы? «Ну, хотя бы замыслы будущих пьес?» Я кивнул утвердительно. «Расскажите!» Ну что я мог рассказать моему правоверному главрежу, видевшему-перевидевшему на своем театральном веку самые неожиданные переплетения судеб актеров, актрис, режиссеров, драматургов, театральных критиков, музыкантов и театральных художников?! Я ведь знал только один-единственный сюжет, в котором роль главной героини принадлежала Ирочке, а все актеры-мужчины были второстепенными героями. У каждого с Ирочкой были свои особенные диалоги, с каждым развивался свой особенный сюжет (на фоне общего) и у каждого из них (из нас) были свои особенные реплики. Я кивнул утвердительно: «Когда-нибудь расскажу, Илья Захарович! Или даже напишу!» «Да, да! Лучше напи-

шите! И не откладывайте. Начните с заявки. Напишите заявку для будущей пьесы. Мы с завлитом читаем, подумаем. Если понравится, не утаим. Или посоветуем что-то. Какой-то опыт, согласитесь, у меня есть. Договорились, Даниил Петрович?» «Договорились. Я подумаю, Илья Захарович!»

Мне очень хотелось позвонить Инге немедленно. В день, когда мы встретились на Патриарших прудах после семилетней разлуки. Или на следующий день. Я хотел и откладывал. Тому было несколько причин. Конечно, я хотел увидеть Ингу еще с тех незапамятных времен, когда мы всей компанией добывали чагу в березовой роще поблизости от деревни Михалково. Что скрывать, еще тогда я хотел видеть Ингу каждый день и совершал рассветные прогулки, конечно же, не для утренней разминки. Разминались мы более чем достаточно в лесу, отпиливая и отрубая древесные грибы с березовых стволов. Но тогда я играл роль друга семьи, а Инга и Саша мне подыгрывали, правда, не знаю, зачем каждый из них? Только Мотя, ничего не подозревая, ловил бабочек и стрекозок в моей безотказной компании. Словом, я тогда хотел видеть Ингу и продолжал хотеть до сих пор. Это хотение никак не противоречило моей любви к Ирочке, которая была для меня, и думаю, для остальных компанейцев чем-то вроде космической любви. Ведь сторают же монахини от любви к Иисусу Христу! Верим же мы, что господь Бог метафорически говорит с нами языками пылающего куста! Доходят же буддийские монахи до экстаза, вглядываясь в глаза друг другу.

А мы могли не только вглядываться в Ирочкин взор, но говорить и обладать ею. То есть, Ирочкина космическая, королевская над нами власть покоилась одновременно на виртуальной и телесной основе. С Ингой было совсем другое. Я с самого начала воспринимал ее как красивую и умную молодую женщину. Сексуально и интеллектуально притягательную. И ревновал к Саше Осинину, ее мужу. Еще тогда на даче в Михалково я возвращался от Осининых в нашу бригадную избу *с разбитым сердцем*. Простите за старомодное выражение! Я представлял себе в подробнейших деталях споры-разговоры Саши Осинина с московским экономистом Вадимом Роговым и другим апологетом параллельной экономики Василием Рубинштейном, *моим тоскующим ангелом*, по выражению Ирочки Князевой, наши с Ингой умные и вдохновенные беседы о литературе и живописи, когда весь этот интеллигентский

эфир под конец вечера опускался на землю и превращался в *мятый пар*, по выражению инженеров-путейцев. В избах дачной деревни Михалково под Москвой наружные двери и двери спален закрывались изнутри на щеколды, задвижки, замки или крючки, в том числе и дверь спальни Инги и Саши Осининых. Еще до этого Инга споласкивала лицо под рукомойником на кухне, поправляла подушку и одеяло у Моти, ныряла под простыню, прижималась к мужу Саше. А он не спал, дожидаясь этого мига, когда она нырнет к нему, вильнув бедрами, как молодая нерпа. Как проведет губами и грудями по его груди и животу, чтобы он в свою очередь нырнул в нее до самого сладкого дна. Вот этих картинок воображения я не выдерживал еще тогда в Михалково, семь лет назад. Мучился и теперь, когда неожиданная наша встреча оживила завистливые мучительные эротические видения. И не звонил Инге.

Была еще одна причина. Осень перекадилась в зиму. На дворе был декабрь с елками, детскими спектаклями в театре и выездными представлениями с Дедами Морозами, Снегурочками и Серыми Волками в многочисленных школах нашего города и его окрестностей. Татарская комедия была сдана в срок к октябрьскому революционному празднику. Успех в зрительном зале и в газетах был умеренно-положительный, но главреж Баркос был вполне доволен и даже предложил мне дальнейшее сотрудничество. На первых порах это были репризы к новогодним представлениям, которые продолжались с начала декабря до конца января. Не знаю, что породило неизменно доброе ко мне отношение Баркоса, но когда меня пригласили к нему для прощального разговора в конце января, перед самым окончанием моего соглашения о сотрудничестве с театром, я предложил невероятно дерзостный план, и этот план был предварительно принят. Мой дерзостный план был написать пьесу по рассказу Эрнеста Хемингуэя «Короткое счастье Фрэнсиса Макомбера», введя дополнительную ночную сцену в палатке (охотник Роберт Уилсон — Маргарет Макомбер). Баркос немедленно согласился, сразу же назвав предполагаемых исполнителей: Фрэнсис Макомбер — Железнов, Роберт Уилсон — Зверев, Маргарет Макомбер — Князева. Михаил Михайлович Железнов не нуждался в обсуждении. Роль богатого американца, прожигающего жизнь с презирающей, ненавидящей и ненавистной женой, была словно создана Хемингуэем для него. Лев Яковлевич Зверев — знаменитый комик, непревзойденный исполнитель характерных ролей, тоже не вызывал сомнения.

А вот Князева? Придя в театр не из актерской или режиссерской среды, я был новичком в этом мире со специфической винтовой лестницей успеха. Конечно, я знал театральные звезды первой величины. Но ведь театр — это лес, в котором лесничий должен знать не только высоченные корабельные сосны, но и заросли вереска. «Кто эта Князева, Илья Захарович?» — спросил я у главрежа, не подозревая, что опять ступил на край бездны. «Князева Ирина Федоровна, природная ленинградка. Не знаете? И не удивляйтесь, что не знаете! Откровенно говоря, я не уверен, что достоверно знаком с ее театральной историей. Но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Говорят, что в прошлом Ирина Князева была врачом. Но обстоятельства вынудили ее уйти из медицины. Какая-то неприятная история с подпольной торговлей лекарствами или еще что-то в этом роде. Дело дошло до того, что ее лишили врачебного диплома и угрожали всякими сроками. Но пронесло. Она начала стучаться в разные двери. В том числе и на ленинградскую киностудию. Не случайно, конечно. Дело в том, что там начинал свою киношную карьеру молодой режиссер Илья Авербух, тоже врач по образованию. Ирина была знакома с ним со студенческих лет. Словом, она удачно снялась в небольшой роли. Ее заметили. Стали приглашать. В том числе и в театры. Я видел ее в нескольких спектаклях. Природный талант и природная красота. Она вся талантлива. Естественное дыхание. Сергей Есенин». «В каком театре эта Князева служит?» — спросил я, подличая и не признаваясь Баркосу, *насколько* хорошо я знаю Ирочку Князеву. «Ни в каком и во многих! Свободная художница. Гастролер. Играет то в одном, то в другом театре Ленинграда. Иногда в провинции. В Москве мы будем первыми, кто приглашает ее на главную роль. Согласны?» «Конечно, согласен, Илья Захарович!» «Тогда приготовьте текст ночной сцены, и мы вызовем Князеву на пробу!»

Я с энтузиазмом засел за свою германскую «Олимпию», пишущую русскими буквами, воображая себя Эрнестом Хемингуэем, сочиняющим для Голливудской кинокомпании «Колумбия пикчерс». Я закончил ночную сцену и передал Баркосу. Ирочке послали текст ночной сцены и вызвали на пробу в театр. До ее приезда оставалась неделя с небольшим. Я ждал ее приезда, не находя себе места от нетерпения. Как все это произойдет? Будет ли рада Ирочка, увидев меня в роли драматурга? Или, наоборот, с отвращением откажется гастролировать в театре, с которым связан человек,

фактически бросивший ее в минуту опасности? Я мучился сомнениями, как отнесется ко мне Ирочка, жаждал встречи с Ингой и не знал, что делать с Настенькой. Откровенно говоря, она начала надоедать мне. Вернее, не она, а ее присутствие в моей комнате. С некоторых пор Настенька переселилась ко мне, решительно погрузившись в домашний быт: торопилась накормить меня завтраком, отнести белье в прачечную, купить мясо в магазине, сварить обед и прочее. Все эти мелкие заботы, пробегавшие по ее милому личику, вызывали у меня дикое раздражение. Я заметил, что самым счастливым временем в моей жизни стали дни, когда Настенька уезжала навестить родителей на подмосковный полустанок. Но когда она возвращалась с бидончиком квашеной капусты, ниткой сушеных грибов, банкой варенья или иными продуктами, собранными во саду ли, в огороде, и рассказывала, как родители сетуют, что я все не соберусь навестить их, это вызывало во мне не просто раздражение, а праведную злость. Больше всего на свете я боялся порабощения бытом.

Однажды, это было в начале апреля перед Пасхой, Настенька уговорила меня пойти погулять по Цветному бульвару. Был понедельник — день, свободный от вечерних репетиций и спектаклей. Вечер был необыкновенно ясный, когда холодные дали окрашиваются малиновыми мазками закатного солнца. Настенька была одета в белую нейлоновую курточку, стеганую так, что она напоминала телогрейки крестьянок, сшитых из неведомой в русской деревне ткани. Мы зашли в «Шашлычную» около Никитских ворот, и я с особенной остротой ощутил себя городским красавчиком, соблазнившим деревенскую девушку и не знающим, что с ней делать дальше. Нам принесли по шашлыку и по бокалу пива. Я по той же самой спирали бесчувствия или напротив, чтобы заглушить лживую сентиментальность, набросился на шашлык, отрезая поджаристые кусочки и нанизывая одновременно на вилку кольца лука и колесики помидор. Настенька почти ничего не ела, деликатно прикасаясь вилкой к мясу и прикладывая край пивного бокала к губам. Я понимал, что она хочет разговора, но интуитивно боялся подталкивать ее к этому разговору, и только предлагал ей время от времени попробовать, какое выпало нам сочное мясо и какое вкусное пиво. Она сдалась и начала первой. «Даник, я люблю тебя, — сказала Настенька. — Да ты и сам знаешь, как я тебя люблю». «Да, знаю. Я тоже. Но любовь — это звоночки солнечного света между

любящими, а не гремящие цепи». «Цепи?» «Да, цепи, Настенька, когда любовь натягивается, как жаркая колючая шапка на ребенка. Ему хочется удовольствия от свободы и прохлады, а на него натягивают кусачую жаркую шапку». Она посмотрела на меня, кивнула, словно продолжала разговор с собой, и заплакала. Я принялся ее успокаивать: «Это ведь не про нас с тобой Настенька. Наша любовь: моя к тебе и твоя ко мне — самая добровольная и самая свободная на свете любовь. И когда она кончится, эта любовь, мы честно скажем друг другу: Прощай!» Она смахнула слезы, и ее глаза были снова голубыми и чистыми, как голубые пространства неба между малиновыми полосами заката. «Даник, но ведь ты не хочешь сказать мне это *прощай* теперь?» Я молчал. Подло молчал, потому что понимал, что более удачного случая, чтобы развязаться со всем этим миленьким бело-розовым счастьем, не представится. Настенька загнала себя в угол, как плохой игрок в шашки. Она и сама понимала, что оказалась в углу, беззащитная перед моими логическими ухищрениями. И тут Настенька показала мне, что ее доверчивость и простодушие — сплошное актерство. Она не зря училась режиссерскому мастерству. Она сотни раз репетировала будущий разговор со мной и теперь действовала вполне профессионально. «Хорошо, Даник. Я не хотела с тобой говорить *настолько* откровенно. Ты сам вынудил меня». Я насторожился. Глоток пива несколько раз прокатывался вниз и вверх между глоткой и пищеводом. «Неужели? — пронеслось в моем воспаленном воображении. — Неужели — *это*?» Она больше не плакала. Не осталось даже следов былых слез. «Даник, — сказала она. — Ты, конечно, хорошо помнишь пьесу Шиллера «Коварство и любовь»?» «Припоминаю», — кивнул я неопределенно, пытаясь уловить в ее словах и, главное, в ее интонации, ответную ловушку. Настенька продолжала: «Ты, Даник, пытался сочинить другую пьесу, параллельную Шиллеру. Пьесу под названием «Коварство и наивность». Ты ведь мастер писать пьесы по готовым шаблонам: Шиллер, Хемингуэй... Кто еще? Марк Розовский?» Это было нехорошо с ее стороны. Мерзко. Но в борьбе все приемы хороши. Я видел, что она вышла в бой, пуская в дело даже наши сокровенные разговоры, которые естественны между любовниками, но должны между ними и оставаться после разрыва.

Она напоминала о моей неудаче с инсценировкой биографического романа, где главным героем был изобретатель вакцины

против оспы английский врач начала девятнадцатого века Эдвард Дженнер. Пьеса была написана для театра при Доме медработников, которым в то время руководил Марк Розовский. Написана, но не принята. Это была словесная месть Настеньки. Устрашающая доза яда, показывающая, что за милой внешностью скрывается хищный зверек. Однако Настенька совершила ошибку. Бывают люди мягкие, с которыми можно договориться и даже в самой запутанной ситуации найти компромисс. Я отношусь к таким. Но не дай бог меня запутивать, злить, шантажировать. Русский медведь вылезает из моего интеллигентского существа. Я становлюсь непреклонным. Настенька перешагнула порог моей толерантности. Зловещим шепотом, который был различим за соседними столиками, она объявила мне: «Даниил, я ждала, что ты мне сделаешь предложение, но ты, как мне кажется, и не думаешь. Я права?» «Настенька, да я и не собирался жениться ни на тебе, ни на ком другом. Разве я давал тебе повод думать так определенно?» «Но ведь я жила у тебя почти полгода. Мы были, как муж и жена». «Да, Настенька, почти полгода мы были любовниками. Ты жила у меня. Мы спали вместе. Но разве я говорил, что хочу жениться на тебе?» «А что, если я беременна?» «Это не имеет значения!» «То есть как?» «Никакого! Если ты хотела или хочешь забеременеть, ты могла сделать это до меня и сможешь в будущем — сотни раз. Ко мне это не имеет никакого отношения!» «Ты настоящий негодяй! Я ухожу от тебя!» — выкрикнула Настенька и выбежала из «Шашлычной». Я решил вернуться домой за полночь, проштатавшись по улицам апрельской Москвы, чтобы дать возможность Настеньке собрать свои вещи и уехать от меня.

Опять подтвердился закон случайности, обращающийся в отношении меня неслучайными совпадениями. В один из витков моих тогдашних вечерних шатаний по Садовому Кольцу и его окрестностям я забрел в Дом литераторов. Как переводчик, посещавший соответствующую секцию, я был обладателем драгоценного пропуска в этот элитарный писательский клуб, кафе, бары и ресторан которого я мог посещать. Я давно там не был из-за перенасыщенных репетиций и напряженной работы над книгой стихов, которую все улучшал и куда добавлял новые, не представляя себе отчетливо, что книга — это сфера, а сфера может разорваться от перенапряжения. Словом, делая очередной виток по Садовому Кольцу, дошел я до Планетария и, когда приблизился к площади

Восстания, в голову мою пришла прекрасная мысль зайти в винный отдел знаменитого гастронома в высотном здании и купить бутылку коньяку. С этим коньяком, как с близким приятелем, я мог бесстрашно вернуться домой и отметить мое избавление от милого Настенькина плена. Если же мои надежды не оправдаются, я буду пить коньяк как противоядие, нейтрализующее новый плен. Я даже повернулся лицом к гастроному, дожидаясь зеленого света, как щупальца тоски начали сжимать меня, настигнув колотившееся отчаянно сердце. Немедленно захотелось пойти к людям. Куда угодно, лишь бы не в компанию с набивающейся в подружки бутылкой. К счастью, зажегся знак перехода в сторону улицы Герцена. Я шагнул, и ноги понесли меня в Дом литераторов.

В фойе толпилась литературная братия, стекавшаяся из гастрономических и развлекательных помещений писательского клуба. Кое с кем я был знаком по переводческой секции, по толканиям в редакционных прихожих, и, в особенности, я обзавелся многими шапочными знакомствами после премьеры татарской пьесы, песни из которой временно приобрели популярность шлягеров, которые записывались на магнитофонные ленты и коллективно прослушивались в кухонных компаниях кукиш-карманщиков. Я направился в бар. По случаю вечера журнала «Дружба народов» в баре было многолюдно. Мне повезло. Я увидел пустующий табурет между одинокой молодой женщиной, повернутой ко мне спиной, и парой литераторов, толкующих о каких-то редакционных сплетнях так увлеченно, что мой вопрос, свободно ли место, остался без ответа. Молодую женщину, склоненную над коктейлем, я не решился побеспокоить, настолько она была погружена в свои раздумья. Но как только я разместился на своем табурете, как петух на шестке, и заказал мой любимый коктейль, составленный из водки и апельсинового сока, молодая женщина подняла лицо от стакана и обратилась ко мне: «Наконец-то мы встретились, Даня. Вы звонили, конечно, и, конечно, не застали меня, а передавать привет через Сашу не решились, правда?» — сказала она и засмеялась чуть грустно. «Инга, поверьте! Я хотел звонить тысячу раз. И даже сегодня. Жизнь замотала. Правда, я хотел звонить много раз, но не получалось. Да и не верю телефонным звонкам, а верю непредвиденным встречам». «Я тоже. В самом деле, мы встретились в третий раз. В Михалково, на Патриарших прудах и сегодня. Это судьба дала нам третий шанс», — сказала Инга и засмеялась с грустинкой,

придававшей ее голосу едва заметный надлом. Я как будто бы не слышал ни *третьего шанса*, ни надлома в голосе. Я все время думал о моем разговоре с Настенькой. Надеялся и не верил, что освобожусь от нее. Потому что обещание (или угроза?) уйти от меня шло вслед за признаниями в любви, а, следовательно, желанием остаться со мной, у меня. Наверно, Инге нужно было выговориться, и я оказался ко времени и к месту. Почти так же, как на даче в Михалково, а потом на Патриарших прудах, когда она рассказала о себе и Саше.

Я заказал вторую водку с апельсиновым соком, а для Инги, с ее согласия, пузатую рюмку армянского конька и чашечку кофе с лимоном. Мы пили потихоньку. Инга сказала, что часто бывает в Доме литераторов, забегает сюда перекусить в обеденный перерыв, а вот сегодня пришла на вечер своего журнала. «Я говорила вам, Дая, что работаю в «Дружбе народов»? Надо бы вернуться в зал, но так хорошо посидеть в баре. Особенно теперь, когда мы встретились в третий раз». Она чередовала коньяк и кофе, прикладываясь к пузатой рюмке и маленькой фарфоровой чашечке и поглядывая на меня, словно пытаясь угадать, что я такое магическое придумаю. Но я ничего не придумывал и не предлагал, потому что мысли мои были о Настеньке. Нет, не покаянные мысли, которые должны были бы посетить даже отпетого негодяя, вынудившего любовницу бежать из дома, а практические соображения, ушла ли она, наконец, насовсем. Я даже, извинившись перед Ингой, ушел в фойе и позвонил домой, но никто не ответил, и это все равно не говорило с определенностью, там ли Настенька. Она из подлости могла не снимать трубку. Было около десяти вечера. В третий раз (Михалково, Патриаршие пруды, Дом литераторов) наш разговор с Ингой заходил в тупик. Да это и естественно. Нас не связывала давняя и глубокая дружба, родство (родственные отношения) или любовная история. Разве что родство в каких-то неуловимых оттенках восприятия флюктуаций свободной мысли, придавленной тоталитарной властью. Да и об этом мы почти не говорили. Мне она просто нравилась.

Мне она просто нравилась. Все прошедшие семь лет я вспоминал о ней, как об эталоне молодой красивой женщины, которую можно любить, как парную полусферу этого необъяснимого состояния: любовь. Я много раз задумывался: что мешало моей любви к Ирочке Князевой? Конечно же, необходимость делить ее с

другими. Чувство коллективной игры не по правилам, потому что все мы, окружавшие Ирочку, нарушали правила, совершали коллективный грех. И, конечно же, этот коллективный грех открывал ворота остальным грехам, разрушившим мою связь с Ирочкой и нашей компанией. Правда, может быть, ко времени моего сотрудничества с театром все давно изменилось, и я сужу по прошлому, которого нет и в помине. Да, верно, пожалуй — что именно необходимость делить Ирочку с другими, подчиняясь ее воле и ее желаниям, была главной причиной моего разрыва с нею. Ну, и конечно, история с подпольной торговлей препаратом чаги. С Настенькой было все наоборот. Она слишком привязалась ко мне. Я чересчур владел ею. Она слишком резко отошла от правил театральной среды, допуская многочисленные и неглубокие связи. Слишком быстро погрузилась в псевдосемейный быт, надеясь привязать меня к себе. Я не хотел ни делить, ни быть привязанным. Сидя в баре писательского клуба рядом с красивой, милой, умной, молодой замужней женщиной, я поймал себя на мысли, что и в Михалково, и на Патриарших прудах, и теперь, за стойкой бара, в день моего разрыва с Настенькой, я боялся, что достигну времени, когда придется делить Ингу с ее мужем — Сашей Осининым. Я не хотел ни с кем никого делить. Достаточно было того, что я делил с авторами переводимых мною стихов свое вдохновение, время творчества, свой интеллект. Я не хотел любви, построенной на лжи. Наверно, так и должно быть. Начало новой любви должно быть полным освобождением от прошлого, которое неминуемо делилось с кем-то. Надо было все до конца рассказать друг другу, чтобы начать с самого начала. То есть, зародить начало. Так, наверно, начиналась Вселенная, когда одни пространства открылись другим и поглотили друг друга, превратившись в единственную точку — начало начал вселенской любви и вселенской материи. Big Bang.

Мы просидели в баре до закрытия, и все время говорили, говорили, рассказывали все о себе, как будто повторяя первый разговор на заднем крыльце дачи в Михалково, продолженный на Патриарших прудах, и добавляя недосказанное тогда и произошедшее за последние семь с половиной лет. Инга рассказала мне о Саше, какой он хороший отец, муж и врач. Как много работает, чтобы купить машину, обменять кооператив на больший, поехать летом на Черное море, и т.д. Все для того, чтобы добиться больше-

го, получить, показать, доказать. Как будто бы его точит комплекс неполноценности цыгана, допущенного в общество европейцев, но вынужденного постоянно показывать пропуск в это общество. Это приводит к тому, что с некоторых пор Саша сторонится людей, отгораживается занятостью, предпочитает заменять общение с коллегами или друзьями чтением. Они никуда не ходят вдвоем. Ей приходится самой находить развлечения. А потом я проводил Ингу домой на Речной Вокзал.

Я ведь прикинулся, в разговоре с Баркосом, что не знаком с Ирочкой. Конечно, я все знал, живя в Ленинграде, но упорно делал вид, что метаморфоза произошла с другой, которой я не должен признаваться в своей слабости и своем восхищении. Даже переезд в Москву был фактически бегством от Ирочки Князевой, которая в своей новой ипостаси — актрисы — все-таки настигала меня. По словам Баркоса, Ирочка должна была приехать в Москву через два дня рано утром «Красной стрелой», остановиться у театрального художника Юрия Львовича Димова, а потом уже приехать в Театр на читку пьесы. «Хорошо бы кому-нибудь из нашего Театра захватить за ней на такси. Ну, хотя бы вам, Даниил?» — Баркос с вопросительной уверенностью посмотрел на меня. Так что надо было продолжать актерствовать, изображая *иду, не зная куда, встречаю того, не знаю кого*. Я согласился захватить, прикинув, что если встреча неминуема, то лучше всего это проделать без посторонних. Юрочку Димова я никак не относил к посторонним и потому терзался низкочастотными угрызениями совести по поводу того, что, переехав в Москву, ни разу не дал ему о себе знать.

«Вот и его изба», — увидел я замшелую хатку с высокой пристройкой, напоминающей голубятню. Я вышел из такси около калитки. Сколько лет прошло с тех пор, когда я по просьбе Ирочки ездил в Москву разыскивать Юрочку Димова: пять? семь? десять? Я оставил таксисту десятку и попросил подождать. Он нехотя положил денежную бумажку между рулем и лобовым стеклом и проворчал: «Ну, если недолго...» Ждать не пришлось. Хлопнула тяжелая дверь, и на крыльцо выбежала Ирочка Князева. Я так и замер перед приоткрытой калиткой, не решаясь войти, приблизиться. Она была ослепительно красивой. Или я давно не видел Ирочку, и ее красота поразила меня, как поражала алхимиков красота философского камня. Сама по себе красота и ее магическая сила. Она так радостно и откровенно рассмеялась, сбегая в высоких сапожках

с крыльца, распахивая калитку и обнимая меня своими горячими руками, целуя жаркими губами и прижимаясь легким телом, закутаным в немыслимый по красоте пылающий рыжий мех, что не надо было объяснять и невозможно было допускать, чтобы змейка сомнения снова проползла между нами. Мы забрались на заднее сидение и болтали без начала и конца, потому что нынешнее начало было в пьесе, а началом всех начал была наша любовь, которая, как оказалось, никуда не исчезла. «Да, чтобы не забыть, Юрочка приглашал тебя заглянуть. Привезешь меня из театра после читки, и мы загудим, как в былые времена». «Я все про тебя знаю и знал, Ирочка! — но сообразив, что сказал нелепость или неуклюжесть, поправил себя. — Даже тайком ходил на твои спектакли». «Я тебя видела, Даник. Ты, когда в восторгходишь, орешь, как бык во время оргазма. Ты орал: Кня-зе-ва! И букеты швырял на сцену».

Я остановил такси неподалеку от гастронома «Грузия», в двух шагах от площади Маяковского. Мы прошли боковыми ходами и оказались в царстве, простиравшемся от улицы Горького чуть ли не до Малой Бронной, где располагался Театр. В этом огромном внутреннем дворе были разбиты скверики, газоны, клумбы и песочницы, посажены цветы, построены сараи и установлены баки для хранения всякого хлама, выброшенного из магазинов, лечебниц, музеев и даже еще одного театра, но не *моего* на Малой Бронной, а другого, драматического, имени знаменитого театрального режиссера. Между клумбами, сквериками и просто отдельными деревьями, посаженными, наверняка, сразу после пожара Москвы 1812 г., прогуливались взрослые, дети и голуби. Время от времени голуби взмывали шумными тучами, подражая зрительским аплодисментам. Среди взрослых встречались пьяницы, бомжи, инвалиды, пенсионеры и грузчики из магазинов, санитарки, рабочие сцены и прочий люд, которому опасно было вылезать на просматриваемый простор официально приукрашенной улицы Горького. Наш Театр владел в этом пространстве, в этом задворном архипелаге собственным репетиционным залом, куда я и привел Ирочку. Но прежде опишу репетиционное помещение. Это было прямоугольное дощатое строение, напоминающее аэродромный ангар, только с плоской крышей. Мы открыли дверь и оказались в огромном зале, в котором доминировала сцена с распахнутым коричневым занавесом. Перед сценой на расстоянии десяти-пятнадцати метров стояло несколько рядов складных стульев, ко-

торые обычно служат публике дешевых кинотеатров и клубов. Посредине первого ряда за столиком сидел главреж Илья Захарович Баркос. Неподалеку курили актеры Михаил Михайлович Железнов и Лев Яковлевич Зверев. Железнову предполагалась роль богатого американца Фрэнсиса Макомбера. Звереву — охотника Роберта Уилсона. Около столика главрежа с текстами пьесы ждала нашего прихода Настенька. Я подвел Ирочку к Баркосу, который взметнулся и поцеловал руку приезжей гастролерши, а потом они обнялись и расцеловались в обе щеки. Так же трогательно поздоровалась Ирочка с Настенькой, Железновым и Зверевым. «Что ж, за работу! — выкрикнул Баркос, остерегаясь, как бы домогканые нежности не разрушили суровые будни репетиции. — Начинаем читку!» Настенька раздала всем присутствующим, в том числе осветителям, костюмерам, завлиту театра и даже бригадиру рабочих сцены текст моей пьесы, на титульной странице которого было напечатано:

Эрнест Хемингуэй
«Короткое счастье Фрэнсиса Макомбера».
Пьеса в двух действиях.
Инсценировка
Даниила Новосельцевского.

Четвертая картина реконструирована автором инсценировки
на основе оригинального текста рассказа.

Я ждал какой-нибудь экстравагантной выходки. Больше всего боялся, чтобы Ирочка как-то нарочно или ненароком задела Настеньку. Я до сих пор чувствовал себя виноватым перед этой миловидной, ласковой и сговорчивой неудачницей. Хотя, как сказать! Она быстро утешилась после того, как съехала от меня, и даже по слухам (мне об этом проболталась завлитша), нашла новое убежище и нового покровителя. На этот раз маститого прозаика, только что развязавшегося с очередной пьяницей-женой. Нет, Ирочка и не помышляла задевать Настеньку, а напротив, проявляла к ней чуть ли не сестринские чувства. Предполагалось, что будет прочитана по ролям ночная сцена из пьесы, реконструированная мной на основе рассказа американского классика. Текст моей инсценировки был стилистически близок к тексту Хемингуэя. Другое дело четвертая картина, которая в оригинале отсутствовала. Я написал

этот текст заново, с нуля. Для этого я привязал к *ночной сцене* все ниточки сюжета, настроения, биографий героев, протянутые мне щедрым Хемингуэем из каждой строчки рассказа. Я нарочно даю читателю возможность соединить в своем воображении рассказ и мою инсценировку, то есть, рассказ, в котором отсутствует ночная сцена, с той частью инсценировки (ночная сцена), текст которой был роздан Настенькой всем, кто присутствовал в репетиционном зале. Сказать откровенно, еще за неделю до первой читки я начал убеждать Баркоса начать с *ночной сцены*. И убедил! И не ошибся. Текст Макомбера практически отсутствовал в этой сцене, а диалог происходил между Маргарет (Ирочкой) с охотником Уилсоном (Зверев). Это не помешало знаменитому Железнову (Макомберу) по окончании сцены поздравить исполнителей с первым, но несомненным успехом. Удостоился похвалы и я: «Отлично написанная сцена, Даниил Петрович!» — похвалил Железнов и направился к Баркосу поздравлять с чутьем на инсценировщика, как он не без ядовитой иронии озаглавил меня.

Картина четвертая. Ночь. Палатка Уилсона. На походной койке охотника лежит Маргарет. Рядом с ней Уилсон, курит трубку.

МАРГАРЕТ. (Умироутворенно). Я и не думала, что вы *настолько* милый, мистер Роберт Уилсон. Вы мне по-настоящему нравитесь.

УИЛСОН. Эффект темноты. А вообще-то я краснорожий наемный охотник, которому наперед за все уплачено.

МАРГАРЕТ. Поэтому вы и возите с собой такую широченную койку?

УИЛСОН. Вы кормите и поите меня, и ваши желания для меня закон, мемсаиб.

МАРГАРЕТ. Марго. Хотя бы теперь.

УИЛСОН. Пожалуй, вы правы, Марго. Так лучше.

МАРГАРЕТ. О чем вы думаете, Роберт?

УИЛСОН. О завтрашних буйволах. О запахе вербены. Об утреннем запахе росы, смешанном с запахом раздавленных папоротников. Об Англии.

МАРГАРЕТ. Об Англии в постели с американкой? Вы патриот, Роберт.

УИЛСОН. Когда вы стояли сегодня под большим деревом в розовато-коричневом полотняном костюме, а темные волосы были зачесаны со лба и собраны узлом на затылке, ваше лицо было таким свежим, точно мы встречаем рассвет в Англии.

МАРГАРЕТ. Вдвоем. И нет ни Макомбера, ни льва, от которого он сбежал.

УИЛСОН. Как бы Макомбер не сбежал от вас после теперешнего.

МАРГАРЕТ. Перебьется! Ему не впервой.

УИЛСОН. Бедняга. А вы, Марго, жестоки.

МАРГАРЕТ. Американки рано выходят замуж. За одиннадцать лет жизни с Фрэнсисом я была понимающей, сочувствующей, преданной и такой, как сейчас. Но главное — научилась жестокости.

УИЛСОН. Не рассердитесь на откровенность, Марго?

МАРГАРЕТ. Буду благодарна.

УИЛСОН. Когда я впервые увидел безукоризненный овал вашего лица, я заподозрил вас в глупости.

МАРГАРЕТ. Теперь я кажусь вам менее безукоризненной или более глупой?

УИЛСОН. Ни то, ни другое. Вы обольстительны.

МАРГАРЕТ. Благодарю.

УИЛСОН. Обольстительны и жестоки. Такие, как вы — самые черствые на свете, самые жестокие, самые хищные и самые желанные. Мне даже немного жаль Макомбера.

МАРГАРЕТ. Бедняга привык переносить такие вещи. А как, по-вашему, должна поступить женщина, обнаружившая, что ее муж — последний трус?

УИЛСОН. Наверно, вы поступили правильно. Ваши мужчины — мужья обольстительных красавиц, закованных в свою американскую жестокость, должны быть слишком мягкими от рождения. Или они становятся неврастениками после женитьбы?

МАРГАРЕТ. Мы нарочно выходим замуж за таких мужчин, с которыми легко поладить.

УИЛСОН. Это и есть жестокость.

МАРГАРЕТ. Жестока ли я? Не знаю. Когда властвуешь, приходится иногда становиться жестокой. К тому же Фрэнсис был всегда очень терпим (Целует Уилсона). Прекрасный краснолицый мистер Роберт Уилсон.

МАКОМБЕР (Слышен его голос). Марго! Маргарет! Где ты?

Я расцеловал Ирочку, поблагодарив за превосходную передачу моего текста. Я вправе мог называть его *моим*, поясняя, если кому-то угодно узнать, что этот текст *ночной сцены* был написан по мотивам рассказа Хемингуэя. Конечно же, я подошел к Звереву и Железнову, которые были в отличном настроении и даже не обменивались колючими шутками, как обычно на репетициях. Баркос снова потащил Ирочку к завлитше, на этот раз для того, чтобы подготовить текст договора об участии «актрисы Ирины Федоровны Князевой в репетициях и представлениях спектакля такого-то по рассказу такого-то в инсценировке такого-то». Перед тем, как уйти с завлитшей в главное здание Театра, где и находились все необходимые для официального действия (заключения договора) инструменты (пишущая машинка) и кабинет Баркоса, где предполагалось подписать и скрепить печатью возникновение официальных отношений между актрисой Князевой и Театром, Ирочка шепнула мне: «Приезжай часов в десять к Юрочке и захвати Настеньку, я с ней договорилась». Конечно, мне дьявольски не хотелось снова вовлекаться во что бы то ни было, связанное с Настенькой. Повторяю, она была хорошая и покладистая девушка. Но с ней было все кончено, и вот — снова! Ну, скажем, не для меня. И все же — при моем участии. И еще. Хотя я так и не позвонил Инге, но между нею и мной существовал негласный уговор чести, пришедшийся как раз на время моего разрыва с Настенькой. Выглядит все это смешно, псевдоромантически, но мой разрыв с Настенькой наложился на третью, и как мне тогда казалось, самую важную встречу с Ингой в баре Дома литераторов.

Репетиции шли полным ходом. Премьера пьесы «Короткое счастье Фрэнсиса Макомбера» была объявлена в афишах. Билеты продавались во всех театральных кассах. По всей Москве не только с теремов-стекляшек театральных касс, театральных тумб и плакатных боковин трамваев, автобусов и троллейбусов — повсюду из-под широкополой шляпы улыбалось лицо Маргарет Макомбер — Ирочки Князевой.

Театральные дни Ирочки Князевой вернулись к порядку, заведенному десяток лет назад еще во времена лаборатории чаги. Правда, с некоторыми различиями. Во-первых, дело происходило в Москве, где не только географический, но и социальный климат иной, чем в Ленинграде, а во-вторых, к нам присоединилась На-

стенка. Отделилась от компании Риммочка Рубинштейн, которая когда-то была ближайшей сотрудницей Ирочки. К тому же, дочка Риммочки выросла, окончила школу, и надо было ее *не упустить*, а провести через институт. Мать Риммочки к этому времени все-таки умерла, хотя какое-то время дотягивала на препарате чаги. Васенька, который давно вернулся к семье, не преодолел фантазий молодых лет и начал появляться на сборищах Ирочкиной компании, приезжая в Москву по два-три раза в месяц «Красной стрелой». То есть, реставрированная семейная жизнь Рубинштейнов не противоречила экономическим построениям Васеньки. В этом смысле он находил поддержку Вадима Алексеевича Рогова, который, оставаясь профессором московского университета, внедрил в учебную программу совершенно новый теоретический курс «Социалистическая кооперация как форма саморегулирующейся экономической демократии». По ниточкам, по крохам он собрал вокруг себя огромную армию кооператоров, которые только и ждали своего вождя, который найдет форму для легализации частной инициативы внутри машины государственного социализма. Не могу сказать точно, в каких отношениях продолжала находиться Ирочка с Вадимом Роговым и другими зачинателями нашего общества, в том числе, с капитаном Лебедевым, который носил военный мундир с погонами полковника, еще наезжая из Москвы в Ленинград, и (опять же по свидетельству Риммочки Рубинштейн), оказал Ирочке неоценимую услугу, прекратив следствие. Теперь же, появляясь иногда на вечеринках нашей компании в избе художника Юрочки Димова, капитан Лебедев выступал в отлично сшитом светло-сером костюме с маленьким флажком из алой эмали в петличке пиджака, значком депутата Верховного Совета. Именно капитан Лебедев обронил как-то за рюмкой шартреза, что в верхах время от времени вспыхивают дискуссии о возможности разрешения кооперативных издательств, вроде писательских товариществ времен Есенина — Маяковского: футуристов, имажинистов и — наконец-то — нэповской свободы самовыражения. «А это разве не есть социализм?» При этом, в заключение подобного сеанса ясновидения, капитан Лебедев торжествующе посматривал на Вадима Рогова, и оба — на Ирочку, которая восклицала: «Умницы! Надежда России!» — и чмокала каждого в обе щеки. Однажды Ирочка спросила полузагадочно: «А что, если организовать кооперативный театр?»

Собственно, первые шаги были сделаны совершенно случайно. Дело в том, что успех спектакля по Хемингуэю оказался далеко не безразличен примадонне Раисе Павловне Селезневой. Это была высокопрофессиональная актриса, игравшая заглавные роли в большинстве спектаклей Театра. Связываться с ней опасались, остерегаясь вызвать гнев ее высокого покровителя — первого заместителя министра культуры. По какому-то чудесному стечению обстоятельств Селезнева сама отказалась играть в спектакле по Хемингуэю: «Терпеть не могу этого пьяницу, у которого на уме охота на слонов, ловля акул или убийство истекающих кровью быков!» Главреж Баркос, с долготерпением мученика выносивший тиранию этой вздорной примадонны, пригласил на роль Маргарет Макомбер Ирочку Князеву. Теперь наступило время расплаты за вольность. Но за что же было расплачиваться? «Короткое счастье» шло с огромным успехом. Вся Москва ломилась на спектакль. Билеты были распроданы на несколько месяцев вперед. В «Вечерке» либеральный критик Казимир Милянский открытым текстом написал, что «по степени таланта актриса Ирина Князева стоит в одном ряду с Татьяной Дорониной, Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Людмилой Гурченко. В особенности ее манера исполнения близка игре Татьяны Васильевой». А сотрудница отдела критики «Театральных новостей» Марта Новожилова разгадала в ударной сцене пьесы, когда Маргарет убивает своего мужа Фрэнсиса Макомбера, протест женщины против мужской тирании в разложившемся американском обществе. Хотя дело происходило в Африке, а на самой Маргарет Макомбер *пробы негде было ставить*. На этом самом месте примадонна Селезнева не выдержала и пустила в ход свои высокие связи в Министерстве культуры.

Однажды Ирочка спросила полузагадочно: «А что, если организовать кооперативный театр?» Мы сидели у Юрочки Димова, где временно поселилась Ирочка. Ее гастролы в Театре, расположенном на углу Малой Бронной улицы и Цветного бульвара, *славно закончились*. Вокруг ее имени создалась не только аура восхищения, но и *антиаура* сплетен, которые придерживали главрежей больших и малых московских театров от того, чтобы последовать примеру Баркоса. Кстати, он искренне жалел, что спектакли «Короткого счастья Фрэнсиса Макомбера» пришли к концу, а нового договора с Ирочкой заключить не удавалось. Перемена курса сказалась тотчас на мне. Как мне дала понять завлитша Театра, мои

услуги пока что были не нужны. Я вернулся к своим стихам и переводам. Что было делать Ирочке? Были предложения на постановку «Короткого счастья...» в нескольких провинциальных театрах (Ярославль, Саратов, Воронеж и др.), но Ирочка вкусила столичной славы и не хотела от нее отказываться.

Помню решительный разговор в Юрочкиной избе. Кажется, присутствовали все наши компанейцы, которых нарочито или нечаянно Вадим Рогов назвал *пайщиками*. Включая даже Глебушку Карелина, приехавшего (или вызванного?) из Ленинграда. Нет, ошибаюсь. Он к тому времени переселился в Москву, получив ставку солиста Московской филармонии. Думаю, что и разговор о кооперативном театре был подготовлен Ирочкой вместе с Вадимом, наверняка, неслучайно. Отсутствовал в этот день, кажется, только капитан Лебедев. Был вечер. Пили чай с бутербродами. Никаких вин на столе не было. Сидели за массивным дубовым столом в мастерской Юры Димова. Стол был уникальный: длинный и широкий. На нем было удобно раскладывать полотна ватмана для акварельных эскизов к театральным декорациям. На этот раз на столе стоял электрический медный самовар, на макушке которого громоздился фарфоровый китайский пузан — заварной чайник. А на блюдах разложены ломти колбас (докторская, салями, любительская) и пластины сыров (швейцарский, российский, еще какой-то, не помню). На деревянной доске лежала буханка черного хлеба, батон и массивный кухонный нож. Из сладостей было только печенье «8-е марта» в квадратных красных пачечках. Чай пили из вместительных фаянсовых кружек, привезенных хозяину в подарок из Прибалтики. Да, чаепитие в поселке Левитана, или для краткости: «Чаепитие у Левитана» — в память о Кутузовском «Чаепитии в Мытищах» — было начато Вадимом с экскурсии в историю. Ученый — всегда ученый. Словом, мы прослушали настоящий доклад на тему кооперативного движения в России, у истоков которого, как оказалось, стояли декабристы. Именно они — декабристы, сосланные на каторгу в Сибирь, в Забайкалье и на Петровский завод, создали в 1831 году потребительское кооперативное общество «Большая артель». Устав «Большой артели» содержал важнейшие кооперативные принципы: добровольное вступление и выход из кооператива, равноправное управление и контроль, и другие правила, существующие и поныне. «Наша компания во многом следует принципам кооперации», — вставила слово

Ирочка. «Но не колхоза же!» — съязвил Юрочка. Кто-то добавил: «Колхоз — *Артель напрасный труд!*» Рогов парировал: «Зависит от колхозников!» «Да их обдирают, как липку!» — не выдержал я. «Мы не дадим себя обдирать! — сказала Ирочка. — Вадим, продолжай, пожалуйста! Прения после доклада!» Словом, от Вадима Рогова мы узнали о кооперации много полезного. Прежде всего, это был вполне *легальный* третий сектор экономики, который существовал наряду с частным (индивидуальным) и государственным (централизованным) секторами. Как оказалось, в рыночной экономике кооперация выступает в качестве «третьей альтернативы» частному и государственному производству. Все эти хрестоматийные сведения, почерпнутые мной, да и наверняка всей нашей тогдашней компанией, я подтвердил, пользуясь русским Гуглом через полсотни лет после тогдашних изобретений нашей компании, карабкавшейся вслед за Ирочкой по винтовой лестнице познания, уходящей в бесконечность. Как уходит в бесконечность лестница библейского Иакова.

Мы все были позитивно возбуждены. Задавали Вадиму множество вопросов. Прежде всего: где будет располагаться наш театр, которому немедленно было придумано название: «Московский Кооперативный Театр». Кто-то предложил добавить: под художественным руководством Ирины Князевой. Но предложившего не поддержали: «Зачем дразнить гусей?!» Предполагалось выбирать пьесы под главную исполнительницу — Ирочку Князеву. На роль постановщиков решено было приглашать лучших режиссеров: Волчек, Товстоногова, Ефремова, ну, и конечно — Баркоса, который так успешно поставил пьесу по Хемингуэю. Обязанности в будущем театре распределялись вполне естественно: Даниил Новосельцевский — завлит, Глеб Карелин — музыкальная часть, Юрий Димов — художник театра. Предполагалось, что Вадим Рогов будет курировать финансовую часть, а Василий Рубинштейн — инженерно-сценические работы.

Как и во всяком предприятии, основание кооперативного театра упиралось в деньги, приток и отток которых контролировался государством. Для того чтобы зарегистрировать будущий театр в Центросоюзе (главный орган российской кооперации, размещавшийся на Мясницкой улице в роскошном здании, построенном Ле Корбюзье), нужно было держать на счету около сотни тысяч рублей. Ловчил ли Вадим Рогов или не хотел отказываться от своей

идеи кооперативного театра, которая так увлекла Ирочку, мне было трудно судить тогда, в ту памятную зиму конца семидесятых, когда мы собрались у меня в комнатухе на Патриарших прудах, чтобы окончательно решить, что же будет с нашей прекрасной мечтой. Из окна виден был заснеженный пруд и одинокие пенсионеры, истоиво глотающие свою лечебную дозу кислорода. С театром многое, конечно, упиралось в деньги. Да и не только в деньги, но, как нам казалось, и в невозможность существования в двух измерениях. На самом деле, оказалось, что можно одновременно быть пайщиком кооператива и работать где-то. Рогов привел простой пример: он служил в Московском университете на кафедре экономики и входил в жилищный кооператив на Ленинских горах. Или Ирочка Князева вступила в строящийся кооператив сотрудников Института имени Курчатова (по связям капитана Лебедева, который по роду службы не мог вступать в театральный кооператив, но, как всегда, помогал всячески) и, одновременно, собиралась стать пайщицей кооперативного театра. Надо сказать, что для Ирочки это было настоящее «испытание на разрыв». Оказалось, что без московской прописки никто не может вступать в жилищные кооперативы, находящиеся на территории Москвы. Ирочка была прописана в Ленинграде на Кировском проспекте. В то же время, очевидно было, что каждый из нас был готов пойти на любое нарушение законности, лишь бы выполнить желание и волю нашей королевы. Выбор пал на меня и Юрочку Димова. Ирочка должна была вступить в фиктивный брак с одним из нас, прописаться в Юрочкиной избе, которую он купил к тому времени, или в моей коммунальной комнатухе, развестись и получить право вступать в кооператив в связи с моральной невозможностью жить вместе с *ненавистным мужем*. В конце концов, решили, что Ирочка выйдет замуж за Юрочку. Тем более что в поселке Левитана привыкли к тому, что в избе у театрального художника Димова давно поселилась красавица-натурщица. Брак зарегистрировали в ЗАГСе Ворошиловского района г. Москвы, а через три месяца расторгли, высвободив для Ирочки право получить двухкомнатную квартиру в кооперативе Института им. Курчатова в обмен на ее ленинградскую квартиру. Думаю, что не без поддержки мощной руки капитана Лебедева. Как в балете, где поддержка танцора жизненно необходима для успеха балерины. Словом, мы пили чай и прикидывали, какие деньги и откуда сможем собрать, чтобы положить в сберкассе на счет будущего театрального кооператива.

Я внес 700 рублей, которые только что получил в аванс за наконец-то принятую в издательстве «Молодая гвардия» книжечку стихов под названием «Наброски». Редактором у меня был деревенский увалень Миша Быков, внезапно прославившийся книгой «Пчела», вышедшей в Курском областном издательстве. Книжку «Пчела» с простыми незамысловатыми стихами, из которых один начинался со слов: «Лети над колхозным садом /Трудяга простая, пчела./ Мне большего счастья не надо:/ Родная б деревня цвела!» — показали тогдашнему советскому вождю-стагнатору, путешествовавшему со своей партийной свитой по областям южной России и Украины. «Пчелу» выдвинули на государственную премию, которую потом и присвоили. Мишу Быкова пригласили на должность редактора отдела поэзии в издательстве «Молодая гвардия», приняли в Союз Писателей и дали квартиру в районе крупноблочных новостроек. Миша был квадратный богатырь с раздутыми щеками, кудрявой цыганской шевелюрой, могучей грудью, готовой поднимать немыслимые тяжести, в том числе тонны рукописей, которые не смогли одолеть его предшественники. Миша обладал очень нежной душой. Помню, как навертывались слезы на его глаза, когда он читал вслух стихи о безответной любви лирического героя моей книжки. Мы долго не могли выбрать название. Первоначальная рукопись, относившаяся еще к временам до Виссариона, называлась «Холсты». Миша хотел иного названия, менее устоявшегося, по его словам, более молодежного, обещающего литературное возмужание. Мы перебрали с ним около десятка предполагаемых, отталкиваясь от «Холстов»: «Натюрморты», «Зарисовки», «Этюды», «Модели», «Впечатления»... пока не остановились на подошедшем нам обоим — «Наброски». Так что, полученный аванс был очень кстати, и я отдал его в общую казну нашей кооперации.

Юрочка Димов внес 500, остальные (Ирочка, Глебушка, Вадим Рогов) — от 500 до 1000 рублей. Васенька Рубинштейн перевел по почте на кооперативный счет 400 рублей. Собранных денег едва хватило бы на первую постановку, и совершенно исключало даже надежду на строительство нашего собственного кооперативного театра, хотя бумага об утверждении нашей кооперации пришла из Центросоюза. Как-то само собой получилось, что вся документация, включая денежные дела, сосредоточилась в Ирочкиных руках. Еще бы! Она оставалась нашей королевой. Все как бы полузамерло. Словом, о строительстве собственного здания

Московского Кооперативного Театра не приходилось и мечтать. Кто-то из нас, кажется, Юрочка Димов, вспомнил об истории МХАТа, организованного как кооператив: «Во-первых, Станиславский и Немирович-Данченко привлекали богатых пайщиков. А нам где их взять? У потенциальных пайщиков денег на руках — мешки, да каждый боится себя обнаружить! А во-вторых, вовсе не обязательно строить самим здание будущего театра. Даже здание МХАТа вначале снимали у владельца — Саввы Морозова. Правда, он был не чета советским миллионерам (увы, подпольным!), истинным хозяевам теневого бизнеса. У них на самом деле половина Москвы заранее скуплена, а поворошишь — дачка жалкая около болотца и — с концами!»

«Будем арендовать подходящее здание с залом для публики и репетиций!» — предложила Ирочка. Все мы ее поддержали. Начались поиски. Ирочкина квартира превратилась в оперативный штаб нашей маленькой театральной кооперации. Дом, в котором поселилась Ирочка Князева, был построен для сотрудников Института атомной энергии имени Курчатова и располагался поблизости от Покровско-Стрешневского парка. Ирочкина квартира была на седьмом этаже огромного здания, фасад которого выходил на улицу Маршала Бирюзова и 52-ю больницу, а тыл — на сосновый лесок, упиравшийся в забор атомного института. Мы созвонились с директором институтского Дома культуры и отправились на переговоры. В течение первых десяти минут директор осознал полную неприемлемость нашего предложения. «О, что вы! У нас есть своя театральная студия, и ни в каких кооперативных театрах мы не нуждаемся!» Было еще несколько поездок в школы, техникумы, институты и даже кинотеатры. Никто не хотел сдавать нам зрительный зал ни для репетиций, ни для спектаклей, хотя пустующие помещения простаивали годами и десятилетиями. Повторялась та же ситуация, что была у Саши Осинина, когда он предлагал использовать пустующие кабинеты поликлиник для платных вечерних приемов. Целыми днями я названивал по предполагаемым местам, где наконец-то мы могли бы начать работу над первым спектаклем. Для удобства я практически переселился в Ирочкину квартиру, часто оставаясь на ночь. Ирочка отдала мне диван в гостиной. Туда же я привез с Патриарших прудов мою русскоязычную «Олимпию», пачки машинописной бумаги и копирок, литовско-русский словарь и еще какие-то мелочи, необхо-

димые для работы над переводами стихов. Я получил заказ от вильнюсского издательства «Вага» на перевод стихов для «Антологии литовской поэзии».

Я вспоминаю об этом времени с ощущением придуманного счастья. Как будто бы все это происходило и даже оставило вещественные следы: копии писем в разные организации и учреждения о готовности нашего кооперативного театра снять помещение и платить за год вперед; телефоны и адреса, записанные в специальную продолговатую кожаную книгу с язычками для алфавита; календарь с расписанием предстоящих встреч и (уву!) бессмысленных переговоров. Все это так, но неужели мы жили с Ирочкой под одной крышей несколько месяцев, как бывало два-три раза в невероятном прошлом? Или в прошлом никогда ничего не было, кроме моего раздраженного воображения? Мы просто перетаскиваем все, что было, из прошлого в настоящее, а чего не было или что мы хотим, чтобы не было, забываем, как старого Фирса из «Вишневого сада», и ненужное прошлое перестает существовать.

Ирочка была жаворонком. Она вставала около шести утра, занималась гимнастикой, полчаса крутила педали тренажера — велосипеда, вмонтированного в пол около одной из стен спальни, принимала душ, пила кофе и начинала репетировать. Мы решили, что следующим спектаклем будет инсценировка чеховского рассказа «Попрыгунья». Должен сказать, что по единогласному решению пайщиков нашей «артели» Ирочка и я получали зарплату, то есть наши с Ирочкой поиски помещения для театра и моя работа над инсценировкой «Попрыгуньи» оплачивались за счет собранных пайщиками денег. С самого начала было решено, что мы откроем театр Хемингуэевским «Коротким счастьем Фрэнсиса Макomberа», а тем временем будем готовить «Попрыгунью». Пока что в театре была только актриса (Ирочка Князева) на роли главной героини. Мы не сомневались, что остальных актеров найдем, как только будет снято помещение театра.

Каждое утро Ирочка заглядывала ко мне и будила.

Потом мы завтракали.

Время от времени Ирочку приглашали на съемки, и она пропадала целыми днями на «Мосфильме» или уезжала сниматься в Ленинград, Одессу, Ялту — словом, на те киностудии, где ей давали эпизодические роли. Это неопределенное положение начинало бесить нашу королеву. Ей хотелось играть главные роли в своем театре.

Однажды, в московском издательстве «Советский писатель», выходя из редакторской комнаты в коридор, я столкнулся с Геней Роммом, моим литературным приятелем с незапамятных ленинградских времен, которые я делю на периоды *до знакомства и после знакомства* с Виссарионом. Наше приятельство с Геней восходило к до-Виссарионовскому периоду, когда нам было по 18 лет, и мы сходились читать друг другу стихи, отмеривая написанное за неделю-две длиной пеших переходов от Дома Книги до Адмиралтейства, от Адмиралтейства до Стрелки с Ростральными колоннами, от Стрелки до Сфинксов напротив Академии Художеств, а потом по другим мостам к другим набережным Невы, Невки и бесчисленных рек, речек, речушек, каналов и канавок. К тому дню, когда я встретился с Геней Роммом в коридоре московского издательства «Советский писатель», мы оба переехали в Москву. Я ночевал на Патриарших прудах, а чаще в квартире Ирочки Князевой поблизости от площади Курчатова. Геня Ромм — в двух шагах от станции метро «Полежаевская». Нам обоим полагался какой-то гонорар за переводы. Погода была весенне-омерзительная, какая бывает только в Москве, Ленинграде, Лондоне, Бостоне и Сياتле: снег с дождем, мокрый ветер, вязкое ледяное месиво, которым окутываются ботинки, как холодным гипсом. Пальто пропитывается таким леденящим дождем, что тело становится частью остывающих городских камней. Все порождает желание нырнуть в ближайший магазин, купить водки, колбасы, хлеба и упрятаться в убежище со стенами, крышей и отопительными батареями. Так мы и сделали. Дошлепали до Калининского проспекта, купили бутылку «Столичной водки», колбасы, хлеба, анчоусов, схватили такси и помчались к Гене Ромму — на станцию метро «Полежаевская».

Промокшие куртки, размякшие кепки и хлюпающие ботинки сушились на батареях обеих комнат и кухни. За окном хлестал ледяной дождь, а я рассказывал Гене о нашей компании (театральном кооперативе), ни на что не надеясь, но зная, что после полной откровенности тяжесть с души спадет. Вот уже несколько месяцев мы безрезультатно искали помещение для театра. Было из-за чего огорчаться! Мы сидели с Геней за круглым кухонным столиком и вязали типичный русский разговор под *водочку и селедочку* (анчоусы), который возможен только в наших суровых широтах и только с тем, кому доверяешь и к кому относишься по-доброму. Водка открывает поры души, и это лучше всякой исповеди. «По-

нимаешь, старик, — говорил Геня, проглатывая водку и забрасывая в свою пасть кружок колбасы, — понимаешь, моя жизнь не сложилась так, как хотелось вначале, когда я перенес на чистый лист бумаги свои первые стихотворные строки. Не об этом я мечтал, старик». «О чем же, Геня?» «О чем?» — повторил мой вопрос Геня Ромм, словно примериваясь к ответу, который вдруг станет ключом и отворит дверь в его сокровенную мечту. «Да, о чем ты мечтал, Геня, когда сочинил и записал на бумагу свои первые стихи? Я помню, это была поэма о ленинградских мостах?» «Старик, ты хочешь знать всю правду?» «А иначе, зачем мы пьем водку и разговариваем вдвоем, как не общались лет пять-шесть, наверняка? Зачем, если не в надежде докопаться до истины?» «Ты прав, старик. В последний раз мы толковали в Ленинграде, у меня на Рубинштейна. Ты, кажется, потерял работу в школе и перешел в какую-то загадочную лабораторию, где получали магическое средство от самых страшных болезней. Кажется так, старик?» «Примерно». «Да-да! Вспоминаю. И руководила этой загадочной лабораторией красавица, которую ты называл королевой. Я не ошибаюсь, старик?» «Все правильно, Геня! Правда, лаборатория давно закрылась, а королева стала гастролирующей актрисой, которая решила основать свой собственный кооперативный театр». «Я никогда не слышал о кооперативном театре. Где он находится? В Москве? В Ленинграде? На Магадане?»

От неожиданного скачка Гениного воображения на Магадан мне стало весело до отчаяния. И вправду, неплохо звучит: *Магаданский кооперативный театр*. Я расхохотался: «Магаданский кооперативный театр! Неплохая мысль. Но вначале мы попытаемся найти что-нибудь в Москве». «Подожди, подожди, старик. Объясни мне по порядку. Что это за кооперативный театр?» Я рассказал Гене о нашей кооперации, о пайщиках, о том, что мы вначале хотели построить здание кооперативного театра, но отказались от этой мечты, потому что всего нашего капитала не хватит даже на закладку фундамента. Словом, всю короткую историю, начиная с Ирочкиного участия в спектакле по Хемингуэю и ее желания основать свой собственный театр. «Теперь мы пытаемся хотя бы снять где-нибудь помещение для театра, но ничего не получается. Может быть, у тебя есть на уме что-нибудь подходящее?» «Старик, ты гигант! Какая роскошная идея: кооперативный театр! А вслед за театром — кооперативное издательство! Кооперативный телецентр!

И как вершина мечты — кооперативный исправительно-трудовой лагерь для работников литературы и искусства». «Наверняка все так и кончится», — сказал я, невесело улыбаясь. «Подожди, подожди! Не падай духом, старик! Давай сначала выпьем еще по одной рюмочке, а потом... Мне, кажется, пришла в голову гениальная мысль!» Мы выпили. Геня, дожевывая ломоть хлеба с колбасой и сыром, сказал: «Дела мои, кажется, сдвинулись с мертвой точки. Обещают издать первую книгу. Первую, старик, в возрасте, когда Пушкин и Байрон, Блок и Есенин давно почили в бозе, а попросту говоря, перешли из земной жизни в пространство заоблачной славы и покоя. Но я счастлив, что наконец-то обещают». «Поздравляю, старик!» — потянулся я к его рюмке своей. Он кивнул и продолжил: «На этой положительной волне, старик, я отправился с гениальным предложением в только что открывшийся поблизости Дом культуры общества слепых». «В каком качестве, старик: как побочный сын Паниковского?» «В качестве потенциального руководителя литературного кружка!» — отпарировал Геня Ромм, забросив очередную порцию закуски в свою хохочущую пасть. «И тебя приняли?» «С готовностью! Правда, попросили принести справку из издательства, где было написано, что моя книга «Мосты» находится в плане выпуска следующего года». «Колоссальные новости, старик! — полез я с дружескими похлопываниями по плечу и наливаниями-чоканьями-запрокидываниями рюмки и проглатыванием водки». «Да, ободряющие новости. Но дело не в этом, а в том, что тебе надо поговорить с директором этого Дома культуры общества слепых. «Об открытии театрального кружка?» «Да, именно об открытии. Именно театрального!» «Ничего не понимаю, старик. Объясни по буквам!» «Твоя королева, а именно популярная артистка кино и театра Ирина Князева предлагает в виде шефской помощи организовать театральную студию при «Доме культуры общества слепых». А в ответ на этот благородный поступок директор Дома культуры сдает вашему театральному кооперативу зрительный зал и прилегающие помещения, где будут гримироваться и переодеваться актеры».

На следующий день Геня, Ирочка и я отправились в Дом культуры общества слепых. Директор, отставной полковник, ждал нас в своем кабинете. Журнальный столик был накрыт к чаю: чашки, заварной чайник, сдобные булочки. Геня по телефону так расхвалил актерские и режиссерские способности Ирочки Князевой, что

отказать во встрече было невозможно. Директор и не собирался отказывать. Такая знаменитость будет в числе педагогов Дома культуры! Попили чаю. Поговорили на общие темы. Оказалось, что в танковом полку, которым командовал директор до отставки, был театральный кружок, разыгрывавший короткие пьесы. Чаще всего это были инсценировки военных рассказов. Решили, что Ирочка будет заниматься с кружковцами два раза в месяц. В конце сезона они примут участие в массовках тех пьес, которые пойдут в Кооперативном театре. В помощь Ирочке дадут педагога из Дома культуры. «Я уверена, что это будет первый опыт во всей стране! — воскликнула Ирочка и добавила. — А, может быть, и во всем мире?!» «Вы так думаете?» — переспросил директор. «Никаких сомнений! Грандиозная идея!» — пробасил Геня Ромм. Директор вызвал секретаршу и продиктовал проект соглашения между Домом культуры общества слепых и Московским кооперативным театром. Плата за аренду помещения была смехотворно малой и, в основном, должна была покрывать расходы за уборку помещения и гардероб. Да, кроме того, Ирочка предложила нововведение: в гардеробе предполагалось развесить таблички: в зрительном зале разрешается сидеть в пальто и галошах!

Ирочка начала репетиции «Короткого счастья Фрэнсиса Макомбера». Решили начать с этого спектакля, который шел с успехом в Театре на Малой Бронной. Тем более что режиссер Баркос перенес на сцену Кооперативного театра свою постановку этого спектакля на Малой Бронной. Актеры Михаил Михайлович Железнов и Лев Яковлевич Зверев согласились играть Макомбера и Уилсона. Друзья живописцы из мастерской Художественного фонда по рекомендации Юрочки Димова сделали огромный рекламный плакат, который был водружен на фасаде Дома культуры общества слепых. Все шло как дружеские услуги и не стоило больших денег, так же, как и рекламные афиши, отпечатанные в типографии Университета при содействии Вадима Рогова и развешенные в салонах трамваев, троллейбусов, автобусов и метро. Несмотря на все это деньги кооперативной кассы таяли на глазах. Однако Ирочка не сомневалась в успехе. Я верил в Ирочкину счастливую звезду.

Да, было еще одно нововведение, которое усилило позицию нашего Кооперативного театра. Ирочка предложила мне в дополнение к тексту пьесы добавить для слепых зрителей комментарии

того, что происходит на сцене. Мне же и предстояло транслировать эти комментарии по микрофону. Места в зрительном зале были оборудованы наушниками. Еще до первого представления спектакля в газетах «Вечерняя столица» и «Социалистическая культура» появились статьи под названиями: «Гуманный театр» и «Слепые зрители увидят пьесу Хемингуэя». Да, у Ирочки был особый талант: видеть в обычном — чудесное. Идею с наушниками подал наш музыкальный руководитель Глебушка Карелин. А Ирочка мгновенно его поддержала. В оркестровую яму решено было посадить несколько слепых музыкантов из местного самодеятельного оркестра. Они с энтузиазмом играли куски бравурной музыки (скажем, марш из оперы «Аида»), соответствующие драматизму охоты на антилоп или львов.

Директор боготворил Ирочку, повторяя многократно, что появление нашего Кооперативного театра поднимает авторитет Дома культуры общества слепых *на небывалую высоту*. Надо сказать, что мы (Глебушка, Димочка и ваш покорный слуга) посмеивались, услышав подобные сентенции директора, но Ирочка была настроена весьма позитивно и всячески убеждала нас ценить свалившееся счастье. Для справедливости следует заметить, что Ирочка по своей натуре была ценителем добра. Поэтому (несмотря на первоначальное наше недоумение) продолжала дружить с капитаном Лебедевым и одаривать всех нас, начиная с меня, Глебушку, Юрочку, Васеньку («тоскующего ангела») и Вадима Рогова знаками своего любовного внимания. Она была гораздо прозорливее, чем каждый из нас, и гораздо демократичнее, то есть, не считала зазорным общаться с людьми из самых разных социальных кругов, если только кто-то из них, этих людей, пришедших из толпы, чем-то интересен Ирочке. Умом, красотой и талантом Ирочка была прирожденным лидером. Такие, как она, притягивают к себе, протягивая руки другим. Они идут по дороге жизни и не брезгают наклоняться и поднимать с земли или асфальта блестящий предмет. Наклоняться, поднимать и класть в заплечный мешок. Глядишь, окажется золотом!

За хлопотами пролетело лето. Первое представление «Короткого счастья» назначили на второе октября. Для слепых зрителей я подготовил текст-комментарий (какие на сцене выставлены декорации, после каких реплик и куда передвигаются актеры). Глебушка отрепетировал музыкальные вставки. Слепые актеры-статисты

из театрального кружка, играющие охотников или слуг, выучили, сколько шагов и в какую сторону пройти по сцене, где остановиться и предложить кофе, виски или ружье ведущим актерам. Пришло время продавать билеты в кассе Дома культуры и городских театральных кассах. А в нашем театре до сих пор не было опытного кассира-администратора. Ирочка никак не могла остановиться на ком-нибудь из предлагавших свои услуги. Задним числом я понял, что наша королева боялась вводить новое лицо в сердцевину деятельности Кооперативного театра. Я видел, что Ирочка нервничает. Особенно, когда я не являлся к ней домой на площадь Курчатова по нескольку дней. А это случалось все чаще и чаще. Мне нужна была свобода: мое собственное пространство, моя комната, где я мог закрыться и мерить метрономом шагов зарождающиеся стихи. Ирочка видела, что меня тяготит неволя, огорчалась этим, молчала, и безумно радовалась, когда я приезжал к ней. Это было, как в первые годы нашей любви. Недели-две не решался я возвращаться к себе на Патриаршие пруды. Когда же исчезал, а потом звонил или приезжал, находил Ирочку озабоченной. Все чаще и чаще она целыми днями находилась в театре, который так прижился в Доме культуры общества слепых, что мы перестали замечать, что находимся внутри чужеродной скорлупы, которая когда-нибудь расколется, и мы окажемся незащитными.

А пока нужно было подыскать главного администратора — опытного финансиста, который будет связан с сетью городских театральных касс. И главное — которому Ирочка сможет полностью доверять. «Ксения Арнольдовна!» — вот кто был нужен Ирочке. Она однажды сказала мне: «Даник, я решила попросить маму взять на себя кассу театра». У меня от неожиданности, сделалось такое лицо, что Ирочка поспешила добавить: «Мама поможет начать, а дальше видно будет. Во всяком случае, я могу ей доверить нашу кассу». Наверно, Ирочка была права. Но что я мог поделаться со своей физиономией, которая за сорок лет жизни так и не научилась выражать нечаянную радость, когда хочется топтать ногами и размахивать кулаками. Вся история моих отношений с Ксенией Арнольдовной состояла из весьма прохладного обмена минимальным количеством вежливых (*никаких*) слов и взаимным желанием поскорее разминуться. Напомню, что Ксения Арнольдовна, служившая когда-то администратором в Большом Драматическом Театре (БДТ), лет пятнадцать назад решила уйти на раннюю пенсию,

то есть даже раньше 55 лет, справедливо полагая, что муж ее Федор Николаевич Князев, профессор и заслуженный деятель науки, ставший к тому времени директором Лесной академии, вполне может прокормить семью. Ну а теперь Ирочка заручилась обещанием Ксении Арнольдовны приехать из Ленинграда в Москву и профессионально наладить кассовые дела Театра. Предполагалось, что Ксения Арнольдовна позвонит или даст телеграмму о своем выезде из Ленинграда, но она решила сделать дочери сюрприз. В те годы, отдаленные от времени, когда я записываю эту историю, телеграммы играли одну из важнейших ролей нынешней электронной почты. Ксения Арнольдовна, как назло, не позвонила и не «отбила телеграмму».

Было раннее утро одной из ярких любовных встреч в театральном периоде нашей с Ирочкой истории. Накануне я приехал поздно с вечера сербской литературы в Малом зале Дома литераторов и последующего приема в югославском посольстве, где переводчики (русские писатели) и авторы оригиналов (сербские писатели) тесно общались и крепко выпивали. Ирочка обещала дожидаться, пока я приеду. У меня был свой ключ от ее квартиры. Это был период, когда она, вероятнее всего, никому, кроме меня, ключа не давала, что позволило мне в шутку говорить ей по телефону или подписываться: *Твой жиголо*. Это смешило, а иногда озадачивало Ирочку. Она предпочитала определенность двусмысленности. Я заглянул в спальню. Ирочка спала. Я принял душ и вернулся к ней. Книга, которую читала Ирочка, лежала у нее на груди. Она спала, по-детски посапывая и пуская слюнку. Я поцеловал ее в щеку, осторожно залез под одеяло. Она всегда спала голой. Во сне Ирочка раскрылась и лежала на боку, повернувшись ко мне. Ее груди с божественным изгибом касались моей груди. Я заснул и проснулся на рассвете. В спальне было полутемно. Свет шел от ночничка, который едва мерцал на столике. Я поцеловал ее груди, спускаясь по изогнутой излучине до самых сосков, которые перебирал губами один за другим, как в детской считалочке, вместо скороговорочных слов которой выплывала из памяти библейская строчка: «Пусть ее груди радуют тебя всегда». Ирочка открыла глаза и улыбнулась. Она всегда просыпалась, улыбаясь. «А я вчера заснула предательски. Ты поздно пришел, Даник?» «Около двенадцати. Ты спала, как младенец». «Поверишь, Даник, я честно старалась не заснуть. И вот — пожалуйста! Подожди минутку!» Она

провела рукой по моему животу и выскользнула из кровати. Я услышал каскад фаянсового водопада, еще какие-то водяные переливывы и перезвоны, которые доносятся из ванны, когда молодая женщина торопится в кровать к любовнику.

Не успели мы снова заснуть, как раздался звонок в дверь. Ирочка набросила махровый халат и побежала в прихожую. Дверь в спальню она захлопнула. Я натянул рубашку, натянул брюки и надел пиджак. Мои осенние туфли на микропористой подошве толщиной в автомобильную покрышку остались в прихожей, откуда слышались Ирочкины радостные восклицания и раскатистое контральто Ксении Арнольдовны. Я решил, что мне лучше всего выйти из спальни, рокироваться на кухню и заняться приготовлением кофе. Собственно, так и должно происходить в *нормальных* условиях, не появившись Ксения Арнольдовна в такую беспроблемную рань. Я немного нервничал. Возникла даже непрошенная мыслишка проскользнуть в прихожую, пользуясь тем, что Ирочка показывает Ксении Арнольдовне ее комнату. Проскользнуть, натянуть носки, туфли, пальто и незамеченным покинуть квартиру. Но это было бы откровенной трусостью, да еще и тактической ошибкой, потому что с первых шагов Ксении Арнольдовны в Москве я выказывал бы свою зависимость от нее. Словом, я занялся приготовлением завтрака. Меня всегда успокаивают простые действия. Помню, как хорошо я себя чувствовал во время экспедиции по добыче березовых грибов. Или потом в лаборатории, когда я работал с белыми мышами. Впрочем, точно также я бываю счастлив, когда удается поймать нерв переводимого стихотворения или рассказа. Нащупанный звукоритм одну за другой вытягивает строчки в ожившей клавиатуре моей пишущей машинки или — через много лет! — компьютера. Но бывает и по-другому: ложные звуки расталкивают верные звуки, а строчки наползают друг на друга, как вагоны поезда, потерпевшего крушение. В таком случае выручают элементарные домашние занятия, среди которых приготовление кофе — самый первый испытанный прием. Я намолот и сварил колумбийский кофе, поджарил несколько тостов из ржаного хлеба, приготовил омлет, расставил тарелки, кофейные кружки, положил салфетки, разложил вилки, ножи и чайные ложечки. Наверняка Ирочка догадалась по шорохам, звяканьям и аппетитным ароматам о моих приготовлениях к встрече с Ксенией Арнольдовной. Не стану описывать богатую смену мыслей и настроений, выражен-

ных с полной откровенностью на лице Ксении Арнольдовны, еще несколько утомленной путешествием из Ленинграда в Москву. Скольким мыслям и настроениям всколыхнулось, когда она увидела меня на рассвете в квартире любимой дочери! «А, это вы, Даниил? Так рано! — только и нашлась воскликнуть Ксения Арнольдовна. И осмотрев накрытый к завтраку стол, добавила. — Какой роскошный завтрак!» «Представляешь, мамочка, примчался с Патриарших прудов, чтобы приготовить завтрак к твоему приезду!» — сказала Ирочка, обняла и поцеловала Ксению Арнольдовну, рассмеявшись, как ни в чем не бывало. Такая у нас была Ирочка Князева. Ее ничто не могло смутить или вывести из равновесия. «В самом деле, роскошный омлет! Как вы его мастерите?» — спросила Ксения Арнольдовна, возвращаясь к холодному и вежливому тону отношений, которые продолжались вот уже около пятнадцати лет нашего знакомства. «Взбиваю яйца с молоком, добавляю чуть-чуть муки, снова взбиваю и выливаю на раскаленную сковородку с разогретым кукурузным маслом». «Даник у нас мастер на все руки. А как пьесы научился писать!» «Ну что ты, Ирочка! Что ты! Какие там пьесы? Инсценировки рассказов Чехова и Хемингуэя!» «Чудесные писатели!» — вставила словцо Ксения Арнольдовна, намазывая сливовый джем на поджаристый тост.

Как бы я ни относился к Ксении Арнольдовне, справедливости ради надо заметить, что дело сдвинулось с ее приездом. Каким-то профессиональным чутьем она узнала ходы-выходы к театральным кассам необозримой Москвы, и деньги начали поступать в казну Кооперативного театра. Предполагалось давать «Короткое счастье» в помещении Дома культуры общества слепых месяца два, не больше, а затем перейти к представлениям «Попрыгуньи» по Чехову. Так что я сидел, как раб на галерах, на Патриарших прудах и расписывал по ролям чеховский рассказ. Да, с приездом Ксении Арнольдовны наши встречи с Ирочкой свелись к служебным отношениям. Она вечно была в бегах по делам, связанным с шитьем костюмов, монтажом декораций, обсуждениями технических проблем с инженером Дома культуры или репетировала до самозабвения со слепыми актерами. Это была какая-то чуть ли не сверхъестественная доминанта для Ирочки: научить кружковцев двигаться по сцене так же легко и естественно, как если бы они были зрячими актерами. Да и директор Дома культуры подливал масла в огонь, чередуя чрезмерные похвалы ее постановочному

искусству с моментами сомнений. Вполне понятно, что режиссер Баркос и актеры Железнов и Зверев были редкими гостями на репетициях «Короткого счастья». Они знали свои роли еще со времени представлений в Театре, располагавшемся на Малой Бронной улице, а Баркос ничего не менял по сравнению с прежней постановкой.

Да, как я слышал мельком от Ирочки, билеты были проданы не только на премьеру «Короткого счастья», но и на все спектакли в течение двух последующих месяцев. То есть, дела наши развивались вполне благополучно, если одним из важнейших показателей считать кассовый успех. Профессор Вадим Алексеевич Рогов все чаще и чаще появлялся в театре. Я, как правило, не принимал участия в финансовых разговорах между Ирочкой, Вадимом Роговым и Ксенией Арнольдовной, но, поскольку мы все крутились на довольно тесном пятачке в центре зрительного/репетиционного зала или в крохотной комнате за кулисами, где едва помещался стол Ирочки, а напротив — мой секретер с пишущей машинкой (купленной для Театра в дополнение к моей домашней «Олимпии»), я знал, что даже после выплаты государству налогов — определенного процента от продажи билетов — накапливалась немалая сумма. Иногда *тришвират* (Ирочка, ее мать и Рогов) переходил на шепот, или я сам, под предлогом «покурить», уходил из зала или из комнаты. Но бывало, что я слышал нечто, настораживающее меня. Ведь, согласившись стать завлитом театра, я искренне думал о таланте Ирочки, при помощи которого мы будем завоевывать зрителей, и о том, что этот успех даст нам возможность ставить новые пьесы и зарабатывать приличные деньги. Почему же ко мне с самого начала подкрадывались сомнения? Я старался отмахиваться от них, объясняя свою настороженность неприязнью к Ксении Арнольдовне, которая предпочитала игнорировать меня. Объясняя настороженность неприязнью к матери Ирочки или ревностью к Рогову. С приходом Ксении Арнольдовны я перестал бывать у Ирочки дома. Это бесило меня, потому что безо всяких с моей стороны видимых причин период безмятежного счастья сменился полным Ирочкиным охлаждением ко мне. Более того, знаменитый экономист профессор Вадим Алексеевич Рогов полностью завладел вниманием Ирочки. Самое обидное для меня было абсолютное и несомненное приятие остальными нашими компанейцами доминирования Рогова. «Мой тоскующий ангел» (по выражению Ирочки) Ва-

сенька Рубинштейн, получивший должность ведущего инженера-конструктора в институте Министерства среднего машиностроения, окончательно поселился с семьей в Москве. Римма устроилась в гомеопатической аптеке на улице Герцена, в двух шагах от Консерватории, куда Асенька мечтала поступить по классу виолончели. Глебушка Карелин и Юрочка Димов вполне утешились взаимной дружбой, потому что не может быть теснее союза между двумя артистами, повенчанными страстью и ревностью к одной музе — Ирочке. Капитан Лебедев ни разу еще не появлялся в Доме культуры общества слепых.

Премьера «Короткого счастья» прошла при переполненном зале. Режиссера Баркоса и актеров Железнова и Зверева вызывали не менее десятка раз. Особенный успех достался Ирочке. Ее засыпали цветами. Ирочка подходила к слепым актерам, обнимая и благодаря за прекрасную игру. Под конец вызвали и меня (автора инсценировки) на сцену, что не обошлось без некоторого замешательства и напомнило чтение мальчиком Пушкиным стихотворения «Воспоминания в Царском селе» перед великим Державиным. Замешательство было связано с тем, что мы вчетвером (Юрочка Димов, Глебушка Карелин, Васенька Рубинштейн и ваш слуга покорный) выскользнули из зрительного зала за кулисы и начали праздновать успех премьеры (не дожидаясь банкета), пустив по кругу фляжку с коньяком, добытую из внутреннего кармана нашего музыкального руководителя. В этот момент меня и вызвали на сцену. Впрочем, глоток коньяка помог мне преодолеть проявляющуюся в таких ситуациях природную робость. На банкете а ля фуршет, который был организован директором в фойе Дома культуры вскоре после того, как зрители разошлись, Ирочка, как художественный руководитель Кооперативного театра, поблагодарила меня «за отличную инсценировку рассказа гениального Хемингуэя и, в особенности, за сцену, полностью написанную вновь и вполне в стиле прогрессивного американского писателя и друга нашей страны». Конечно же, Ирочка упомянула Васеньку, Димочку и Глебушку, без которых «невозможно было бы осуществить технического, художественного и музыкального оформления спектакля». Капитан Лебедев промелькнул среди публики, проникнув за кулисы, чтобы лично поздравить Ирочку и других актеров, однако на банкет не остался.

В столичных газетах «Социалистическая культура», «Вечерняя столица» и «Московская юность» были напечатаны весьма по-

ложительные рецензии на спектакль «Короткое счастье». Во всех рецензиях главным достижением художественного руководителя И.Ф. Князевой было представлено «новаторское в театральной педагогике привлечение на сцену талантливых слепых актеров».

Я сидел над инсценировкой чеховского рассказа «Попрыгунья». Предполагалось, что спектакль будет состоять из двух отделений. В первом — нарастает любовный катарсис между Ольгой Ивановной и художником Рябовским. Во втором — охлаждение Рябовского к Ольге Ивановне, ее горькое разочарование в возлюбленном и — смерть мужа, доктора Дымова, как наказание за ее грехи. Ирочка играла Ольгу Ивановну Дымову. На роль художника Рябовского согласился актер М.М. Железнов, а мужа Ольги Ивановны, доктора Дымова, играл актер Л.Я. Зверев. На роли гостей в доме Дымовых (актер, виолончелист, поэт), художников, сопровождающих Рябовского и Ольгу Ивановну в поездке на Волгу, и коллег доктора Дымова — Коростелева и Шрека, решено было пригласить студентов театральных училищ и студий. Ирочке моя инсценировка понравилась. Я распечатал экземпляры пьесы для ведущих актеров и страницы эпизодов, где появлялись исполнители сопровождающего состава. Курьер развез распечатки по актерам. Ирочка назначила первую репетицию.

До сих пор не могу понять, что явилось причиной начинающегося обвала. Я имею в виду не в прямом смысле крах нашего Кооперативного театра (до краха было еще далеко); не крах, а коллективное охлаждение театральной среды к Ирочке и ее идеям. Теперь уже, задним числом, я начинаю предполагать, что не обошлось без давления идеологических верхов, в недрах которых шла непримиримая борьба за влияние и власть. Наверняка капитан Лебедев и профессор Рогов относились к тому течению, которое стремилось модернизировать и даже заменить важнейшие узлы застывшей пирамиды тоталитарной власти. Что-то у них не получилось с Ирочкиным театром. Если и получалось поначалу, то с огромным сопротивлением. Первым Ирочке позвонил Михаил Михайлович Железнов. Оказывается, он не предполагал, что будет приглашен на съемки нового фильма. Хорошо, что надо пробыть на Одесской киностудии не дольше месяца. Иначе сорвалась бы премьера спектакля в театре, расположенном на Малой Бронной улице, где он играет с Селезневой. Потом позвонил Лев Яковлевич Зверев, чтобы отказаться от участия в спектаклях нашего театра,

правда, по каким-то другим, но не менее уважительным причинам. Камушки посыпались, когда один за другим начали отказываться от предложений сыграть в нашем спектакле студенты-выпускники театральных вузов. Сначала Ирочка пыталась разгадать причину единодушных отказов. Но потом поняла, что лучше не докапываться, а не то можно докопаться до такого ущелья, из которого все не выберешься.

Казалось бы, мы стоим на самом краю. После начального успеха хемингуэевского «Короткого счастья» билеты стали продаваться все хуже и хуже, и Ксении Арнольдовне приходилось на такси кружить по всей Москве и собирать в театральных кассах непроданные билеты. Надо было отчитываться перед финансовой инспекцией. Директор Дома культуры общества слепых тоже постепенно переменялся к Ирочке и нашему Театру. Тому могло быть множество причин, из которых две, по крайней мере, легко угадывались: неосуществленные виды на Ирочку и давление тайных сил, противодействующих нашим эстетическим и экономическим новациям.

Мы договорились собраться у Вадима Рогова около пяти часов вечера, в его трехкомнатной квартире на Кутузовском проспекте, неподалеку от ресторана «Хельсинки». Он жил на десятом этаже, куда надо было подниматься на лифте, миновав консьержа в наглаженном сером костюме и с пронизательным взглядом стальных глаз. Я поехал вместе с Ирочкой из Дома культуры, где мы с книжкой рассказов Чехова и текстом инсценировки прикидывали, можно ли сократить число вспомогательных актеров за счет гостей в салоне (квартирке) Дымовых или художников (в экспедиции на Волгу). Выходило, что не очень-то и можно. Эмоциональная насыщенность рассказа требовала пространства, заполненного реальными людьми, которые исполняли бы роль светотеней в живописи. И тут Ирочке пришла в голову гениальная идея. Она так и сказала: «Даник, мне пришла в голову гениальная идея! Расскажу у Рогова». Я знал, что лучше не допытываться преждевременно. Мы ехали в такси молча. Ирочка продолжала обдумывать свою идею. Меня же терзали горькие мысли, что второй раз я ввязался в предприятие, в воплощение которого не верил с самого начала. Для чего же ввязался? Конечно, надеялся на успех в театральной среде. Ведь инсценировка рассказа американского классика явно получилась. Были даже положительные отклики критиков. Как ес-

тественно вписалась в спектакль сцена, целиком придуманная и написанная мной для «Короткого счастья»! Конечно же, я взялся за инсценировку в надежде выйти в профессиональные драматурги! Но прежде всего — из-за Ирочки, которая продолжала действовать на меня магнетически.

И вот, в гостиной у Вадима Рогова, сидя вокруг журнального столика с кофейником, керамическими рыжими чашечками, бутылкой коньяка и плиткой шоколада, наша компания (Глебушка, Димочка, Васенька и ваш слуга покорный) услышала, какую гениальную идею предлагает Ирочка, чтобы не просто спасти зарождающийся Московский кооперативный театр, но и достигнуть процветания и популярности.

Мы пили кофе, приготовленный гостеприимным Вадимом Роговым, потягивали коньяк, закусывали шоколадом, а Ирочка излагала свой *революционный* план. Не берусь восстановить ее доклад (выступление, гипотезу, план действий и т.п.) пословно, как хотели бы иные критики мемуарной прозы, но утверждаю, что правильно передаю основную схему Ирочкиного сообщения и последующей дискуссии. Она сказала примерно так: «Может быть, это и к лучшему, что нам пришлось расстаться с Железновым и Зверевым. Вполне понятно, что эти высокопрофессиональные актеры украшали постановку «Короткого счастья». Они не захотели сотрудничать с нами. Это как будто бы на первый взгляд огорчительно. На самом деле, с финансовой точки зрения все оказалось удачнее, чем можно было ожидать. Кооператив сохранил причитающиеся знаменитостям крупные гонорары. Словом, нам нужны актеры на две ведущие роли и на роли вспомогательные. В Москве десятки домов культуры и клубов. Мы выберем дюжину подходящих. Я безвозмездно берусь организовать театральные студии, где с самостоятельными актерами буду репетировать «Попрыгунью». Там же, на сценах этих домов культуры и клубов пойдут спектакли. Представляете, какой ажиотаж это вызовет? Народ будет валом валить! Да к тому же, нам надо так или иначе переходить в другое помещение. Местное начальство не хочет возобновлять договор на аренду зрительного зала». Ирочка намекала на свои неувязки с директором Дома культуры общества слепых. Вадим Рогов как гостеприимный хозяин добавлял коньяк в наши рюмки и предлагал кофе и шоколад. Но в дискуссию предпочитал до поры до времени не ввязываться. То есть, он видел, да и каждый из нас понимал справедли-

вость опасений нашего художника Юрочки Димова: «Как же быть с декорациями? Не перевозить же за собой контейнеры с мебелью и полотна с интерьерами комнат или деревенскими пейзажами?» На что Ирочка, не моргнув глазом, отвечала, что в традиции русского и мирового театра — гастролирующие труппы готовят переносные облегченные декорации. «В конце концов, вспомним шекспировский театр, где обходились просто надписями: дверь, кровать, колонна, спящая собака!» — отпарировала Ирочка. На что остряк и вольнодумец Глебушка Карелин подбежал к бездельничавшему до поры до времени пианино и сыграл озорную музыкальную фразу: «До-ре-ми-до-ре-дооо!», которая обозначает несогласие оркестранта с дирижером, выраженное вполне обнаженно: «А пошел ты...!» Ирочка не была бы сама собой, прими она закамуфлированную под шутку грубость на свой счет. Она звонко засмеялась и поцеловала Глебушку в лоб: «Ах, ты мой проказник!» Мне безумно понравилась Ирочкина идея одновременной подготовки нескольких актерских (дублирующих) составов. На случай, если в одной театральной студии кто-нибудь заболит, его можно будет временно заменить актером/актрисой из другой студии. Предложение нашей королевы было принято на «Ура!». Подняли тост за успех. Глебушке пришлось сыграть «Свадебный марш» Мендельсона, чтобы подтвердить свое согласие с грандиозной Ирочкиной идеей.

Ирочка занималась со студийцами одновременно в нескольких Домах культуры. Илья Захарович Баркос к этому времени отошел от постановки спектаклей в Кооперативном театре, мягко отшутившись в том смысле, что Ирочка настолько созрела как актриса и режиссер, что ей не нужен никакой наставник, который может только загубить оригинальные постановочные идеи. Да и сама Ирочка понимала прекрасно, что ей только мешает чья-то опека. Как и прежде, в эпоху березовых грибов, Ирочка предпочитала сосредоточить в своих руках и под своим контролем творческие и финансовые дела, связанные с новым спектаклем. Отношения внутри сообщества стабилизировались. Хотя Ирочка по-прежнему оставалась нашей королевой, а мы ее верными вассалами, эта взаимосвязь держалась прежде всего на силовых линиях общего дела (Кооперативный театр), отодвинув куда-то в запасники силовые линии любви. Во всяком случае, мне так начало казаться. Я отгонял от себя дерзкие мысли пригласить

Ирочку в мою одинокую комнату на Патриарших прудах, словно сама эта мысль не перекликалась с былой близостью, ближе которой не бывает на свете. Моя неуверенность в себе, а, главным образом, в Ирочке, не была беспредметной. Однажды я пригласил Ирочку пообедать в ресторане Дома литераторов, что было когда-то нашей традицией: отмечать мои гонорары. Она нежно улыбнулась мне: «Даник, как-нибудь в другой раз». *Другой раз* отложился на полугодие. Мы к этому времени репетировали в Доме культуры метрополитена. Надо сказать, что постановка «Попрыгуньи» прошла с умеренным, но стабильным успехом. На премьеру пьесы пришла прославленная тройка из Театра, расположенного на Малой Бронной улице (Илья Баркос, Михаил Железнов и Лев Зверев). Лестные отзывы появились в тех же самых газетах, что и прежде: «Социалистическая культура», «Вечерняя столица» и «Московская юность». Мне показалось, что Ирочка была несколько разочарована рецензиями, которые, хотя и были положительными, но опять, как и в случае с «Коротким счастьем Фрэнсиса Макомбера», делали акцент на педагогическом новаторстве режиссера (Ирочки), нежели на его художественных достоинствах. Игра Ирочки оценивалась по самым высоким стандартам, но это входило в противоречие с оценкой игры самодеятельных актеров. Слишком велик был разрыв между актерской техникой и дарованием студицев и режиссера/ведущей актрисы. Самым болезненным ударом, который был нанесен нашей королеве (невольно!) вполне дружелюбным критиком из газеты «Социалистическая культура» было упоминание о том, что сама Ирочка тоже самородок, появившийся на театральной сцене и киноэкранах из пустоты, как комета, из космоса. Рецензия так и была озаглавлена: «Спектакль самородков».

И все-таки, это был талантливый спектакль! Особенно хороша была сцена Ольги Ивановны и художника Рябовского на пароходе. Нечего говорить о том, сколько раз я смотрел эту сцену. И каждый раз не мог окончательно уверить себя, что на театральной площадке — Рябовский с Ольгой Ивановной, а не Рогов с Ирочкой говорят о докторе Дымове, а не обо мне. И хотя партнеры Ирочки явно не дотягивали в сценической технике до профессионалов, ее игра, как катализатор, стимулировала самодеятельных артистов. Я не мог без слез смотреть сцену, когда Ольга Ивановна, отвергнутая Рябовским, ищет утешения у мужа. Это я (в неминуемом будущем!) го-

ворил Ирочке, отвергнутой Роговым: «Не плачь громко, мама... Зачем? Надо молчать об этом... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь».

Нервы мои были напряжены до предела. Пронзительная Ирочкина игра обострила мое восприятие реальности до того, что я возненавидел Рогова. Я чувствовал, что взорвусь, выскажу все, что у меня на душе. Это была ревность, которую не могли задрапировать многолетние правила, допускающие короткие или длительные связи внутри нашего сообщества и абсолютно отвергающие любые проявления эгоистического недовольства. Я с трудом заставлял себя оставаться, по крайней мере, вежливым с Роговым. Ирочка, конечно, не могла не заметить усилий, которые я прилагал, чтобы не сорваться. И, несомненно, Рогов замечал! Человек он был опытный, выдержанный, обладающий трезвым холодным умом и натренированной волей. Как талантливый шахматист, Рогов рассчитывал свои действия на много ходов вперед. Не знаю причину того, что наша королева продолжала безмолвно наблюдать за нарастающими противоречиями между мной и Роговым. Она не вмешивалась. Да и не было еще в нашем сообществе случая, чтобы Ирочке нужно было во что-то вмешиваться, критиковать, оценивать, поучать. Отношения внутри компании регулировались не словами, а невидимыми молекулами целесообразности, распространяемыми Ирочкой. Это было, как регуляция жизни внутри сообщества бабочек при помощи летучих гормонов — феромонов. Вдруг регуляция отношений между мной и Роговым разладилась вконец. Помню инцидент между нами, случившийся в этот период. В Кооперативном театре было заведено неписаное правило: все поправки в тексте пьесы или в режиссерских деталях постановки вносятся только с согласия Ирочки и заверяются ее подписью. Представления «Попрыгуньи» шли вовсю, перемещаясь из одного Дома культуры в другой и привлекая к участию в спектаклях новых самодеятельных актеров и новых зрителей, которые нередко покупали билеты прежде всего, чтобы посмотреть, как играют вместе со знаменитой Ириной Князевой их приятели или знакомые знакомых. В этом была особенно тонкая черта Ирочкиного замысла по завоеванию публики в рабочих районах. Театр перемещался по городу. Каждый раз Ирочке приходилось заново ставить «Попрыгунью» с новым составом самодеятельных артистов. То есть — заново вставлять в текст пьесы режиссерские

ремарки. Однажды, это был день, свободный от репетиций, Ирочка позвонила и сообщила, что больна и просит привезти ей текст «Попрыгуньи» с пометками, сделанными во время последнего спектакля. Текст лежит у нее на письменном столе. Ирочка не сказала, чтобы я привез пьесу, но и не назвала никого другого. Сама судьба посылала мне, залитую Театра, случай поехать и повидаться с Ирочкой наедине. Без вечно роящихся вокруг нее электриков, рабочих сцены, звуко- и светотехников, актеров театральной студии, и прочих — занятых в спектакле или обслуживающих спектакль. Кстати, Ксения Арнольдовна, мамаша Ирочки, была занята в своей комнатухе администратора-кассира какими-то неотложными делами и отвезти пьесу не могла. Кому же, как ни мне было поехать к Ирочке! Отчуждение, длившееся около полугода или даже больше, связанное, как мне казалось, с выбором, павшим на Вадима Рогова, виделось мне теперь как плод больного воображения, как ревность, совершенно необоснованная и противоречащая устоям нашего сообщества. Оставалось увидеть Ирочку, чтобы все прояснилось, встало на свои места. Она засмеется непринужденно и легко, как ребенок, снова получивший желанную игрушку, и наша любовь вернется, как ни в чем не бывало!

У Ирочки на столе я нашел текст пьесы с ремарками, положил рукопись в мой выдавший виды коричневый кожаный дипломат с золотыми уголками, которым я очень гордился, во-первых, потому что модные золотые уголки, а во-вторых, что дипломат из тисненой коричневой кожи куплен был на мой гонорар за инсценировку «Короткого счастья» в Театре, расположенном на Малой Бронной улице. То есть, когда я родился как драматург. Дом культуры, в помещении которого шла в это время «Попрыгунья», находился в одном из переулков, разбегающихся по весьма важным делам в разные стороны от улицы Арбат. Неподалеку на Смоленской площади сверкал витринами знаменитый гастроном. Почему-то вспомнился первый год моей влюбленности в Ирочку. Я приносил ей ромашки из Лесотехнического парка. Как все изменилось! В гастрономе я купил бутылку шампанского и около метро — белые гвоздики. Подвернулось такси. Я назвал площадь Курчатова и через полчаса звонил в Ирочкину квартиру. Звякнула цепочка, и отворилась дверь. В проеме стояла Ирочка в белом махровом халате. Она не приглашала зайти, а напротив — преграждала мне путь в квартиру. «Я привез пьесу с твоими замечаниями, Ирочка. Можно

мне зайти?» Она продолжала стоять около двери, не приглашая внутрь квартиры. Чувства мои были до того напряжены, что я различал в прихожей мельчайшие детали обуви и одежды, словно бы в увеличительное стекло: Ирочкины высокие сапожки из зеленой кожи, коротенькую демисезонную дубленку с оленьим воротничком, расшитую желтыми и красными шелковыми нитями, мужскую шляпу с удлинённой, почти ковбойской тульей, мужское пальто из серого новозеландского драпа. Шляпа и пальто принадлежали Вадиму Рогову. Я не мог ошибиться. Я понимал, что не владею собой, но заставить себя повернуть и уйти был не в силах. «Прости, Дая, мне холодно стоять. Спасибо за пьесу и цветы», — сказала Ирочка и закрыла за собой дверь.

Звук захлопнувшейся двери привел меня в чувство. Я спустился на лифте в подъезд, вышел на улицу, по которой, меся весеннюю грязь, пролетали грузовики, автобусы и легковые автомобили. Не хотелось никого видеть. Даже называть собственный адрес, если остановится такси. Без всяких мыслей я брел в сторону ближайшей станции метро на углу улиц Маршала Бирюзова и Народного ополчения.

Дома на полочке для коммунального телефона ждала меня записка: «Даниил, позвоните в общество книголюбов! Вот телефон: 562-5995. Р». Это была записка от соседки Раисы, интеллигентной кандидатки в старые девы, все еще не оставившей надежду завлечь меня в тенета дружеской услужливости. Я позвонил. Оказалось, что «Общество книголюбов» устраивает выездную сессию журнала «Дружба народов» в Литве. Я приглашаюсь в поездку как поэт, публиковавший переводы стихов литовских поэтов в «Дружбе народов». Словом, меня торопили приехать за билетами и командировочными. Это было, как лекарство. Само название «Общество книголюбов» звучало в духе Олеси — Ильфа/Петрова, согласившихся сочинять репризы для Аркадия Райкина. Нечто, повышающее настроение и обещающее веселое путешествие. Я помчался в центр Москвы на Пушечную улицу в это замечательное «Общество книголюбов». И вправду, сотрудница, ведавшая творческими поездками писателей, оказалась милой словоохотливой дамой, которая, не останавливая разговор с популярным поэтом Боговым, помахала мне ручкой в кружевном рукавчике, улыбнулась и дала понять, что рада моему приходу, но не может приостановить разговор с моим коллегой по перу. Да я куда и не торо-

пились. Как говорили в старые времена, все мои карты были биты, крыть было нечем, оставалось ждать, когда лед растает, и я верну мою возлюбленную королеву. И вправду, разговор, который вел поэт Богов с милой дамой из «Общества книголюбов», был, по существу, пустячный, никакого отношения к предстоящей поездке в Литву не имевший, но такой добродушный и сердечный, что я подумал: «А ведь у меня нет ничего такого добросердечного за душой, чтобы вот так же бесхитростно поговорить с кем-то». Оказывается, оба они (Богов и милая дама) родились в соседних деревнях Калининской области. Ходили в одну и ту же школу, чуть ли не в один класс, помнят те же самые лес, речку, колокольню, тот же деревенский клуб. И этот разговор для них куда важнее и милее, чем формальные дела, связанные с поездкой в Литву: билеты *туда и обратно*, гостиница в Вильнюсе, командировочные на неделю. Когда душевный разговор с Боговым и формальности (с ним) были закончены, я наконец-то представился, и мы все познакомились. Тут же было решено сразу после отправления поезда пойти в вагон-ресторан и отметить начало путешествия в братскую прибалтийскую республику. Милая дама из «Общества книголюбов» сообщила нам, что в Вильнюс из других республик приедут писатели, публиковавшие литовские стихи в переводах на их родные языки, а, кроме того, штатные сотрудники журнала «Дружба народов». Словом, всех нас ожидает изумительный праздник под названием «Весна Поэзии». Сказать по правде, я был всем этим несколько смущен. Ведь у меня к этому времени была издана всего одна тоненькая книжечка стихотворений «Наброски» и появилось несколько журнальных публикаций. В том числе подборка литовских поэтов в моем переводе на страницах «Дружбы народов». Но я заставил себя собраться: послушай, старик, это не так мало — книжка, стихи в ежегодной антологии «День поэзии» и переводы на русский язык хороших поэтов! А самое главное — твои пьесы идут в Ирочкином театре!

Я приехал на Белорусский вокзал и отыскал поезд «Москва — Вильнюс». Был конец мая, вечер и ровный ускользящий отсвет закатного солнца, укотившегося за составы пассажирских и товарных поездов, скучавших на запасных путях. В отсветах закатного солнца резко вырисовывались предметы и люди на платформе, где стоял мой поезд. Я нашел нужный вагон, показал билет проводнику и поднялся на площадку. На платформе около вагона толпились

знакомые литераторы и сотрудники редакции журнала, с которыми я поздоровался, прежде чем встать на подножку и шагнуть в тамбур. В купе было пусто. Мне полагалось верхнее место. Я забросил чемодан на багажную полку и уселся у окна за столиком, раскрыв газету «Вечерняя столица», купленную в киоске «Союзпечать» перед входом в Белорусский вокзал. В разделе объявлений помещалась реклама нашего Кооперативного театра под руководством и при участии Ирины Князевой, игравшей заглавную роль в пьесе по рассказу А.П. Чехова «Попрыгунья» (автор инсценировки Д. Новосельцевский). Что говорить — было приятно увидеть свое имя в компании с Ирочкой Князевой и Антоном Чеховым. Я вспомнил, что мы договорились с поэтом Боговым пообедать вместе в вагоне-ресторане. «Надо будет захватить газету!», — удовлетворенно подумал я. Я даже хотел было отправиться немедленно в вагон-ресторан, но взглянул на часы. Было еще рано. До отправления поезда оставалось десять минут. На перроне мелькали торопившиеся уехать или проводить. Мое купе было третьим от входа в вагон, но чтобы увидеть, появился ли поэт Богов на перроне, я опустил стекло окна и высунул голову. Среди толпившихся у входа я действительно увидел Богова в зеленой велюровой шляпе, чуть набекрень, и расклепленном светлом пиджаке. Поэт рассказывал нечто архипотешное, что заставляло окружающих покатываться от хохота. Окружали Богова, главным образом, сотрудники «Дружбы народов» и несколько авторов журнала, с которыми я поздоровался раньше, поднимаясь в вагон. Но самым невероятным было увидеть Ингу. Она стояла среди писателей и сотрудников редакции. До сих пор не могу понять, как это я не подумал еще в «Обществе книголюбов», что Инга может оказаться в одной поездке со мной! Как я мог напрочь забыть о ней?!

Она была оживлена, смеялась шуткам и сама что-то выпаливала, не менее потешное, чем рассказывали Богов и другие, толпившиеся у входа в вагон и торопившиеся внести свою долю хохота в карусель веселья, отпущенного каждому участнику такой приятной поездки. Инга смеялась и задорно встряхивала длинными светлыми прядями волос с оттенком желтизны аптечной ромашки. Она веселилась, но время от времени, как бы вскользь, поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, словно ожидая кого-то. И тогда я на мгновение перехватывал взгляд ее фиолетовых глаз, бегающих платформу и наш вагон, окончательно узнавая ее узкие

запястья, женственный таз, высокий подъем красивых ног и возвращаясь к вспыхивающей временами, чуть испуганной улыбке с ямочками около уголков рта.

Загудел электровоз. Дежурный в красной фуражке, мотаясь по платформе, засвистал, как соловей-разбойник. Провожающие посторонились. Пассажиры нырнули в вагон. Я заметил, что последней была Инга, все еще не поднявшаяся со ступеньки в тамбур вагона. И не напрасно: в последнюю минуту прибежал некто долго-вязый, очкастый, черно-лохматый и улыбающийся виноватой улыбкой человека, который, хотя и знает, что виноват и жалеет об этом, ничего с собой поделывать не в силах. Это был Саша Осинин, муж Инги и отец мальчика Моти, с которым мы когда-то ловили кузнечиков и лягушек в окрестностях деревни Михалково. Саша отдал букетик ландышей Инге, и поезд тронулся.

Писатель Богов оказался моим попутчиком по купе. Русский язык еще и лечит. Так тень, наброшенную Ирочкой и Роговым на день моей души, растворилась радостью, дарованной началом путешествия с Ингой и Боговым. Поезд тронулся, оставляя за собой застывшего с желтым флажком дежурного по платформе. Делегаты «Общества книголюбов» перешли с площадки в вагон, и с ними Богов и Инга. Все друг друга знали по редакции. Инга оказалась в одном купе со мной и Боговым.

Разошедшись по купе, разместившись и расставив чемоданы, литературная братия отправилась в вагон-ресторан. Я оказался за одним столиком с Боговым и Ингой. Счастливые карты выпадали одна за другой. Четвертым за столиком был ответственный секретарь редакции «Дружбы народов». Из обрывочных фраз стало понятно, что Инга (технический редактор журнала) и ответственный секретарь отправляются в Вильнюс, скорее, по организационным и финансовым делам, нежели творческим. В Вильнюсском издательстве «Вага» готовилась к изданию на двух языках (русском и литовском) антология поэзии. Надо было согласовывать композицию будущей книги, плотность текста, графические вставки, шрифты и т.д. Вполне понятно, что нам с Ингой не удавалось поговорить за столом о чем-то важном. Обед был добротный и незамысловатый: борщ украинский, солянка, шницель и котлеты по-киевски. К тому же, мы заказали бутылку столичной водки. От вина Инга категорически отказалась, сразу же заявив, что принципиально признает равенство между людьми литературы и искусства, независимо от

того, женщины они или мужчины. Так что, решили начать с водки, а завершить, если захочется, шампанским. Беседа велась непринужденно, слова соединялись непринужденно, как бывает при нечаянном застолье, когда за столом сходятся люди одного круга, если они даже не все были до этого знакомы и знают друг о друге по силовым линиями профессиональной общности. Эта общность, поэтому, легко допускает смену предметов разговора. Богов, узнав, что я работал над пьесами, которые ставил режиссер Баркос в Театре, расположенном на Малой Бронной улице, вспомнил, что, будучи ээком, сочинял песни для тюремного театра, которым руководил тот же самый Илья Захарович Баркос, в те времена — тоже ээк, в одном из лагерей ГУЛАГа, севернее Вологды. По странному совпадению, ГУЛАГовский театр ставил «Попрыгунью». Поэт Богов при этом ухмыльнулся, развернул газету «Вечерняя столица» и прочитал объявление о нашем спектакле в Кооперативном театре. Так что газета, к моему огорчению забытая в купе, вовсе не понадобилась. «Слава бежит впереди оленьей упряжки», — подхватила эстафету Инга и прикоснулась своим водочным стаканчиком к моему. «Какое мрачное совпадение! Мистика, — тихо сказал ответственный секретарь журнала. — Я тоже был ээком на Колыме». Он выпил свою водку и уставился в темнеющее окно вагона, пробормотав: «Метафизическая архитектоника нашей литературы: в ночи тиранической тьмы — просветы русских классиков». Ответственный секретарь продолжал напряженно всматриваться в мелькающие огоньки деревенок, отстающих от поезда. Потом он повернулся к нам, налил водки, отрезал от шницеля, выпил и пожелал нам спокойной ночи. «А шампанское, Станислав Сергеевич?» — напомнил Богов. «Сегодня без меня», — поднимаясь и положив десятку под хлебную тарелочку, раскланялся ответственный секретарь.

Шампанское все-таки заказали. Оно прибыло в ведерке со льдом, как заведено в гусарских фильмах. В два приема мы распили шипучее розовое ароматное шампанское, оказавшееся «Донским искристым», расплатились и отправились в свой вагон. Мой догадливый попутчик поэт Богов нырнул в купе, выразительно пожелав мне и Инге *спокойной ночи*. Наконец-то мы остались одни, как бывало несколько раз до этого. Между прочим, букетик ландышей, принесенный Сашей Осининым для Инги перед самой отправкой поезда, так и сопутствовал ей: от подножки вагона — в купе — в вагон-ресторан — в коридор вагона. Как талисман? Как защита? Напоминание?

Мы стояли у приоткрытого окна в коридоре вагона. Звезды не отставали от нашего поезда. Проводник несколько раз пробежал, поглядывая с недоумением. Время было позднее. По соображениям проводника, пора было нам уgomониться, каждому уйти в свое купе или найти простое решение, которому проводник готов был помочь. Сказать по правде, я оказался совершенно неопытным соблазнителем. Все мои немногочисленные романы, происходившие в студенческие времена, наверняка были похожи на влюбленности, которые случаются с каждым молодым человеком в эти годы. Потом наступила эпоха Ирочки, когда любовные отношения приобрели черты такой бесхитростной естественности, что постепенно я потерял навык ухаживать за женщинами, даже если они мне нравились. Все из-за того, что у меня долгие годы была, по сути, только одна женщина, в которую я был безумно влюблен. Этой женщиной была Ирочка. Никакой другой женщины у меня не было, да мне и не нужно было. Настенька не идет в счет из-за своей кошачьей приживляемости и бескровного отторжения. Мы стояли у окна в коридоре спального вагона. Поезд уносил нас из Москвы в Вильнюс. Меня — от моей вечной возлюбленной, нареченной, моей единственной в мире женщины, если можно применить этот космический образ к моим отношениям с Ирочкой Князевой. Поезд уносил меня — от Ирочки, а Ингу — от мужа Саши и сына Моти, о которых я знал совсем немного. Она так и держала в руке букетик Сашиных ландышей. Мы стояли около вагонного окна так близко друг к другу, что можно было говорить шепотом. И мы начали говорить вполголоса или даже совсем почти не произнося слова, а изображая звуки губами и придыханиями.

Но шепотом и мимикой долго и откровенно не поговоришь. Разве что договоришься начать в будущем разговор о чем-то сокровенном. Но мы и этого не делали. Не договаривали(сь). Стеснялись друг друга или не умели тайком перешагивать черту. Наконец, чтобы начать с чего-то, решили вернуться в ресторан. «Будем пить вино! — загорелась Инга. — Вы какое предпочитаете?» «Мукузани, — назвал я первое попавшееся. Попавшееся первым потому, что его чаще других выбирала Ирочка. — Да, Мукузани! Хотя в этом поезде вряд ли держат грузинские вина». «Тогда какое-нибудь литовское. Я слышала, в Литве делают вкусные наливки. Или — давайте — целую бутылку шампанского, такого же, как мы пили за обедом! Как вы, Даня?» Мы к этому времени прошли че-

рез несколько вагонов. На одной или двух площадках полусонные пассажиры дотягивали последние перед сном папиросы. Еще на одной всполошили целующуюся пару. Наконец, мы шагнули в тамбур вагона-ресторана. Дверь была закрыта. Я нажал на ручку. Дверь не поддавалась. «Как жаль, Даня, мне так хотелось выпить с вами хорошего вина. Или шампанского! Или, может быть, литовскую сладкую настойку? И разговаривать, разговаривать. Рассказывать друг другу, например, о моем муже Саше и вашей... как ее зовут? Ведь столько лет прошло. Я забыла ее имя. Или она — теперь другая?» «Ира, Ирочка, — выдохнул я, продолжая стучаться в дверь вагона-ресторана. — Вечная моя возлюбленная — Ирочка». Наконец дверь приотворилась, и выглянул официант в железнодорожной синей тужурке взамен белой столовской курточки. Это был тот самый официант, который обслуживал наш столик. Он узнал нас, вспомнил по щедрым чаевым и мгновенно принес холодную, в росинках влаги на зеленом пузатом стекле, бутылку донского шампанского. Удача придала мне уверенности. По возвращении в наш вагон я растолкал проводника, сказав, что моя спутница Инга Осинина — известная писательница, и ей нужен абсолютный покой перед завтрашним выступлением, а, следовательно, отдельное купе. Оказалось, что как раз пустует купе СВ, куда проводник перенес Ингин чемодан. Интересно, что в поезде была принята некая усредненная денежная сумма, которую платили как эквивалент за разнообразные услуги официанта или проводника. Например, за купе СВ. Должен сказать, что ни до этого, ни после я не ездил в СВ. Рассчитано это купе было на двоих. Сразу же мы оказались в путешествующем на колесах гостиничном номере с унитазом и раковиной. «Даня, да это просто роскошь! Пойду вымою руки и ополосну лицо». Видно было, что Инга немного нервничает. Ландыши она поставила в стакан с водой, как ставят талисманы, предохраняющие от зла.

Да и я оказался в непривычной ситуации. На столике около окна стояло несколько чистых стаканов. Я откупорил шампанское. К этому времени Инга вышла из туалета. Я и не заметил, что она, уходя умываться, захватила халатик из чемодана. В этом пестреньком халатике она выглядела совсем по-домашнему. Это напомнило мне дачу, когда мы по утрам провожали Сашу Осинина на остановку автобуса. Инга, бывало, носила легкие летние платица, делавшие еще тоньше талию. Халатик рифмовался с пестрым летом

в Михалково. Я сказал об этом Инге. И добавил: «Мне кажется, я был тогда в вас немного влюблен, Инга». «А теперь? — засмеялась и покраснела она. — Давайте выпьем шампанского!» Она уселась на свой диванчик, поверх постели, приготовленной проводником.

Я отметил для себя, что мой диванчик остался незастеленным. Как говорится, точно, как в аптеке. Я ведь доставал купе для писательницы, а не писательницы и ее секретаря. Я налил Инге и себе шампанского. Мы выпили по несколько глотков. «За что мы пьем? Или за кого?» — спросила Инга. «Я — за вас, Инга! А вы?» «А я ни за кого, — ответила она и торопливо глотнула шампанское, как проглатывают комочек грусти или таблетку транквилизатора. — Хотя, мне есть за кого пить — за Мотю, за моих стариков, за вас... Поверьте, Дания, я очень рада, что мы едем вместе. Едем, сидим, разговариваем, пьем шампанское. И впереди целая неделя прибалтийских удовольствий. А, если по искренней правде, я пью за никого, еду туда, не знаю куда, с тем, не знаю с кем...» И она разрыдалась. Я начал ее успокаивать. «Простите, Дания, пойду смою тушь». Она улыбнулась мне сквозь слезы, ушла на минуту и вернулась допивать свое шампанское. «Кто будет первым рассказывать? — спросила Инга. — Давайте — вы!» С чего мне было начать? С того дня, когда я впервые увидел Ирочку у входа в Лесотехнический парк? Когда я помчался к ней на поезде в Бокситогорск? Когда образовалась компания вокруг нашей королевы? Когда мы отправились в экспедицию по добыче березовых грибов? (К этому времени и относится мое знакомство с Ингой.) Когда я впервые серьезно разошелся с Ирочкой и не виделся год, два, несколько лет? Когда переехал в Москву и окунулся в театральную среду? Когда ко мне переехала Настенька? Когда я снова встретился с Ирочкой и оказался завлитом Кооперативного театра? Когда Ирочка предпочла Рогова, и я уехал в Литву, и еду в купе СВ с красивой молодой женщиной, которую зовут Инга, и у этой красивой молодой женщины фиолетовые глаза, разглядывающие меня так испытующе и дружелюбно, как никто давно не рассматривал. Ничего этого я Инге не стал рассказывать, потому что очевидно было, пришла ее очередь откровенничать. А может быть, только ей и надо было высказаться? Ведь высказываться, откровенничать, заниматься самоанализом, жаловаться на судьбу, на кого-то или на самого себя — это тайком надеяться, что твои слова, перелитые по правилам виртуального мира в таинственные знаки обвинения

или мольбы, долетят в виде тайных сигналов до того, кто обидел или кого обидели. А, значит, обнажая перед кем-то свою историю, принимаешь собеседника за потенциального проводника твоих мыслей — знаков, посылаемых обидчику (обидчице), которые все еще любимы тобой и в состоянии услышать. Все это не подходило для меня, потому что Ирочка была совершенно лишена сентиментального слуха даже при таком чувствительном проводнике, как Инга. Другое дело Инга: я в роли проводника, и Саша Осинин как объект индукции.

До сих пор не могу понять причину абсолютной откровенности Инги со мной: был ли это крик души, когда дорожному попутчику или подвернувшемуся во время любовного кризиса случайному партнеру выгребают со дна души анатомические подробности жизни, происходящей за дверью спальни мужа и жены? Или это был трезвый шаг отчаявшейся женщины (Инги), принявшей меня за мудрого исповедника, который способен понять и помочь советом? Внешнюю историю своей жизни Инга рассказывала мне до этого два или три раза во время наших посиделок на заднем крыльце их дачи в Михалково или при неожиданных встречах на Патриарших прудах и в Доме литераторов. Мы оба помнили отчетливо, как пленка кинокамеры запоминает силуэты стогов или ленивое скольжение ладони по бедру. В каждой семейной истории есть, по крайней мере, два сюжета: поступательный и затягивающий. Поступательный оставляет в семейных альбомах застывшие на века улыбки и притулившихся к детской подушке плюшевых мишек, мафиозный фрак жениха и кружевное счастье невесты, опеночный хоровод расширяющейся семьи, где малыш давно постарел, а плюшевый мишка сохраняет вечную молодость пуговичных глазенок, и так далее, и тому подобное во всех семьях, счастливых и не очень. Но есть другая история, которая не развивается во времени, а развенчивает (развинчивает) своей волчкообразной подвижностью на одном месте сам термин — история. На самом деле, история ли это? Если только история как происшествие, случившееся с душой или телом, или при благоприятном совпадении звезд — с душой и телом, т. е. с судьбой.

Все началось года полтора-два назад во время зимнего сезона театра «Ромэн» в Москве. Как правило, летом театр уезжал на гастролы по городам и весям России и союзных республик. Во время гастролей театр «Ромэн» пополнялся молодыми актерами или му-

зыкантами. Так в Ростове или Воронеже в труппу вошла молодая красавица Вера Павлова. Она происходила из табора, кочевавшего на Северном Кавказе. Это был один из последних российских таборов, старейшины которого старались предохранить старинные обычаи, танцы, песни — от неминуемого растворения в городской жизни, к которой тянулась цыганская молодежь. На зиму вернулись вместе с театром и родители Саши Осинина, музыканты. Так что он частенько заглядывал к ним в театр после репетиций и до начала спектаклей. В тот год стационарное помещение театра «Ромэн» на Пушкинской улице стояло в лесах, а внутри было забито мешками с цементом, ящиками с гвоздями, канистрами с красками, досками и всяческой строительной техникой. В театре шел капитальный ремонт. Так что в этом сезоне цыганский театр играл спектакли и репетировал в гостинице «Советская» на Ленинградском проспекте, поблизости от станции метро «Динамо» и московского ипподрома. Главный режиссер театра Роман Гусев восстановил давнюю постановку пьесы «Очарованный странник» по драматической повести Лескова. Роль цыганки Грушеньки исполняла знаменитая актриса Зоя Обухова. Во втором же составе ее дублировала молодая Вера Павлова. Родители Саши Осинина получили контрамарки и пригласили сына и его жену на спектакль «Очарованный странник». Но Мотю не с кем было оставить, возникла горящая правка верстки во *вчерашний* (по плану) номер «Дружбы народов», а самое главное, Инга хотела отомстить мужу за его недавний отказ пойти с ней в Дом литераторов на вечер барда Александра Городецкого. В довершении всего Саша саркастически усомнился, настоящий ли бард этот Городецкий, если сам не может аккомпанировать своим стихам на гитаре и таскает за собой гитариста. Или у него (Городецкого) особенная привязанность к этому гитаристу? К тому же у Саши был вечерний прием в поликлинике Литфонда, отговориться от которого не было никакой возможности. В ответ на что Инга сильно разобиделась, дала свечку, пошла на концерт одна, и даже упростила свою подружку из редакции «Дружбы народов» Инну Родзянко познакомить с Городецким. Ее познакомили. Она выразила свое восхищение. Ее пригласили на коктейль в бар Дома литераторов. Она все это проделала назло мужу и даже дала барду свой телефон. Иногда Городецкий звонил, как звонил, наверняка десяткам своих поклонниц, для оживления популярности. Если к телефону подходил Саша, то пе-

редавал трубку Инге, язвительно произнося: «Твой барррд!» Получалось: «Бррр!» Так на так и выходило. Отказавшись от контрамарки на «Очарованного странника», Инга полагала, что полностью расквитается с мужем, и все вернется на *круги своя*. Не тут-то было! Во-первых, Саша взял с собой Мотю, который был большим мальчиком. Много читал. Любил театр и т.д. Начал задумываться о взрослых проблемах. Во-вторых, надо же было ему увидеть бабушку и дедушку, когда они играли в составе оркестра (скрипка и аккордеон). В-третьих, пора было Моте понемногу приобщаться к своим цыганским корням. Конечно, Инга согласилась с доводами мужа Саши Осинина, запоздало пожалев, что выказала (*вы — коза!*) глупое упрямство.

По рассказу Саши, совершенно забывшего к этому времени историю с бардом (да и не было никакой истории!), спектакль был потрясающим: князь, Грушенька, актеры, занятые в спектакле, играли великолепно, на *мхатовском* уровне. Особенно Грушенька — Вера Павлова. Сцену, когда над обрывом беременная Грушенька просит убить ее, невозможно было смотреть без слез. Мотя, слушавший пересказ отца, серьезно, может быть, впервые в жизни взрослому сказал: «Папа даже заплакал». «Да, Инг, не мог удержаться от слез!» «Кровь заиграла?» — неосторожно пошутила-заметила вскользь Инга. Но Саша уловил обидную двусмысленность, что не только заиграла кровь, как нормальный физиологический ответ на эмоциональную сцену (с выбросом адреналина и реакцией слезных желез), а кровь цыгана, взывавшая в ответ на трагические слова молодой цыганки. С этого началось то, что периодически происходит во многих семьях, если временно или навсегда тают любовные связи. Возникают недоговоренности, уходы в себя, когда не хочется разговаривать, а если и хочется, не найти правильную искреннюю форму. Подозрительность в мелочах, а нередко и по серьезным поводам. И все это при Моте, который, как чувствительный прибор, улавливал отрицательные микротоки. Тем более, задним числом Инга узнала, что между Сашей и молодой актрисой Верой Павловой развивался роман, хотя и временно обрываясь, восстанавливаясь, прерываясь и снова возобновляясь. Об этом узнала Инга. Узнала значительно позже, когда театр «Ромэн» снова укатил на гастроли по бескрайним просторам страны. Она ничего Саше не говорила, не спрашивала, видела, что он сам раскаивается и страдает.

Но роман, несомненно, продолжался: письма, телеграммы, ночные звонки, которые Саша объяснял своей необходимостью общаться с пациентами-литераторами и их женами, находившимися в писательских домах творчества далеко за пределами Московской области, например, в Ялте, Паланге, Пицунде, Старой Руссе и т.д. К осени театр «Ромэн» снова вернулся в Москву и, поскольку капитальный ремонт стационарного здания театра на Пушкинской улице перекинулся на другой год, спектакли и репетиции проходили снова в гостинице «Советской». Милого доктора Осинина из литфондовской поликлиники видели неоднократно вместе с красавицей Верой Павловой за столиком в шашлычной, которую весьма остроумно назвали «Антисоветская», потому что она дымила и шипела шашлыками, и вдобавок люлякебабила как раз напротив гостиницы с патриотическим названием «Советская». Неоднократно видели и неоднократно сообщали об этом Инге. Саша продолжал запирается в ванной с телефоном, отмахиваясь от логических для жены и сына-подростка вопросов: «Зачем запирается, если это больной/больная?» «Врачебные тайны», — отмахивался от них Саша. Инга ни о чем не спрашивала, мудро решив, что виновата ее собственная фригидность, которая все более и более нарастала по мере ее обиды на Сашину неверность. Она даже пыталась подбирать эротические ночные рубашки или смелые для ее поколения трусики и лифчики, но неестественность ситуации и недоумение в глазах Саши еще более закрывали ее доступ к его душе равно как и телу. Более того, Инга завела роман с Александром Городецким, вбив себе в голову, что он — большой поэт, а она — влюбленная в него муза. Ее редакторство в журнале вполне способствовало легальности их отношений. Общепринятой нормой было, когда редактор и автор за чашечкой кофе и рюмкой коньяка обсуждают последние правки для горячей верстки в одном из баров Дома литераторов. Вполне естественным было продолжить обсуждение на скамейке в одном из ближних скверов, скажем, на Цветном бульваре. Ничего странного не было в любезном приглашении знаменитым бардом Инги к себе домой (на улице Горького, в двух шагах от памятника Пушкину). Эти кофепития с вычиткой верстки или чтением новых стихов Городецкого и последующими рандеву у него дома (жена с дочкой отдыхали в Коктебеле) не дали ей ни радостной мести (Саше), ни эротического счастья (с Городецким). Она с ужасом обнаружила, что ни с кем ничего не хочет.

Самым обидным в ломающемся семейном быте Осининых было несомненное одобрение родителями Саши его романа с молодой актрисой Верой Павловой. Еще на что-то надеясь и веря — не веря, что такое могло случиться с ней и с ним, Инга пригласила стариков Осининых в кафе «Десятая муза» в Камергерском переулке поблизости от МХАТа. За чашкой кофе с пирожными очень осторожно Инга рассказала им о своих семейных проблемах. «Но ведь у Саши настоящая любовь, милая моя!» — сказала мать (скрипка). А отец (аккордеон) поддержал: «Кто же отказывается от такого счастья! Надо радоваться за него!» Кончилось все это внезапно, месяц назад. Инга любила прогуляться перед работой, которая начиналась обычно в полдень, от метро «Маяковская» до улицы Воровского, где в правом крыле особняка Союза Писателей располагалась редакция «Дружбы народов». Обычно Инга переходила площадь Маяковского, огибая памятник поэту, разглядывала афиши перед входом в театр «Современник», шла вдоль Садового Кольца мимо дома, где жили родители Саши (никогда к ним не заходила), оставляла за спиной посольство Пакистана, Детскую больницу имени Филатова, Планетарий, пересекала Садовое Кольцо на уровне площади Восстания, оказывалась сначала на улице Герцена, а потом на Воровского, где была ее редакция. И в тот день Инга шла мимо дома Сашиных родителей, с грустью думая в который раз, что у нее с ними нет никаких отношений, да и у Моти — почти никакой тяги к бабушке и дедушке Осининым. Из-за чего? Может быть, вот так без предупреждения зайти, сказать, что умирает как хочет кофе, проголодалась, не угостят ли ее, или сказать еще какую-нибудь чушь, попытаться показать им, что она своя, и они любимы ею. Она поднялась на лифте и позвонила в их квартиру. Вышла старая женщина — соседка Осининых по коммуналке. Она выказывала симпатию Инге в тех редких случаях, когда Осинины-младшие навещали Сашиных родителей. Соседка за глаза называла их «музыкантами». Она с недоумением посмотрела на Ингу. «Музыканты, как будто, с утра уехали по магазинам, а вот их сынок, кажется, там, — она показала на дверь в комнату. — И, сдастся мне, Сашка-то не один». Инга постучалась в комнату Осининых-старших. Вышел Саша в махровом халате. Наверняка он думал, что вернулись родители или соседка зовет его к телефону. Увидев жену, он застыл от ужаса. Инга вошла в комнату. Спустив длинные ноги с кровати, голая молодая смуглая женщина натяги-

вала колготки персикового цвета. У нее были высокие груди с шоколадными сосками, а взгляд шоколадных глаз пробивался сквозь змеистые кольца блестящих локонов с таким недоумением и безразличием к Инге, что она мгновенно осознала себя лишней в этой комнате. И ушла.

Саша переехал к родителям. Кончился зимний сезон, и театр «Ромэн», а с ним красавица Вера Павлова уехала на гастроли. Так что комната «музыкантов» была в полном распоряжении Саши. Два раза в неделю Мотя приезжал к отцу. Они проводили вместе вечер (если это были будни), или весь день (субботу или воскресенье). Мотя ни о чем не спрашивал, словно понимал, что спрашивать бесполезно, да и словами горю не поможешь. Только становился все замкнутее и молчаливее. Саша видел эту перемену в сыне, который из открытого веселого мальчика превратился в тихого старичка: где посадишь, там и будет сидеть; что предложишь, то и съест. Саша видел эту перемену в Моте и страдал. То же было с Ингой: видела и жалела сына. Наконец, они оба не выдержали, договорились встретиться, обсудить. Слово бы назло судьбе или, скорее, назло тяжелой памяти встретились у выхода из метро «Динамо» и отправились в шашлычную напротив гостиницы «Советская». Официант давно принес «Цинандали» и шашлыки, кофе и пирожные, а они все не решались заговорить о главном. Да так и обошли разговор о Моте. Каждый лукавил, мямля о том, что плохо друг без друга, что совершили ошибки и т.д. Инга рассказывала подробную правду о встречах на квартире у барда Городецкого, нарочно, как садистка, с вкраплениями эротических деталей, потому что не смогла простить шоколадные соски и шоколадный взгляд цыганки Веры Павловой. Рассказала, чтобы выжечь обиду натуральной картиной своей физической измены. Но не выжгла, а опалила тоской и неверием. Тем не менее, Саша вернулся к Инге и Моте на квартиру у «Речного Вокзала». Семья восстановилась.

«И слава богу!» — сказал я, показывая, что собираюсь покинуть СВ и уйти в свое купе на четверых, дав отдых себе и спутнице. «Да, для Моти, слава богу! Хотя, мне кажется, он и не верит в перемену к лучшему». «Ну, не все сразу!» — продолжал я пустословить. «В главном никогда не наладится. Да и спим мы отдельно. Даже не знаю, почему я до такой откровенности с вами дошла». «Вполне логично: я вам про Ирочку, вы мне про Сашу. Можно вас поцеловать?» «На прощанье?» «Нет, на встречу!» «Можно!» —

Инга засмеялась и задорно встряхнула светлыми прядями волос. Она ждала, и я на мгновение уловил зовущий взгляд ее фиолетовых глаз. Мои пальцы осторожно обхватили ее узкие запястья и притянули ее тело к моему. Я поцеловал ее. Она ответила мне поцелуем. Мои ладони скользили по ее женственному тазу, бедрам, промежности. Я наблюдал за вспыхивающей по временам чуть испуганной улыбкой с ямочками около уголков рта. Она была голая под халатиком. Моя ладонь легла на упругие волосы лобка, а нетерпеливые пальцы проникли внутрь ее плоти. Я почувствовал, как из нее начинает сочиться влага желания. Исступленно, как в лихорадке, Инга целовала меня, торопя раздеться и овладеть ею. Не знаю, заглушал ли стук вагонных колес наши крики и стоны, мы ни о чем, кроме удовлетворения своей ненасытной страсти, не думали. Наверно, это был долг, который возвращала нам природа за отстранение меня от Ирочки, а Инги от Саши.

Из сумасшедшей поездки по Литве остались в памяти картины средневековых соборов и величественных рек. В Вильнюсе — Нерис, а в Каунасе — Нерис и Нямунас. Готические костелы стояли в центре древних городов, а конструктивистские гостиницы — в окружении парков, на берегах великих литовских рек. В гостиничных ресторанах мы встречались с местными писателями, в заводских или колхозных клубах читали стихи рабочим и крестьянам, собранным по разнарядкам местных райкомов и исполкомов. В величественном соборе святой Анны вручались премии за переводы из литовской поэзии. Все было замечательно, дружелюбно, весело, несмотря на холодную войну с Америкой и Западной Европой и оккупацию Литвы русской армией. Или несмотря на поголовное уничтожение литовского еврейства во время Второй мировой войны. Ни гости, ни хозяева старались не замечать эту странную алогичность. Как будто бы приехали из России в Литву не представители русского народа-оккупанта и принимают их не сливки оккупированного народа (коллорабонационисты), а равноправные братья по писательскому ремеслу, желанные коллеги, радужные хозяева. И балагурские тосты русского поэта Богова, и ответные устные фельетоны литовского прозаика Тримониса вполне соответствовали и этому двойственному настрою: делать вид, что все хорошо, и не ставить гостей и хозяев в неловкое положение. До сих пор вспоминается не прекращавшееся разгульное веселье, сопровождавшее наш громадный туристский «Икарус» венгерского

производства, с легким шуршанием скользивший по дорогам Литвы. Вначале я чувствовал себя неловко, словно бы пришел из дома, где царит печаль, в цирк-шапито, да еще не с одним, а с четырьмя клоунами. Наверно, Инга чувствовала нечто подобное. Но постепенно, по мере отрыва от Москвы, от прошлой жизни, где на одной орбите летала моя Ирочка, а на другой — Саша Осинин, прошлое затуманивалось, и оставалась молодая красивая женщина, которая полностью принадлежала мне. Иногда кадры прежней жизни, в которой наша компания роилась вокруг Ирочки, вспоминались мне с необыкновенной яркостью наверняка только для того, чтобы помочь мне осознать, как я счастлив теперь. При первой возможности Инга звонила в Ленинград, куда отправила Мотю к своим родителям, и, возвращаясь ко мне, оживленно рассказывала, какие умные книжки читает ее сын и как ему хорошо с ленинградскими дедушкой и бабушкой. Однажды Инга вернулась с переговорного пункта если не грустной, то несколько приглушенной: муж вырвался на день в Ленинград навестить сына, и передавал ей приветы от сына и ее родителей. Но затуманенность ее милого лица мгновенно ушла, как только Богов, сидевший неподалеку от нас, рассказал смешную историю, как он по направлению союза писателей выступал со стихами в исправительно-трудовом лагере для малолетних преступниц, и как одна из них пригласила его на свидание в первый же день после освобождения и возвращения в Москву: «У памятника Юрию Долгорукому!»

Автобус хохотал. Бутылка коньяка ходила по кругу. Мы мчались по Литве, чтобы оказаться на очередном заводе или в очередном колхозе, и определенно — на очередном банкете, приеме, застолье, где мы читали стихи, рассказывали правдоподобные небылицы, привыкая к мысли, что каким-то образом вся эта соблазняющая и жесткая система существует, работает и, кроме страха, приносит удовольствия. Мы настолько привыкли к жизни бременских музыкантов, что страшно было хоть на минуту отрезветь и вспомнить о реальности, из которой мы шагнули в утопию *братства народов и завершеного социализма*.

С нами в поездке был прозаик Штерн с сыном по имени Антон, ровесником Моти. Инга скучала по Моте и время от времени заговаривала с Антоном. Прозаик Штерн, вообще-то человек нелидкий и погруженный в раздумья, пересилил себя и спросил Ингу: «У вас тоже есть сын?» «Да, Мотя, такого же возраста, как

Антон». «Он остался дома с отцом?» Впервые я увидел Ингу в абсолютном смущении. Конечно, это было из-за меня. Слава богу, что прозаик Штерн оказался достаточно тактичным и сообразительным, чтобы закончить разговор. Это послужило нам обоим отвлекающим уроком. Надо было решать ее и мою жизнь: Инге разводиться с Сашей, мне — уходить из Ирочкиного сообщества. Или как-то по-другому.

Мы вернулись из Литвы. В поездке все казалось простым и естественным: Инга поговорит начистоту с Сашей Осининым. Я откроюсь Ирочке. Люди они цивилизованные. Поймут. Но разговоры откладывались.

По воле судеб Кооперативный театр снова оказался в Доме культуры общества слепых, где когда-то начинал с «Короткого счастья Фрэнсиса Макомбера» по Хемингуэю. Продолжая показывать «Попрыгунью», мы готовили постановку любовно-авантюрного романа Прево «Манон Леско». Еще до поездки в Литву я сочинил план сценария будущей пьесы. План предстояло обсудить с Ирочкой. Это было и формальным, и реальным предлогом для нашей встречи. Ирочка приняла меня в той же самой комнатке за сценой, где когда-то обсуждался наш первый спектакль. В последний раз я видел Ирочку, когда она была с Роговым и не впустила меня. И снова мы встретились, как будто ничего плохого не произошло между нами. Да, она уезжала на Кавказ. Да, я побывал в Литве. Если я знал про Вадима Рогова и Ирочку, то не сомневаюсь, она тоже догадывалась о существовании другой женщины в моей жизни. Ирочка сварила кофе в немецкой электрической кофеварке, которую привез ей один из поклонников — режиссер Берлинского драматического театра. Что говорить, как только я находился поблизости от Ирочки, мне казалось невероятным, что я мог жить без нее, да еще заниматься сексом с другой женщиной. Умом я понимал, что мой роман с Ингой — это не миф, не сновидение, в конце концов, не бред эротомана, а нормальная влюбленность в красивую умную женщину. Но все это заслонялось реальной Ирочкой, которая была прекрасней и проницательней всех других, пришедших из мифов и сновидений: сероглазая, с короткой ультрамодной стрижкой волнистых каштановых волос, со спортивной посадкой головы на длинной шее, перетекающей в такую стремительную и стойкую грудь, какой не было ни у какой женщины в мире. Мы пили кофе. Надо было обсуждать план будущей пьесы, а мы сидели

молча, как будто впервые встретились. «Знаешь, Даник, я перед тобой виновата. Помнишь, ты привез мне «Попрыгунью» с моими пометками, а я не пустила тебя из-за Вадима?» «Давай, не будем вспоминать, Ирочка?» «Ладно, не будем! Лучше, сделаем по-другому. Захватим план пьесы «Манон Леско», купим по пути бутылочку хорошего вина и махнем ко мне. Там и обсудим. Моя машина припаркована прямо у входа в Дом культуры». «Отлично, Ирочка! Я не знал, что у тебя появилась тачка». «Собственно, это машина нашего Театра. Рогов помог получить через Российскую кооперацию». Мы выбежали на улицу. У входа в Дом культуры стоял новенький автомобиль марки Жигули ярко-карминного цвета. Очень красивый. Ирочка открыла двери и села за руль. Я сел рядом, восхищенно наблюдая, как Ирочка плавно крутит руль и переключает скорости. «Ты не представляешь, Даник, как было трудно получить права. Ездил сдавать вождение несколько раз, пока не обратилась к Николаю Ивановичу Лебедеву». «Он еще существует?» (Я хотел спросить: «Существует ли в твоей жизни?») «Еще как! Между прочим, очень интересуется твоими стихами. Неопубликованными». «Ну, знаешь, Ирочка, я бы обошелся без подобных читателей!» «Напрасно, Даник, пренебрегаешь. Поэты никогда не обходились без могущественных вельмож. Взгляни на историю! Поэты Рима и древней Греции. Поэты Востока: Хайям, Хафиз — ни один из них не пробился бы без поддержки власть имущих. А Евтушенко с Вознесенским? Говорят, что без благословения председателя иностранной комиссии союза писателей ни один из них не выезжает с гастролями на Запад». «Пусть их, Ирочка! Я живу по-другому. Виссарион тоже обходился без компромиссов». «Виссарион — гений! И все равно, посмотрим, как у него сложится в Америке. Там тоже приручают писателей премиями и почетными креслами в университетах». «Я в Америку не собираюсь, Ирочка, дорогая. А здесь обойдусь без протекции *товарищей лебедевых*». По невоспитанности я выпалил лишнего. Я это заметил. Всегда доброжелательное и живое лицо Ирочки застыло на мгновение, пока я не извинился: «Прости, Ирочка, ради бога!» «Прощаю. Ты ведь был и остаешься колючим питерским подростком с Выборгской стороны. Но чтобы закончить разговор о Лебедеве, не покончить с ним (она захотела для полной разрядки), а закончить разговор на хорошей ноте, скажу тебе, что Николай Иванович воспитал прекрас-

ного сына — Колю, который получил диплом актера в Щукинском театральном училище, и у меня большие виды на него в связи с «Манон Леско».

Мы расположились на кухне с бутылкой «Алазанской долины», проходясь по плану пьесы, где Ирочке доставалась (по праву первородства) роль красавицы Манон Леско, а Коле Лебедеву (если он пройдет успешно первую читку, а потом начальные репетиции) посчастливится играть кавалера де Грие. Недаром Ирочка выбрала именно эту повесть, написанную во Франции в конце 18 века. В определенном смысле героини «Короткого счастья», «Попрыгуньи» и «Манон Леско» были похожи. Они мелькали по жизни в жажде развлечений. Конечно, Манон пускалась в опасные авантюры, завязывала многочисленные любовные связи, грабила своих любовников, не раз оказывалась в тюрьме и закончила жизнь в ссылке в Америке, вблизи Нью-Орлеана. Но все это не из-за денег. Автор устами кавалера де Грие подчеркивает эту особенность Манон: «Ни одна девица не была так мало привязана к деньгам, как она...». Зачем же обманывала многочисленных любовников, потрошила их кошельки, грабила, втянув в преступные приключения невинного прежде де Грие? Единственно, из жажды наслаждений и приключений. Деньги только открывали путь к тому, что в наши дни называется *фаном*. И как предупреждение, вполне привлекательное для театральной цензуры — смерть Манон в Америке, в эмиграции, говоря современным языком, или в ссылке, если приравнять современную Сибирь колониальной Америке. Замечу, что мы должны были отдавать пьесы до начала репетиций — в цензуру. Чему соответствовал термин: *залитовать* произведение. В это время в Москве, Ленинграде, да и других городах мало-помалу начались выезды в Израиль и США. Это были (неожиданные?) разрешения, полученные ординарными безобидными гражданами или антисоветчиками-диссидентами, которых, по сложившемуся представлению, *выталкивали* за пределы СССР. Все это были редкие случаи. Исключения. Система насилия не хотела *открывать шлюзы* даже вполне аполитичным гражданам страны. Или делала это крайне ограниченно. Диссиденты же намеренно или по ответному сопротивлению советской системы оказывались в рискованном положении: всегда был риск либо тюрьмы, либо ссылки. И как редкий случай *везения* — высылки в эмиграцию, за границу. В этом смысле будущее пьесы «Манон Леско» с трагиче-

ской смертью *диссидентки* Манон в Америке, было весьма двусмысленным. А разве Манон не была сексуальной диссиденткой, вступая в многочисленные любовные связи? И не была ли сама постановка пьесы «Манон Леско» рискованным шагом нашего художественного руководителя и, одновременно, ведущей актрисы Ирочки Князевой? Ставка оказывалась равной жизни.

Закончив обсуждение театральных дел, которые нам обоим показались весьма рискованными, но сулящими сценический и кассовый успех, мы приступили к бутербродам с осетриной горячего копчения, которые запивали красным вином и кофе. Из кухни мы перешли в спальню и занимались любовью, как будто бы никого, кроме нас двоих, не было в целом мире. Потом мы уснули, и ее ягодицы прижимались к моему животу и моему паху, а ее груди лежали в моих ладонях. Когда мы проснулись, Ирочка спросила меня: «Скажи, Даник, у той, с которой ты гулял по Литве, были такие же красивые груди, как у меня? И такая же сладкая жопа?» Ирочка почти никогда не употребляла грубых слов. Так, очень редко, при исключительных обстоятельствах.

За несколько лет кружения по московским домам культуры и клубам у Кооперативного театра сложилась устойчивая и преданная аудитория. Постепенно из нескольких десятков самодеятельных актеров дюжина зацепилась за нас. Правда, никому из них Ирочка не могла дать постоянную работу, то есть, деньги на жизнь они продолжали добывать своими основными профессиями. Поскольку эти актеры днем работали, репетиции нередко проводились после спектаклей, чуть ли не до полуночи. Но Ирочка и ее администратор, пришедший на смену Ксении Арнольдовне, все же ухитрялись платить Коле Лебедеву (сыну капитана Лебедева), который стал первым, кроме Ирочки, штатным актером Кооперативного театра. Коля был нашим любимчиком, баловнем, вундеркиндом. Веселый, синеглазый, с шапкой волнистых белокурых волос, он напоминал Есенина. Так и называли мы его: наш Есенин. Он вполне это оправдывал. Почему Коля прижился в нашей полупрофессиональной труппе, а не прошел по конкурсу в любой другой театр, было для меня загадкой. Магнетизм Ирочки? Наверняка хотя бы отчасти. А главным образом, почему? Пожалуй, из-за стремления приобщиться к внутренней свободе, которая была у всех нас. Ведь привязанность к Ирочке была добровольным счастьем, которое каждый из нас оберегал. Особенно подру-

жился Коля с Глебушкой Карелиным и Юрочкой Димовым. Я имею в виду внешнюю приязнь, которую испытывали к Коле Лебедеву музыкальный руководитель и художник театра. Думаю, что они сохраняли определенную дистанцию в отношениях с Колей Лебедевым. Мы все постепенно поняли, что у Коли — специфические сексуальные наклонности, которые во времена совдепии карались законом и могли привести в тюрьму. И это при высоком положении капитана Лебедева! Наверно, чтобы предотвратить осложнения, капитан Лебедев определил сына в Кооперативный театр. Люди у нас были порядочные и не склонные к доносам. Коля был талантливый актер и, к тому же, Ирочка не могла отказать своему другу и покровителю.

Мы всю репетировали «Манон Леско», предполагая начать спектакли ранней весной. А сейчас был январь, детские утренники с елками, Снегурочками и Дедом Морозом. Какими-то неведомыми силами, а вернее, при помощи неизвестных мне связей, Ирочке удавалось получать постоянные заявки на Новогодние представления. Конечно же, не только для слепых детей. В основном, это были обыкновенные школьники из разных районов Москвы, получавшие красивые подарки и с энтузиазмом плясавшие вокруг пышной новогодней елки в зале Дома культуры общества слепых. Этот новогодний перерыв в спектаклях позволил нам пополнить кассу театра и закончить репетиции «Манон Леско». Все шло как нельзя лучше. И прежде всего, новая волна нашей с Ирочкой любви. Я не мог обманывать ее, и еще в первую встречу после долгой разлуки (физической, потому что метафизически она всегда была со мной) рассказал ей об Инге. Тем более что Ирочка сама все почувствовала или внутренним видением знала о моей любовнице все, вплоть до анатомического сравнения себя с Ингой.

Невозможно было расстаться с Ирочкой. Наши свидания могли происходить ежедневно, еженедельно или вовсе прерываться на месяц, полгода, годы, а потом снова возобновлялись. Ну, что такое день и месяц по сравнению с жизнью в космосе любви?

С Ингой все сложилось не так, как мы оба мечтали, скача на венгерском «Икарусе» по дорогам братской Литвы. Или проникая тайком в ее или мой гостиничный номер и занимаясь сексом, как ненасытившиеся семейной жизнью любовники, сбежавшие из-под надзора законного мужа или законной жены. Я не мог лгать и рассказал ей про Ирочку. Всю мою с Ирочкой историю Инга знала

раньше, еще тогда, во время нашего путешествия в купе СВ по пути в Литву. Анатомию же нашей с Ирочкой любви я никогда не раскрывал Инге. В этом была разница моих отношений с той и другой. Ирочка была моя виртуальная жена. Инга — земная любовница. Разговоры о будущей семейной жизни, которые мы вели во время путешествия по Литве, улетели, как летний утренний туман, разогнанный разгорающимся жарким днем.

Больше я не заговаривал с Ингой о том, как она разведется с мужем, я перееду к ней на Речной вокзал, а Саша — в мою комнату на Патриарших прудах. Даже тогда, во время беззаботного путешествия, ничем не нарушавшего наших туманных фантазий, мы заходили в тупик, когда речь шла о Моте. Из-за него Инга не разводилась с Сашей. У нее была своя теория: мальчик должен расти в доме, где есть мужчина. Родной это отец или отчим — не столь важно. Со мной все оказывалось не так просто. То есть, Инга поняла, что я навсегда привязан к Ирочке, и пока она *не отпустит* или *не отторгнет*, я добровольно не уйду из ее круга. У Саши наверняка были свои сомнения в отношении молодой актрисы Веры Павловой: разница в возрасте и продолжительные разлуки из-за гастролей цыганского театра. Да и жить им вдвоем было негде. Не поселяться же в одну комнату на Садовом Кольце вместе с Сашинными родителями! Так что все свелось к тому, что Саша никуда из дома не ушел, а переехал в свой кабинет, раскладывая на ночь тахту и проводя одинокие вечера (если не встречался с Верой Павловой или не дежурил, или не шел в медицинскую библиотеку и т.д.) — один. Конечно, Мотя заглядывал к отцу. Они обсуждали книжки, которые Мотя читал в это время, проходились по домашним заданиям, смотрели вместе кинофильмы по телевизору, или отправлялись в тир, цирк, бог знает куда! Зимой же спасали лыжи и коньки. Благо, можно было от подъезда докатить по лыжне до парка, раскинувшегося вокруг Речного Порта. Все это так, но дома существовала запретная для Саши Осинина зона — бывшая их с Ингой спальня, которая теперь называлась Ингиной комнатой.

Чаще всего мы встречались с Ингой у меня. Она убегала из редакции на час-полтора. Благо, до Патриарших прудов было пятнадцать минут ходьбы от Дома литераторов. Я встречал ее у подъезда. Но еще раньше, за несколько минут до того, как она подбегала ко мне, я видел ее рыжую лисью шубку, мелькавшую вдоль заснеженного берега пруда. Лисья шубка была нараспашку, свитер обтя-

гивал груди, светлые волосы падали на рыжий воротник, вязаная эстонская шапочка с красным орнаментом была зажата в левой руке, а правая махала мне, как будто бы я мог не дожидаться и уйти без нее. Мы пробегали через полутемный подъезд, взлетали на третий этаж, открывали квартирную дверь и, всегда с какой-то опаской, словно мы совершаем преступление, торопливо проходили коммунальным коридором в мою комнату. Каждый раз я давал себе слово, что буду терпелив, что надо дать Инге время отдышаться, придти в себя, переключиться от хотя и сломанной, но все-таки семейной жизни, от редакционной рутины, от случайных прохожих, которых она миновала, спеша на тайное свидание со мной, от рева и липкого раздавленного снега на Садовом Кольце, от всего, что не есть наша любовь. «Не торопись, милый», — говорила она, а сама не могла остановить мои губы и руки. Однажды, когда Саша Осинин был на врачебной конференции в Москве, Инга позвонила мне: «Приезжай!» Это была среда, ее библиотечный день. В те далекие брежневские времена, да и раньше — в хрущевские — святое дело для всякого редактора было *задробить* один, а то и два библиотечных дня в неделю. Компьютеров в те времена не было и в намеке. Считалось, что по библиотечным дням редакторы идут, едут, спешат в крупнейшие библиотеки, скажем, в Ленинскую, и в справочном зале или обширной картотеке разыскивают и находят книги, при помощи которых они *снимают* спорные вопросы, то есть, разрешают споры с самими собой, авторами и цензорами. У Инги библиотечным днем была среда. Она позвонила мне: «Приезжай!» Я добежал до площади Маяковского, купил цветы в киоске около зала Чайковского, спустился в метро и через полчаса был на Речном Вокзале. Дом, где жила семья Осининых, находился в десяти минутах быстрой ходьбы от метро. До этого я был там один раз. Да и то ждал Ингу в такси у подъезда. Так что ничего толком не запомнил. Даже старинную церквушку, открывшуюся справа от Ингиного дома, видел словно впервые. Снег лежал на воротах, на куполке церквушки, на деревьях вокруг ограды, на крестах церковного кладбища.

Квартира Осининых была во втором подъезде на шестом этаже. Дом стоял на пересечении улиц, застроенных новыми крупноблочными домами, окрашенными чаще всего в зеленые или розовые тона. Модель новостройки коммунизма на окраине Москвы. Тут тебе и прошлое (церквушка с золотым куполком) и будущее —

крупноблочные строения. *Живи и помни!* У самого подъезда стояли две молодые мамы со спящими малышами в синих колясках с поднятым верхом. На одной молодой мамаше был коричневый шерстяной берет, на другой — серый пуховый платок. Когда я проходил в подъезд, они воззрились на меня, а потом переглянулись в недоумении, как будто бы горожанин объявился в деревенской глуши. Я прошел мимо них, кивнув. Они ошарашено промолчали. Лифт работал. Я поднялся на шестой этаж и позвонил. Инга открыла мне и, заперев дверь на засов, накинула цепочку. Она была в домашнем халатике, напомнившем летнее платье в мелкий цветочек, которое она любила носить когда-то на даче в Михалково. Она обняла меня, поцеловала и провела на кухню. Потом спросила: «Накормить тебя?» — «Нет, спасибо». Я не хотел ни есть, ни пить. Какое-то предчувствие мешало моему свиданию с Ингой. Как будто бы я — один из любовников Манон Леско, в то время как ее муж — кавалер де Грие (конечно, муж, несмотря на ее измены — *муж!*) спешит возвратиться домой: в карете, такси, в вагоне метро, на поезде, в самолете. Я осознал, что переработался, слишком погрузился в лихорадочные ночные репетиции пьесы «Манон Леско», слишком *вошел в образ*. То есть, разыгрывал мысленно роли неверной возлюбленной, ее несчастного мужа и богатых покровителей-любовников. Я так погрузился в свои мысли, что не заметил, как Инга сварила кофе и поставила на стол бутылку коньяка. Мы выпили по рюмке. Она рассказывала о каких-то редакционных делах и происшествиях, имеющих отношение к переводам стихов современного грузинского классика: редакция по ошибке заказала одни и те же подстрочники стихотворений двум крупным поэтам-переводчикам, и теперь не знает, как выпутаться из назревающего скандала. История была из ряда вон выходящая и на какое-то время отвлекла меня от тяжелых предчувствий. Я как будто бы встряхнулся и посмотрел на происходящее со стороны. В чем было сомневаться и чего тревожиться? Со мной красивая молодая женщина, в которую я влюблен и которой я добился, наконец-то, хотя мысленно добивался с десятков лет. Мы одни. Никто не мешает мне обнять ее, увести из кухни в спальню, расстегнуть цветастый халатик, постепенно раздеваясь и сбрасывая пиджак, джинсы, рубашку и погружаясь в нее до самого последнего сладостного стога. Потом Инга убежала в душ, а я валялся на кровати в полусонном блаженном состоянии, которое приходит после обладания желанной

женщиной. Раздался дверной звонок. Потом серия длинных нетерпеливых звонков. Дверь из спальни в коридор была открыта. Я видел, как Инга выскочила из ванной, на ходу вытираясь банным полотенцем и напяливая халатик. Она крикнула мне: «Не выходи из спальни!» Я мгновенно оделся. Кто-то грохотал в дверь квартиры. Я слышал, как Инга, наверно, приоткрыв дверь на длину цепочки, убеждала кого-то успокоиться и уйти. Мне показалось, что ей удалось убедить. Грохот в дверь прекратился. Я вышел из спальни. Инга рыдала. Наконец, пересилив себя, сказала: «Это Саша. Он прилетел на день раньше! Какой ужас! Какой позор! Слава богу, я уговорила его уехать к родителям, а завтра встретиться и трезво обсудить наши разводные дела».

Но она ошиблась. У каждого есть свой предел благоразумия и свой порог здравого смысла, когда безумие и жажда мщения перебивают даже хорошие выдержанные натуры. Тут действуют разные факторы: темперамент, воспитание, наследственность, способность вырабатывать адреналин — гормон активности и тестостерон — гормон агрессивности. Я пытаюсь честно анализировать все, что произошло между мной и Сашей Осининым в тот злосчастный зимний полдень. Я находился наедине с Ингой, а ее *муж*, все-таки *муж*, застал нас в их квартире. Застал поистине на месте преступления. Все было, как в старинном водевиле. В чем-то ситуация напоминала многочисленные трагикомические сцены из «Манон Леско», когда кавалер де Грие заставал свою возлюбленную жену Манон с одним из ее богатых покровителей и вступал в сражение за честь (ее? свою?). Нечто похожее произошло в тот злосчастный день. Едва я откинул дверную цепочку, как увидел Сашу, стоявшего на лестничной площадке. Лицо его было искажено гневом: необычайная бледность, оскаленный рот, сверкающие угли глаз. В правой руке он держал охотничий нож. Подобные ножи без ограничения продавались в магазинах «Охота — рыболовство».левой рукой он с силой толкнул меня в грудь, и я оказался снова внутри квартиры. Инга не успела захлопнуть дверь, и Саша шагнул в квартиру. Он бормотал что-то невнятное и угрожающее, из чего я понял, что он заколет меня немедленно, едва выяснит «кое-какие подробности моих развратных отношений с его женой». Инга умоляла Сашу остановиться и даже попыталась схватить телефонную трубку, чтобы вызвать милицию (она так и выкрикнула ему: «Я вызову милицию!»), в ответ на что Саша выхва-

тил у нее трубку и швырнул на пол. Это был простой и определенный в своей терминальной символичности акт человека, которого я всегда принимал за интеллигента, и, наверняка, он им оставался, а безумие было кратковременной реакцией на совершенно запредельное поведение жены. А как же нож? Саша предвидел наше с Ингой randevu и запасся ножом? Словом, это был явный акт устрашающего насилия, где вырванная из рук трубка была метафорой затевавшегося в Сашиной обезумевшей голове преступления. Инга, как помешанная, уселась на кухонный табурет, рыдая и положив голову на руки, с психологической достоверностью напоминая мне давнишнюю сцену времен войны и эвакуации на Урал, когда хозяйка избы, в которую нас поселили с мамой, рыдала над похоронкой сына. Это теперь, по прошествии нескольких десятков лет, я даю описание сцены с охотничьим ножом с достаточной долей самоиронии. Но поверьте, тогда ситуация была крайне опасной. Я думаю, что Саша находился в состоянии временного безумия. Такие случаи описаны в психиатрии. Саша держал в правой руке охотничий нож, приставленный к левой половине моей грудной клетки. Трудно было судить о его истинных намерениях, но вид у него был угрожающий. Для подтверждения смертельной опасности, которой он меня подвергал, Саша проткнул кончиком ножа мою рубашку и кожу под ней. Я едва сдержался, чтобы не вскрикнуть от боли. Кровавое пятно выступило на рубашке. Вид крови не остановил Сашу, а возбудил. Это значило, что безумие нарастало. Он бормотал что-то невнятное, какие-то обрывочные фразы, из которых следовало, что я должен поклясться, что никогда больше не встречу с Ингой. Время от времени он повторял: «Я не отдам тебе моего сына добровольно! Я лучше убью тебя, чем ты получишь моего сына и мою жену!» И т.д. и т.п.

Я лихорадочно соображал, что же делать? Для подтверждения своих намерений убить меня, Саша еще несколько раз прокалывал мою рубашку и кожу. Кровь просачивалась в местах ножевых ран. Струйка крови потекла на пол. Инга умоляла меня смириться и пообещать Саше, что мы с ней расстанемся навсегда. Вместо этого я попытался звать к его благоразумию, хотя бы остаточному. «Хорошо, Саша, вы убьете меня или тяжело раните. Неминуемо вас арестуют и осудят на большой срок. Что будет с вашими родителями? С Мотей? Их жизни будут искалечены навсегда». Но мои разговоры еще больше злили его. Видно было, что все тяжкие по-

следствия преступления, на которое он решился, были обдуманы раньше. Мы стояли рядом с квадратным кухонным столиком, на который уронила голову плачущая Инга. Я заметил массивную хрустальную пепельницу, которая лежала на столе. Наверно, на высоте опасности возможно возникновение чуда. Возникновение энергии, которая во вселенских глубинах вызывает зарождение исключительных событий или даже исключительных перемещений космической энергии. Меняет всю жизнь. Нечто подобное произошло в тот момент. Инга оторвала голову от стола и позвала: «Саша, Саша!» Что она хотела сказать? Еще раз попробовать позвать к милосердию мужа? Напомнить об их сыне? Отвлечь Сашино внимание и — кто знает? Дать мне возможность вырваться из-под ножа? До сих пор не знаю, что хотела сказать Инга, произнося: «Саша, Саша!» Для меня эти слова стали сигналом к попытке освободиться от унижительной и опасной роли жертвенного барана. Я заметил, что Саша отвел от меня взгляд и посмотрел на Ингу. Этого мгновения мне было достаточно, чтобы схватить со стола хрустальную пепельницу и ударить по голове моего врага. Саша свалился на пол, как мешок с камнями. Из его рассеченного лба хлынула кровь. Я бросился к нему. Рана была небольшая, но от сильного удара он потерял сознание. Инга обработала раны йодом и наложила Саше повязку из лейкопластыря и марли. Саша продолжал лежать на полу. Дыхание у него было ровное и не внушало сильной тревоги. Я пошел в ванную, смыл кровь с кожи груди, обработал места ножевых уколов йодом и тоже наложил лейкопластырь. Инга дала мне одну из Сашиних рубашек, и я переоделся. Потом она выбежала на лестничную площадку выкинуть нож в мусоропровод. Через несколько минут Саша открыл глаза. Мы помогли ему подняться и отвели в ванную. Он умылся. Я ждал: что будет дальше? Инга сказала: «Саша, давай мы отвезем тебя в травматологию. Мало ли что?! Наложат швы. Сделают рентген». «Хорошо, Инга, но тебе не надо ехать. Где нож?» «Я выкинула его в мусоропровод, Саша». «Правильно сделала. Я такой дурак. Пообещай, что ничего не скажешь Моте. Хорошо?» «Хорошо, Саша». «Даня, прости меня!» «И ты прости меня, Саша!», — ответил я. Потом он сказал: «Если можешь, отвези меня в травматологию. Парочку швов надо бы наложить».

Мы вышли из дома. Падал снег. Из-за поворота выскочило такси. Зеленый фонарик пробивался сквозь шапку снега. Я остано-

вил такси и сказал водителю, чтобы ехал в 52-ю больницу. Машина мчалась по Ленинградскому шоссе, разрезая снежное месиво, которое не успевали разгрести железные скребки, напаянные на поливальные автомобили. Время от времени я спрашивал: «Как ты, Саша?» Он кивал и вежливо улыбался, забившись в угол заднего сидения, или коротко отвечал: «Порядок!» Мои раны, заклеенные лейкопластырем, горели и свербели. Но что это была за ерунда по сравнению с тем ударом, что я нанес ему пепельницей! Могли я поступить иначе? Он был ведь в настоящей безумии, и сотрясение оказалось шоковой терапией. Я молил Бога или судьбу, не знаю, какие метафизические силы я выбирал моим исковерканным советским режимом сознанием. Я молил, убеждал, просил эти потусторонние силы, уберечь Осинина от перелома лобной кости. Наверно, Саша думал о том же самом. Иначе зачем похлопал по плечу и сказал: «Не беспокойся, старик! Все будет в порядке. Мне — дураку — наука!» Такси проехало по улице Маршала Бирюзова, как раз мимо Ирочкиного дома, но мне было даже не до нее. Не доезжая площади Курчатова, мы повернули направо и оказались на территории больницы. Шофер довез нас до корпуса, над боковым входом в который висел продолговатый электрический фонарь с высвечивавшимися красными буквами «Травматология». Я расплатился и помог Саше выйти из такси. Мы поднялись по обледенелым ступеням крыльца. В приемной сидели на стульях и стояли, прислонившись к стенам, пациенты с самыми разнообразными травмами и повязками на руках, ногах, лице, голове. Мы заняли очередь. Перед нами сидел средних лет мастеровой с правой рукой, примотанной к туловищу. Жена, сопровождавшая мастерового, рассказывала с определенной гордостью и простонародным тяготением к подробностям, оттого, что оказалась в центре внимания, как он, возвращаясь домой, повис на подножке автобуса, в то время, как рядом с ним на подножке висела молодая женщина. Она не удержалась при резком повороте, схватилась за него, он упал и почувствовал резкую боль в правой руке. «А эта гадина (имелась в виду молодая женщина с автобусной подножки) успела перехватиться за ручку и покатила дальше, как ни в чем не бывало!» Очередь к травматологу сочувственно кивала. Саша уселся на краешек стула, а я пошел зарегистрировать его у дежурной медсестры. Я не успел закончить формальности, как услышал крик и стук упавшего тела. Я бросился в конец очереди, к Саше. Он лежал

на полу. Его только что вырвало. Он был в полубессознании, повторяя: «Дело плохо... тяжелое сотрясение мозга...». Появились санитары, обтерли его лицо и положили его на каталку. Я упросил разрешения сопровождать Сашу: «Можно мне пойти с моим товарищем?» Так он стал *моим товарищем*. И вправду, кроме жалости и тревоги у меня к нему ничего не осталось. Сашу повезли на рентген черепа. Потом его выкатили ко мне. К этому времени тошнота прошла. Он полудремал или заставлял себя лежать неподвижно, не разговаривая. Берег силы. Наконец, из аппаратной комнаты вышел врач и сказал, обращаясь к Саше: «Вы счастливчик! Даже трещинки не оказалось. Легкое сотрясение мозга. Да еще в такси умотало. — Потом наклонился к Саше и сказал. — В следующий раз, коллега, не рискуйте: опасно для жизни!» Что он имел в виду и откуда узнал, что Саша — врач, ума не приложу. Наверно, они обменялись какими-то фразами, как коллега с коллегой, во время исследования. Фразами, которые служат паролем для посвященных — врачей. Рентгенолог сделал запись в истории болезни, и санитары покатали Сашу в операционную — накладывать швы. В приемной оказался телефон-автомат, и я позвонил Инге. Она, конечно, не спала. Я рассказал, что все обошлось легким сотрясением мозга, и осталось только наложить швы. В трубке послышались рыдания. Я сказал, что привезу Сашу. И чтобы она успокоилась и легла спать. «Ты меня еще любишь, Даня?» — спросила она. Я не мог покривить душой и промолчал. Что-то сломалось во мне. Как будто бы сумасшествие Саши и мой ответный удар, чуть не кончившийся трагически, открыли мне глаза на мою жизнь, на какие-то вечные истины, устои, заветы, которым я, несомненно, верил, но которые нарушал в повседневной жизни. Пожалуй, впервые подумал я, что Ирочка, моя богиня и королева, тоже нарушает издревле заведенные человечеством правила и устои, записанные как заветы. Можно ли творить добро, попирая мораль? «Даня, Даня, ты слышишь меня?» — повторяла Инга в трубку, а я молчал, потому что не хотел открывать горькую правду. Что-то сломалось во мне. Или преобразовалось. Я дождался, когда Саше наложили швы, и отвез его домой. Инга напоила нас чаем. Я попрощался с Осиными и вернулся к себе на Патриаршие пруды.

Вся наша компания, именуемая Кооперативным Театром, съехалась на премьеру «Манон Леско». В душе я называл это: бал воров. Можно себе представить, что творилось во мне, если я решил-

ся хотя бы наедине с самим собой назвать моих сокомпанейцев таким хлещущим образом. Один за другим прибыли все. Такого еще не было до сих пор. Всегда кого-нибудь не хватало. Глебушка уезжал на гастроли. Вася Рубинштейн инспектировал военные заводы. Римма с некоторых пор без него в свет не выезжала. Юрочка Димов оформлял спектакль где-то в Тмутаракани. Капитан Лебедев (в реальной жизни наверняка генерал-лейтенант) всегда был редким гостем. Только Вадим Рогов, неизменно посещавший все спектакли, оставался, по сути, единственным реальным компаньоном Ирочки Князевой, если ее высочайший выбор не падал на меня. И на этот раз Вадим не подвел.

Я занял свое место в суфлерской будке. Все-таки никто, кроме меня, не знал пьесу настолько, чтобы подсказывать (в случае заминки) текст тому или иному актеру. Правда, это было лишним. Ирочка выучивала с актерами каждое слово пьесы, и моя роль была минимальной. Более того, когда супруг Манон — кавалер де Грие — встречался по ходу пьесы со своим покровителем — Тибержем, начинались такие бурные объятия, что обрывалась самая нить сюжета, уводя пьесу и за ней — зрителей — в параллельный сюжет, ни в коей мере не рассчитанный на благосклонность советской цензуры. Становилось ясно, что Коля Лебедев (сын капитана Лебедева) теряет контроль над собой. Во время кратковременного перерыва между картинами капитан Лебедев проник в мою суфлерскую будку и зловещим шепотом, что было вовсе ему несвойственно, прошипел: «Даниил, постарайтесь управлять происходящим на сцене. Иначе мне будет трудно поправить ход вытекающих из ситуации событий!» Что он имел в виду, я узнал вскоре. Если забыть о неоправданном притяжении актеров, исполнявших роли кавалера де Грие (Коля Лебедев) и Тибержа (самодеятельный талант), пьеса прошла блестяще. Особенно хороша была Ирочка. Ее любовные победы и мелодраматические провалы настолько взвинчивали публику, что аплодисменты сопровождали каждую сцену спектакля. Особенно трагичным был финал, когда Манон Леско и ее возлюбленный — многократно обманутый, и все равно продолжающий любить муж, оказываются в ссылке в Америке, где и умирает главная героиня. Предполагаю, что Ирочка рассчитала так тонко, что удовлетворила ожидания самых противоположных по вкусам зрителей: послушников и диссидентов. В американских сценах послушники увидели бедную нищую бесправную Америку, куда

стремиться не только апатриотично, но и просто глупо. Диссиденты же нашли открытое предупреждение попасть в ссылку, поскольку колониальная Америка вполне служила моделью Сибири.

Однако, несмотря на явный зрительский успех, назавтра, как по команде, во всех московских газетах появились разгромные статьи, которые камня на камне не оставляли от текста пьесы, нанеся удар по мне — драматургу и завлиту, по игре актеров, и, прежде всего, по ведущей актрисе и режиссеру — Ирине Князевой, *«превратившей спектакль в демонстрацию эротики на грани с порнографией и затянувшей молодых актеров в пучину буржуазного искусства»*. Особенно откровенными, по мнению одного из рецензентов, были сцены с участием кавалера де Грие (актер Николай Лебедев) и его друга Тибержа (самодельный актер Владимир Цыпкин), *«когда между двумя этими артистами прямо на сцене разыгрывались гомосексуальные прелюдии»*. Все это появилось в газетах на следующий день после спектакля. По мнению нескольких критиков (что заставило меня насторожиться и весьма огорчило Ирочку, у которой было особенное чутье на такие штуки), *«подобный театр не должен существовать в русле социалистического искусства»*. «Это конец, — сказала мне Ирочка. — Надо разбежаться, пока не поздно».

Одновременно с этой разворачивающейся истерией, совершенно неожиданно, и даже без предварительного звонка по телефону, ко мне на Патриаршие пруды заехал капитан Лебедев. «Не удивляйтесь, Даниил, но вы немедленно поймете, что я не мог, в силу определенных обстоятельств, предварительно позвонить. Вам наверняка знаком этот предмет?» Сказав это, Николай Иванович отстегнул пряжки своего коричневого кожаного портфеля и достал оттуда нечто, завернутое в газету. «Узнаете?» — достал он из свертка охотничий нож. Конечно, я моментально узнал нож, которым Саша Осинин прокалывал до крови мою кожу под левым соском и в других местах. Нож, который Инга выкинула в мусоропровод. «Ваш нож, Даниил?» — спросил капитан Лебедев. «Нет, не мой», — ответил я с такой убежденностью, что (мне показалось) капитан Лебедев поверил. «Тогда чей же, если не ваш?» «Нож — не мой, Николай Иванович. Больше этого я вам сказать не могу». «Ваше дело, Даниил, но против вас возбуждено следствие. Ведь каждый случай травмы, в особенности, такой необычной, как была у мужа вашей приятельницы, вызывает подозрение в намеренном

нанесении ножевого ранения и даже попытке убийства. То есть, налицо пострадавший (доктор Осинин) и орудие преступления — нож». «Я этого ножа и в руки не брал, Николай Иванович! Я защищался и нанес ответный удар пепельницей. Единственно для того, чтобы владелец ножа не ранил меня смертельно!» — ответил я так горячо, что капитан Лебедев окончательно поверил мне. «Другая сторона, к вашему везению, тоже не возбуждает дело. Так что, может быть, удастся избежать судебного расследования и процесса между вами, Даниил, и доктором Осининым. Избежать и дело закрыть».

Я кивнул удовлетворенно. Капитан Лебедев продолжал: «Что же касается Кооперативного театра, новости совсем неутешительные. Но вначале решим с вами». Я к этому времени начитался достаточно газетной критики нашего спектакля «Манон Леско», да и с Ирочкой мы обсуждали ситуацию часами, особенно одну из статей в вечерней газете, где наряду с критикой «Манон Леско» затронуты были мои стихи, гуляющие в рукописном виде по Москве и Питеру. Но и это меня не пугало, потому что я не лез в политику. Вообще не лез. И, в частности, не писал политических стихов. Если только не принимать за политику любовную лирику, которая и была основой моей стихотворной практики. Так что я вполне спокойно спросил капитана Лебедева: «Что же надо со мной решать?» Капитан Лебедев посмотрел на меня с сожалением и грустью, как смотрят на безнадежно больных, блаженных или подсудимых, которые не осознают всей тяжести болезни или вины, павшей на них, и вытащил из тисненого коричневого портфеля книжечку, изданную одним из зарубежных издательств. На обложке стояло мое имя. Название книжки было тем самым названием, которое мне снилось еще до эпохи моего знакомства с Виссарионом: «Зимний корабль». И марка наиболее активного эмигрантского издательства «Воля», находившегося в Париже. Надо было сдержаться, подождать, когда капитан Лебедев оставит меня наедине с моей изданной за рубежом книжкой стихов. Мои переводы, вошедшие в сборники стихов иноязычных поэтов, не шли в счет. Я не удержался и вначале пробежался взглядом по содержанию книги. Я читал заглавия стихотворений и узнавал их. Так узнают родственников, давно потерянных и вновь обретенных. Я начал перелистывать страницы и трогать мои стихи, как будто они были живыми, выпуклыми, пульсирующими. Капитан Лебедев терпеливо ждал. Наконец,

первый приступ моей жажды насытился, и я отложил книжку в сторону. «Даниил, поймите меня правильно. Я рад за вас. Что может быть важнее для писателя, чем увидеть свою изданную книгу!? Потому что написать — это зачать. А опубликовать — это произвести на свет Божий». «Спасибо, Николай Иванович», — ответил я и подал ему руку. Он ответил рукопожатием с энтузиазмом.

«Все это замечательно, — продолжил капитан Лебедев, но в совокупности с постановкой «Манон Леско», вашим походом в травматологическое отделение 52-й больницы и охотничьим ножом, найденным бдительным дворником, создается опасная ситуация, от которой надо бежать, чтобы избежать...» Он засмеялся своему каламбуру и повторил: «Бежать, чтобы избежать!» Как это происходит в критических ситуациях, мысль моя работала с необыкновенной скоростью. Вспомнились мемуары различных деятелей литературы, оказавшихся впоследствии до такой степени преданно советскими, что диву даешься, как это произошло после того, что они перенесли в середине тридцатых и в конце сороковых — начале пятидесятых. Спаслись те, которые бежали из мест постоянного обитания в города и веси, никак неожиданные бдительными наблюдателями. Так, Самуилу Яковлевичу Маршаку, судя по его мемуарам, удалось избежать ареста, а может быть, тюрьмы, бегством из Ленинграда в Москву на перекладных, т.е., меняя разные виды транспорта: автобусы, электрички, попутные автомашины, может быть, прибегая и к гужевому транспорту. Я сразу же поверил в серьезность предупреждения капитана Лебедева. И сразу понял, куда мне надо бежать. Капитан Лебедев угадал мои мысли и спросил: «Куда?» «На Урал, в село Силу Молотовской (Пермской) области». «Как Юрий Андреевич Живаго? Правильный выбор. Вспомните годы эвакуации. Мешать вам никто не будет. Напишите большую прозу». Я перестал удивляться его прозорливости или осведомленности. Или того и другого. «А как же Театр?» «Кооперативный театр со дня на день закрывается. После завершения расчетов с государством останется некая сумма, которую мы разделим между пайщиками. Так что у вас, Даниил, хватит денег на первое время. А там, Бог даст, вернетесь». Мы попрощались.

Ирочка все знала о нашем разговоре с капитаном Лебедевым. Впервые, пожалуй, я увидел, как она безутешно плачет. С завываниями и рыданиями, как по усопшему. Мы прощались с ней всю ночь. К утру задремали, а проснувшись и попив кофе, обсудили де-

ла. Ирочка временно прекращает всяческую деятельность, связанную с театром или кино. «Пройду специализацию по терапии, сдам выпускные экзамены в каком-нибудь провинциальном медицинском институте и начну с практикующего участкового врача. Там видно будет». Ничто не могло сломить нашу королеву. «О деньгах тебе Николай Иванович сказал. Дашь знать о своем адресе, вышлем. Нынешняя разбойная компания отлетит, и вернешься». Договорились, что я оставлю ключи от своей комнаты Ирочке. И доверенность, если подвернется надежный квартирант. Оставалось решить мои дела с переводами в издательстве «Художественная литература» и оправдать свой срочный отъезд в секции переводчиков союза писателей. Наврав с три короба, я объяснил в издательстве свой срочный отъезд длительной творческой командировкой на Урал для написания «широкого полотна жизни во время войны и эвакуации». Редакторша искренне за меня порадовалась, понимая (все понимали мою ситуацию из чтения грязных газетных статей!), что я *спасаюсь бегством*. Без малейших колебаний она обещала посылать мне работу по любому удобному мне адресу. В секции переводчиков союза писателей мне пожелали настолько освоить пермяцкий язык, чтобы обходится без подстрочников.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. ДЕРЕВНЯ

Я отправился на Ярославский вокзал и взял плацкартный билет до Перми. Поезд катил на северо-восток, а я вспоминал войну, эвакуацию.

Из Молотова (Перми) мы доехали до станции Верещагино, а оттуда на подводах — до села Сила. Мне тогда было 5–6–7 лет.

Наконец под вечер, когда красное солнце закатывалось за черный лес, мы выехали на широкую дорогу, которая была вымощена деревянными кругляшами. После грязи и глубоких луж лесной дороги лошадь легко тянула телегу по твердой деревянной мостовой. «Уральский тракт!» — сказал крестьянин, управлявший нашей лошадей. И добавил: «А вот и матушка — река Сила!»

Мы въехали на мост, перекинутый через широкую реку. За мостом от самого берега реки и дальше, дальше почти до гор, поросших лесом, стояли избы. «Вот мы и приехали в эвакуацию, Даник», — сказала мама.

Был вечер. Конец августа. Нас разместили в школе. За окнами стемнело. Мы устроились на полу и заснули. Мне снились лошади.

Мама вернулась под вечер. Она дико устала. Ее боты были облеплены вязкой коричневой глиной. Маме страшно повезло. Под самый конец она решила постучаться без всякой надежды в большую красивую избу, стоявшую на окраине села, недалеко от реки. Мама сняла для нас комнату в избе Тереховых.

В окна класса, где мы провели ночь, хлестал мутный осенний дождь. Я смотрел в окно: когда же придет подвода за нами и нашими вещами? Наконец, я увидел лошадь и телегу. В телеге сидел человек, закутанный в брезентовый плащ. Он привязал лошадь к столбу у крыльца школы, отряхнул плащ и сгреб щепкой глину с сапог. Вошел в школу. Это был хозяин избы, где нам предстояло жить в эвакуации. Его звали Андрей Михеевич. У него были седые редкие волосы и серые печальные глаза. Он был гладко выбрит. Под брезентовым плащом был черный потертый пиджак. Под

пиджаком надета серая холщевая рубашка с высоким воротничком, похожая на гимнастерку. Он был обут в сапоги. Мы погрузили вещи и отправились на квартиру в избу Тереховых.

Лошадь, которую Андрей Михеевич окликал время от времени Звездочкой, въехала в широкие и высокие двухстворчатые ворота и остановилась посреди двора. Слева от телеги я увидел избу, сложенную из крупных золотисто-коричневых бревен. Щели между бревнами были законопачены мохом. С правой стороны двора стояли высокие сараи, крыши которых покрывала солома. Потом я узнаю, что это конюшня, хлев и другие пристройки с сеновалом. В конюшне и хлеву жили лошадь, корова, свиньи, овцы, куры и гуси. На задах двора я увидел коричневый пустырь огорода. Между огородом и пристройками торчала будка. Это была уборная. В левом углу огорода под рябиной, полыхающей красно-оранжевыми ягодами, стояла избушка. Это была баня.

На крыльцо выбежал подросток. Он был одет в холщевую рубаху, подпоясанную ремешком, и штаны, украшенные заплатами. На ногах у него были продолговатые корзинки, обшитые тряпками. Корзинки держались на ногах при помощи веревок. Потом я узнал, что это лапти. Их плетут из лыка, которое дерут с внутреннего слоя коры. Бывают зимние, утепленные лапти и летние — легкие лапти. Мне предстояло проходить в лаптях три года. Да и маме тоже.

«Меня зовут Пашка, — сказал мне подросток. — А тебя?»

«А меня Даник, — ответил я. — А это моя мама, Стелла Владимировна».

«Мудрено! — изумился Пашка. — Вы кто будете?»

«Ленинградцы! — с гордостью и даже с хвастовством ответил я».

«А люди бают — выковырянные!»

Не вдруг я осознал, что баять — значит — говорить. А выковырянные — искаженное слово эвакуированные.

Пашка стал моим старшим товарищем и учителем деревенской жизни.

Мама, между тем, начала переносить вещи в избу. Ей помогала пожилая тетенька, Елена Матвеевна. Мне Елена Матвеевна велела называть ее бабой Леной. Она была хозяйкой избы. Анд-

рей Михеевич, которого я стал называть дедом Андреем, был ее мужем. Пашка был их сыном. Через некоторое время хозяева начали называть маму: Владимировной, а она их: Матвеевной и Михеичем.

У бабы Лены было доброе круглое лицо и коричневые глаза, окруженные морщинками. Она была похожа на мою бабушку Фрейду. У бабы Лены были толстые бока, длинная черная юбка, лапти и темный платок.

Пашка повел меня в избу. Мы поднялись по ступенькам на высокое крыльцо. Деревянные столбики крыльца были украшены резьбой. Тяжелая дверь распахивалась в сени. Там было холодно. Тусклый свет из окна едва освещал их. Мы прошли в кухню. Она была занята громадной белой печкой, похожей на крепость внутри избы. Печка была сложена из кирпичей. Она стояла боком к двери. С этого бока почти до верха были видны пазы. Словно сверху донизу было вынуто несколько кирпичей. Это были ступеньки. По ним забираются на печку. Там тепло. Можно было спать. Можно было спать и на полатах. Это деревянный настил между печкой и стеной кухни, прилегающей к сеним.

«А ты проходи, Даник, в горницу», — баба Лена пригласила меня в следующую комнату. В левом углу горницы висела картина в золотой рамке. На картине был нарисован старик. У него было продолговатое темное лицо и длинная борода. Старик был одет в халат, сшитый из золоченой ткани. Старик в левой руке держал палку. Правая рука была обращена ко мне. Пальцы на этой руке были сложены щепотью. Под картиной на цепочке висела спиртовка с колеблющимся фитильком. Я видел такие у мамы в химической лаборатории. Ну, не совсем такие. Баба Лена подошла к картине и быстро прикоснулась к своему лбу, правому плечу и левому плечу пальцами правой руки, тоже сложенными щепотью. Прикасалась щепотью и кланялась одновременно. Я тарасился на нее изумленно.

«Это икона Николы Угодника, — баба Лена показала на картину. — А это лампада», — она показала на то, что я принял за спиртовку.

Лампада пред ликом Николы Угодника горела всегда. Баба Лена доливала в нее лампадное масло. Вообще, Никола Угодник в избе был, как живой человек. Потом я часто видел, как баба Лена

разговаривала с иконой. Андрей Михеевич никогда не крестился. Он говорил, что в Бога не верит. Он был атеист. Директор конторы «Заготзерно».

В горнице у стены, в которой два окна, стояла длинная лавка. К ней был приставлен стол. И другая лавка. По другую сторону стола. Окна глядели на улицу. Нам отвели маленькую заднюю комнату. В горнице висела занавеска, за которой стояла широкая кровать. На спинках кровати были медные шишки. Цветастые подушки поднимались пирамидой к потолку. Это была кровать бабы Лены и деда Андрея.

Как трудно отделить мои тогдашние, шестидесятилетней давности впечатления, от нынешних воспоминаний о тех впечатлениях!

Первая осень и первая зима эвакуации были особенно тяжелыми. У нас не было хлеба, не было картошки, не было мяса. Мама не работала. Продуктовой карточки тоже не было. Были какие-то вещи, на которые мама выменивала у соседей-крестьян самое необходимое. Или по воскресеньям мы добирались с мамой до базарной площади. Там иногда можно было выменять или купить (из папиной военной части нам каждый месяц приходил денежный аттестат) по невероятно высокой цене кое-что из продуктов. Но добираться до базарной площади можно было, только начиная с конца октября, когда вязкую засасывающую сапоги глину схватывали морозы. Помогали нам понемногу хозяева. Подкармливали. Чаще меня. Мама из самолюбия отказывалась.

В конце октября выпал снег. Началась северная зима. Снег бывал такой высокий, что порой выйти через дверь не было никакой возможности. А бабе Лене надо было доить корову и задавать корм скотине рано утром. Будили Пашку. Он чаще всего спал на печке или на полатах. Пашка вылезал на крышу через трубу, прыгивал в сугроб и отгребал снег от двери.

Всю зиму Пашка бегал в школу на лыжах. Это было благом по сравнению с походами по улицам, заполоненным глинистой осеннее-весенней грязью.

Вскоре я тоже приноровился спать на полатах. Во всю длину и ширину деревянного настила был насыпан лук. Желто-коричневые луковицы были теплыми и упругими. Сверху набрасывали овчины.

А на них лежали мы: Пашка, я и кот Васька. Если избу так выдувало за ночь, что на полатах становилось холодно, мы перебирались на печку. Гладкие, отполированные за многие годы камни хранили тепло. Печка с полатами была нашим клубом, нашим зрительным залом. Мы болтали с Пашкой обо всем на свете. Он готовил меня рассказами к летней деревенской жизни. Я вспоминал, как мог, о родном Ленинграде, о папе, о нашем дворе.

На полатах было полутемно. Под овчинами шуршали луковичицы. Их шорох смешивался с шорохом тараканов, которых на полатах были несметные полчища. Темно-коричневые и любопытные, они вылезали отовсюду и таранились на меня, поводя длинными усами. Скоро я к ним привык и не обращал на тараканов ни малейшего внимания. По утрам надо было всего лишь выйти в сени и стряхнуть тараканов с одежды.

Кот Васька был огромный черно-белый лентяй, проводивший большую часть зимы на печке. Он начал исчезать по ночам в марте, возвращаясь к утру через трубу, весь измазанный сажей. Иногда Васька приходил домой с исцарапанной мордой или порванным ухом. Однако Тереховы ценили Ваську за неукротимую храбрость. Он ловил хомяков и крыс на конюшне или в хлеву и притаскивал на крыльцо — показать хозяевам.

Мы валяемся на полатах. Пашка, я и кот Васька. Мы с Пашкой режемся в карты. Васька дремлет. Внизу у кухонного стола сидят моя мама, баба Лена и дед Андрей. На столе чуть светит керосиновая лампа. Фитилек так закручен, что свет лампы с трудом освещает лица. Вечер. По репродуктору передают последние известия. Потом слышна песня. Баба Лена плачет, когда по радио играют песни. У бабы Лены и деда Андрея три сына на фронте: Николай, Александр и Иван.

В деревнях неподалеку от нашего села Сила живут пермяки. Один из сыновей женат на пермячке Ольге.

Часто керосина для лампы нет. Тогда ставят треножник (светец), в центре которого втыкают сухую длинную сосновую лучину. Она горит, потрескивая. Раскаленные угольки осыпаются в таз с водой, прощально шипя.

Иногда мама гадает на картах.

Иногда поет. У мамы хороший голос. Она помнит много песен. Когда мама поет, баба Лена не плачет, как от репродуктора.

Если не надо стирать, варить еду или убираться в комнате, мама читает. Больше всего мама любит Пушкина и Есенина.

Мама пишет стихи. Посылает их на фронт папе. В последнем письме от папы была вложена вырезка из газеты со стихами Си-монова «Жди меня и я вернусь...» Мама много раз читает вслух эти стихи. Мне они нравятся. Но я не понимаю, что значит «Жди меня».

Митя из соседней избы — охотник. Он внук бабы Лены и деда Андрея. Ему шестнадцать лет. Он учится в девятом классе. На будущий год Митя окончит десятилетку и поступит в летное училище. На лыжах, с двустволкой и собакой Митя уходит в лес надолго. Да, я забыл про собак. У нас во дворе на цепи живет рыжий лохматый пес Полкан. А у Мити-охотника черная лохматая Жучка. У собак есть будки с полукруглым входом. В будках сено для тепла. В особенно холодные ночи баба Лена выпускает Полкана в избу. А Митя — Жучку. Митя удачливый и щедрый охотник. Он часто подстреливает зайцев. Иногда лесных голубей. Часть добычи Митя приносит бабе Лене. Она угощает меня и маму.

Весной Митя подобрал в лесу маленького белого зайчишку. Тот прожил в избе до лета. Скакал, жевал капусту, оставлял лужицы и разбрасывал темные орешки.

По радио передают, что немцы кольцом окружили Ленинград. Началась блокада. Мой папа — на ленинградском фронте.

Мама гадает на картах. Это называется «раскладывать пасьянс». Иногда мама надолго задумывается над картами. Иногда быстро перекидывает их с места на место. Баба Лена просит погадать. Мама гадает на письмо с фронта. И письмо приходит. Понемногу о маминой способности гадать узнают в соседних избах. И в дальних избах. Приходят крестьянки. «Сделай милость, погадай, свет Владимировна. Не откажи, хорошая». Мама раскладывает карты и видит в них: удачно ли отелится корова, опасно ли из-за волков ехать в лес по дрова, отпустит ли ломота в спине или отправиться к доктору в больницу, придет ли желанная весточка с фронта. Крестьянки уходят довольные знанием открывшейся правды. А баба Лена, которая запирает дверь на ночь, приносит из сеней подарки, оставленные для мамы.

Одно только мама отказывается предсказывать: живым ли вернется солдат или пришлют похоронку. Случилось это после того, как мама стала гадать на мужа Антиповны. Ее изба стояла через дорогу от нашей. Мама глянула на пасьянс, вскрикнула, смешала карты и заперлась в нашей комнате. А назавтра почтальонша принесла Антиповне похоронку.

Кончалась наша первая зима в деревне. Да, кончалась по календарю, а не по морозу. Правда, дни прибывали, и солнышко нет-нет пробивалось из-за снежных туч. Пашка притащил мне откуда-то некрашенные березовые лыжи. Я начал бегать по заснеженным полям до ближайшего подлеска и обратно. Весело было скользить по луговой покато́й поверхности, закованной в притаивший за день и подмерзший за ночь снежный наст. Вниз до берега реки Силы и дальше, дальше по льду, затаившемуся под глубоким снегом.

Пашка обещал: «Вскроется река, пройдет ледоход, и начнется каждодневная рыбалка!»

Весна пришла в нашу избу однажды ночью. Я проснулся от беготни и хлопанья дверей. Пашки на полатах не было. Я надел валенки и спустился вниз. В это время в избу прибежал Пашка. «Что случилось?» — спросил я у него. «Манька телится!» — крикнул Пашка и убежал опять с ведром горячей воды. Я схватил шапку и вылетел на крыльцо. В коровнике горел свет. Я перебежал через двор и заглянул внутрь. Корова Манька лежала на соломе и протяжно мычала. Баба Лена гладила ее и приговаривала: «Потерпи, Манька, потерпи, кормилица наша, недолго осталось, родимая!» Хвост у Маньки был задран. Вдруг из-под хвоста коровы начала появляться маленькая коричневая голова теленочка. Дед Андрей стоял рядом. Вот уже весь теленок лежал на руках деда Андрея. Баба Лена отсекла что-то кухонным ножом и перевязала суровой ниткой. Я увидел кровь, отпрянул и побежал на крыльцо. Ворота коровника распахнулись, и дед Андрей вынес теленка во двор и направился к крыльцу. Я отворил дверь в избу. Дед Андрей осторожно опустил теленочка на кухонный пол. И маленькое коричневое создание уперлось копытцами в пол и поднялось на свои тонкие, гнутые, как ветки, ножки. Вскоре пришли баба Лена и Пашка. Баба Лена бегала из кухни от теленка в горницу, к иконе Николы Угодника, крестилась и повторяла: «Слава Тебе Господи, Иисусе

Христе! Манька-от наша голубушка, какого бычка принесла! Счастье-от какое!» На кухне постлали солому, теленок жил в избе неделю или две, пока не окреп и не спали морозы.

Приближалась Масленица. Дед Андрей с Митей и Пашкой наладили качели во дворе. Я не замечал, наверно, по малости лет, все эти перемены в нашем быте. Я принимал их, как есть. Так принимает всякий ребенок каждый новый день жизни. В первый раз увидел железную дорогу и поезд, самолет в небе, слона в цирке, цветение черемухи. Так естественно я принимал уклад жизни в избе Тереховых. Скажем, на кухне всегда стояла миска с вареной свеклой. Там же была положена деревянная ложка. Вообще, ели деревянными ложками. Вилки и столовых ножей не помню. Было несколько кухонных ножей. Я брал, когда хотел перекусить, сочный красно-бурый кусок свеклы, ел и запивал сладким красным отваром. Также, когда была потребность, очищал луковицу и со страстью и слезами откусывал, жевал и проглатывал сочную горькую сладость.

Лук шел на многие нужды и кроме еды. Раза два за зиму мы все тяжело угорали. Оберегая тепло, хозяйка, бывало, рано закрывала вьюшки. Угар шел из печи в избу. Утром с трудом вставали. Болела голова. Тошнило. Баба Лена отваривала лук. Куски вареных луковиц мы засовывали в уши. Через час или два одурь проходила.

Еще одна картинка, поразившая меня. Я вхожу в горницу. Там еще две бабы из соседних изб. Прохоровна и Никифоровна. Я знал их. Они часто забегали к бабе Лене. Да и я иногда оказывался в их избах. Пашка брал поиграть с соседскими ребятами. Или баба Лена водила, не помню зачем. Я вхожу в горницу и вижу: баба Лена сидит на лавке около окна и прядет шерсть. У бабы Лены была для этого прялка. Вроде длинной спинки стула на палке и с подножкой. К прялке был привязан большой клочок шерсти. Ногой баба Лена придерживала прялку, прижимала ее к полу. Левою рукою сучила шерсть, превращая ее в нить, а правою рукою крутила на полу веретено (вроде большого волчка) и наматывала на него пряжу. При этом баба Лена пела. Пела и Прохоровна. Третья соседка Никифоровна без платка сидела на лавке у другого окна, положив го-

лову на колени Прохоровны, которая перебирала ей волосы левой рукой. В правой у нее был кухонный нож. Она время от времени прижимала что-то, сидевшее в волосах Никифоровны, к ножу и шелкала. Мне стало противно и страшно. Я побежал в нашу комнату к маме. Мама писала письмо. «Мама, что там делает Прохорова страшное? У нее и нож в руках!» «Сынуля, это они вшей ищут». «Что это за напасть такая вши и зачем их надо искать?» «Вши и вправду напасть. Они нападают на людей и кусаются. Это неприятно. Спать мешают. Покоя не дают. Но самое страшное, что вши переносят болезни, от которых люди умирают. Твоя бабушка Ева, моя мама, умерла от тифа, который переносят вши». «И что же, мамуля, вшей можно убивать только ножом?» «О, нет, Даник! Конечно, можно и по-другому. Химическими веществами. Например, керосином. Но керосин убивает только насекомых — вшей. Их яйца — гниды приходится уничтожать вручную. А потом смывать мылом и горячей водой».

Это был четверг накануне Масленицы. По четвергам Тереховы топили баню. Сначала мылись баба Лена с дедом Андреем. Потом Ольга. Потом Пашка с Митей. Потом мама мыла меня.

Время было тяжелое. Каждый вечер наши хозяева и мама сидели около репродуктора, слушая последние известия. Вести по радио были безрадостные. Хотя немцев остановили под Москвой, они подошли к самой Волге, к Сталинграду, захватили половину России, Белоруссию, Украину, Крым и часть Кавказа. От папы из госпиталя пришло письмо. Он был ранен в плечо осколком противотанковой мины. От Тереховых-сыновей редко-редко приходили весточки.

И всё же в нашей избе праздновали Масленицу. Баба Лена напекла блинов. Пригласила к столу маму и меня. Я никогда не едал таких вкусных и красивых блинов. Может быть, они показались особенными оттого, что и хлеба доставалось не вволю. В горнице посередине стола красовалась большая тарелка с высокой горкой широченных золотисто-белых блинов. Баба Лена пекла на кухне последние блины, ловко смазывая сковородку заячьей лапкой, смоченной расплавленным маслом. Потом уселись за стол. Надо было брать блин, поливать его медом и маслом, складывать вчетверо и откусывать. Запивали блины молоком с сушеной малиной. Корова Манька снова начала доиться как раз перед Масленицей.

Теперь, когда со времени эвакуации прошло больше полувека, я задумываюсь над разительными переменами, произошедшими с моей мамой в годы войны. Обо мне говорить нечего. Я впитывал новую жизнь, как новорожденный — молоко. От любой матери он будет пить и развиваться будет на любом молоке. А вот мама — как она? Мама оцепенела от ежеминутного страха за папу, за своего отца, за братьев, сестер, племянников. Все внешние события, не связанные с ее главной болью и думой, проходили мимо. Мир счастья был разрушен войной. Мы оказались в новом мире эвакуационного быта. Мама воспринимала этот новый мир безропотно и отрешенно. Только этим могу я объяснить мамино безразличие к моему по-детски активному участию в деревенских православных праздниках. Если что-то еврейское и было заложено во мне бабушкой и дедушкой, все развеялось уральскими выюгами, все растворилось в потоке новых слов, предметов, обычаев.

Да, я начисто забыл, кто я по рождению. Вот что случилось со мной примерно через год после приезда в Силу. Я к тому времени ощущал себя вполне своим среди уральских ребятишек, синеглазых и скуластых от пермячко-русской крови, драчливых от суровости климата и охотничьего задора, живущего во всякой уральской избе. До сих пор меня обжигает стыд за предательский поступок. В наше село приехала семья эвакуированных. Приехали они не сразу со всеми, а позднее. Я себя считал вполне местным, силинским. Вернее, не считал — просто и не думал о том, кто я. Ленинградская довоенная жизнь казалась цветным сном, июльским утром, чем-то фантастически-случайным. В Силу приехали новые эвакуированные. В этой еврейской семье был мальчик. Черненький, смуглый средиземноморского типа еврейский мальчик. Я встретил мальчика после уроков за школой. Вокруг были ребятишки — местные и эвакуированные. Но и эти эвакуированные тоже прижились на Урале и подружились с местными, проведя с ними два года среди полей, огородов, на рыбалке и в лесу. «Эй ты, выковырянный!» — пристал я к приезжему мальчику. Тот молчал, изумленно глядя на меня и не понимая, чего я от него хочу. «Эй, выковырянный, давай стыкнемся», — не унимался я, ошарашенный безразличием мальчика к моим приставаниям. Я продолжал: «Что зенки-от свои детотные пялишь?» «А ты на себя посмотри. Ты сам-то какой!» — вдруг тихо ответил мне мальчик. Я поглядел на него и впервые, словно бы в зеркале, увидел себя глазами окружающих меня ребят, местных и эвакуированных.

Подошла Пасха. Не еврейская с мацо́й, с воспоминаниями о бегстве из египетского рабства и сорокалетних скитаниях по пескам в поисках прародины — земли Ханаанской. Нет. Эту Пасху мы не праздновали. Никто мне о ней не говорил. Да, наверно, мама решила не тревожить мое детское воображение напоминанием о нашем еврействе. Вернее всего, я забыл о своем еврействе. Это правда, что забыл. Так что вкусный пасхальный кулич, крашеные луковой шелухой яйца, которые надо было катать с деревянной горочки, и прочие сладости, обольщавшие вечно полуголодного мальчика, воспринимались мной как настоящий праздник. Мама не решалась лишить меня этого праздника. Правда, Елена Матвеевна Терехова была в избе единственной верующей. Только она в их семье молилась и крестилась на иконы. Так что Масленица, Пасха, а потом Троица, Николин день и Рождество в нашей избе были не столько религиозными, сколько народными праздниками.

В середине мая зацвела черемуха. Белые лепестки засыпали палисадник. Начался ледоход. Грохот шел с реки. Похолодало. «Время льдом запастись», — решил дед Андрей. Звездочку запрягли в телегу. Дед Андрей, Пашка и Митя отправились на реку. Полная телега льда была привезена с реки. Лед перенесли в погреб. Настелили на лед солому. На лето был готов ледник. Там хранили молоко, сметану, творог, масло, яйца. Ледником пользовались до октября, когда в сенях становилось так холодно, что молоко замерзало в мисках, а пельмени в мешках. Да и лед к тому времени кончался.

Однажды в июне Тереховы отправились на кладбище, захватив еду и питье. Баба Лена, по обыкновению, взяла меня с собой. Праздновали Троицу. Жители Силы (женщины, старики, дети) шли на кладбище поминать покойных. Между могилами еще лежал темный пустотелый снег. Баба Лена постелила холстину на могилу своей матери, осененную православным деревянным крестом с двумя перекладинами. Одна — поперечная, другая — прилаженная наискосок. Такие кресты были вокруг. Из плетеной корзины достали поминальное угощение: крутые яйца, хлеб, соленые грибы, сало, картошку, кутью. Главной едой была кутья: пшеничные зерна, сваренные в меду. Посредине этого диковинного стола возвышался березовый туесок с брагой. Солнце припекало. Хотелось пить. Мы все по очереди отхлебывали вкусную брагу, щедро приправленную сушеной малиной, которая шла в этих местах, на-

рядом с медом, вместо сахара. Малина заготавливалась в августе ведрами и сушилась в жаркие дни на крыше, а в дождливые — на противнях в русской печи. Все мы ели, разбрасывая крошенные крутые яйца и кутью вокруг могилы — птицам. Баба Лена и дед Андрей вспоминали разные случаи из жизни своих родителей или тех братьев и сестер, которые померли к тому времени. Я на этой Троице впервые услышал об ангелах. У ангелов, как у птиц, были крылья. Ангелы незримо летали вокруг могил, донося наши разговоры до тех, кого мы поминали. Птицы были сродни ангелам. Я тоже запивал угощение сладкой брагой. Никто меня не останавливал, пока я тяжело не захмелел. Мама была сильно расстроена и, может быть, впервые после прощания с папой очнулась от глубокой меланхолии.

На южной стороне нашего села громоздились высоченные холмы. За холмами начинался дремучий лес. Склоны холмов поросли малинником. А ниже между селом и лесом лежала долина. Снег сошел с холмов. Долина зазеленела разнотравьем. Нас научили добрые люди, что у подножья холмов и ниже в долине растут хлебные растения — пестики. Появляются пестики только в начале июня и скоро отходят, становятся несъедобными. Мы идем через все село. Глина подсохла. Солнце припекает. Идти в летних лаптях легко, ходко, весело. У мамы корзинка. У меня лукошко. Мы проходим мимо крайних изб. Впереди на холмах стоят высоченные сосны. Мы идем зеленой долиной в сторону холмов. В ложбинках таятся полоски усталого ноздреватого снега. Где же они, эти волшебные пестики? Я читал в какой-то книге о том, что в далеких южных странах растут хлебные деревья. Но чтобы прямо тут, на окраине нашего села?! А вдруг над нами пошутили? Или мы не узнаем в траве эти необыкновенные растения? Мама видит мое недоверчивое лицо. «Даник, сынуля, люди никогда не врут понапрасну. А здесь — какой умысел врать?» И словно в подтверждение маминих слов — вот они — пестики! Как игрушечные оловянные солдатики в шапках с длинными перьями, стоит целое войско зеленых стебельков с вытянутыми сизыми верхушками. Много лет спустя в Америке я увидел спаржу и вспомнил давнишние уральские пестики. Мы набираем полную корзинку и лукошко пестиков. Кажется, их можно было есть и сырыми.

Самым главным делом нашего первого лета в эвакуации был огород. Мама поняла, что продержаться вторую зиму без собствен-

ной картошки и других овощей дело немислимое. Да и старики-хозяйева понимали, что маме с ее независимым характером легче самой завести огород, чем одалживаться. Дед Андрей отвел нам чуть не треть своего огорода, который начинался сразу от задней стены избы. Он даже вспахал наш огород вместе со своим. Пахал он на Звездочке, запряженной в плуг. Дед Андрей шел с плугом за лошадь. Пласты земли дыбились и закручивались из-под лезвия плуга — лемеха. А мы с Пашкой бегали за плугом по борозде и собирали упругих красновато-лиловых червей для рыбалки. Вспахав огород, дед Андрей разровнял землю бороной, множество зубьев которой дробили крупные комья. Баба Лена дала нам проросшие клубни картошки, которые мама разрешила на части по числу ростков (глазков). Так было намного экономнее, чем сажать целый клубень. Посадили мы с мамой капусту и помидоры из хозяйской рассады. А огурцы, свекла, морковь, укроп, репа и калюжка (брюква) посажены были семенами, которые день или два хранились на тарелке в мокрой тряпочке.

Сейчас невозможно поверить в то, что моя мама — дочь небожного еврея — пошла и на другой шаг, чтобы продержаться в нашу вторую суровую уральскую зиму. Наши добрые хозяйева настоятельно посоветовали маме завести поросенка. Благо у них до августа-сентября оставались излишки проросшей и негодной в пищу мелкой картошки. «Ты, Владимировна, не бойся! Ты начинай жить по-деревенскому. А там одно за другим потянется. Глядишь, с мясом да сальцом зиму одолеешь». И вот наш собственный поросенок Ньюф хрюкает в сарайчике и, чавкая, нетерпеливо лопает вареную и толченую с крапивой и лебедой картошку. А там и два гуся, переваливаясь, шагают под моей неусыпной заботой на луг к речке и обратно. У нас с мамой большое хозяйство: огород, поросенок, гуси. Мы стали совсем деревенскими.

Но самым большим деревенским счастьем оказалась для меня рыбалка. Черви у нас были набраны в ведерко с землей, когда дед Андрей вспахивал огород. У Пашки снасть была готова: удочка, крючки, леска и поплавки. Мне надо было налаживать удочку с самого начала. Пашка сказал: «Надо тебе, Данька, вырезать в березняке подходящее удилище». До березняка было рукой подать. Наша изба стояла на околице села. Через луг мы спустились к реке. По-над бережком вилась тропка. Уходила в лес. Пашка несколько раз останавливался около молодых березок. Примерял их

к моему росту. Никак не мог выбрать то, что годилось бы именно для меня. Наконец, выбрал. Срезал. Зачистил кору. Удилище оказалось длинным, легким и гибким. «Теперь главная наша забота — леска для твоей удочки», — сказал Пашка. «Где же взять эту леску, Пашка?» — спросил я у своего старшего друга и учителя деревенской жизни. «А ты догадайся! Книжек, небось, дюжины две прочитал. Вот подумай и скажи, у кого мы попросим леску?» «У деда Андрея?» «Нет!» «У Мити?» «Нет!» «В Сельпо купим?» «Если бы!» «Тогда я не знаю, Пашка, ей-богу, не знаю! Скажи где, Пашка? Ну скажи! Попросят тебя по-человечески», — начал я канючить. «Эх ты! Ни в жизнь не догадаешься!» «Ни в жизнь, Пашка», — согласился я. «У Звездочки!» — торжествует Пашка. «Как это?» — поразился я. Звездочка — лошадь, на которой дед Андрей разезжает по делам «Заготзерна», привязана к столбу крыльца. Мордой она уткнулась в мешок, который висит на ее шее. В мешке сено. Звездочка жует сено, помахивая от удовольствия хвостом, похожим на огромную кисть для художника-великана. Хвост состоит из сотен длинных сивых волос. Пашка треплет Звездочку за хвост. «Вот она, твоя леска. Только надо Звездочку как следует попросить. Ты, Данька, стой на крыльце. Стой да учись, пока я жив!» — шутиткомандует мой старший друг. Он гладит шею лошади. Он шепчет ей ласковые слова. Звездочка покачивает головой, как бы показывая, что разрешает. Пашка подходит к ней сбоку. «С заду нельзя! — поясняет Пашка. — Зашибет ненароком». Он осторожно, по одному, выдергивает крепкие, как проволока, волосины из хвоста лошади. Мы сидим на крыльце и свиваем леску из упругих лошадиных волос. По три волосины на одну нить. К вечеру моя удочка готова. С удочками, с червями, с ведерком для улова, с двумя ломтями хлеба мы спускаемся к реке. Пашке везет. То шурунок, то окушок, то жирный пескарь дрыгаются на его крючке. Пашка снимает пескаря с крючка, разрезает его толстенькую спинку вдоль хребта и посыпает солью, прихваченной из дома. «Кусай!» — угощает меня Пашка. Я откусываю солоноватую рыбью спинку: «Вкуснота, Пашка!» Наконец, и мне начинает везти. Я ухватываю момент, когда поплавок чуть подпрыгнет и нырнет. Я вытаскиваю окушка, а потом пескаря. И снова — окушка. «Молодец, Данька! Совсем уральским стал!» — хвалит Пашка.

Это была мальчишечья рыбалка. А вот настоящую рыбную ловлю я увидел в конце лета. В тот день с утра дед Андрей прове-

рял бредень. Бредень — это очень длинная сеть, с каждого конца которой привязана палка. Бредень похож на гамак, удлинённый во много раз. К середине бредня пришит мешок. Под вечер пришел Митя. Дед Андрей с Митей потащили бредень к реке. Мы с Пашкой увязались за ними. На берегу бредень размотали. Митя скинул рубаху и портки, взял палку с одним из концов бредня и поплыл на другой берег. Там, где не так глубоко, а можно было встать на дно, Митя остановился. С этого момента оба рыбака — дед Андрей и Митя стали брести по колено в воде, каждый вдоль своего берега. Пройдя метров сто, они остановились, и Митя поплыл обратно, волоча свой конец бредня. Сеть вытащили на берег. В мешке было множество рыб и раков. Раки были вовсе не красные, как я думал до этого, а темно-серые. Много раков запуталось и в ячейках бредня. Раков накидали в ведро, а дома сварили в соленой воде. Вот когда они стали красными. Я видел несколько раз ловлю рыбы бреднем. Однажды что-то сильное ударило в сеть бредня. Это была огромная щука, метра в полтора. Темная, в пятнах стального оттенка. Она запуталась в сети, но была опасна острыми зубами. Запутанную щуку дед Андрей переломил, как жердину, через колено. Тогда она утихла. Баба Лена запекла щуку целиком. Пирог был во весь стол.

Огород требовал каждодневного ухода: поливать из лейки, выпалывать сорняки, окучивать картошку, удобрять помидоры и огурцы. Лейка с водой была тяжелая. В жаркие дни маме приходилось таскать из колодца на огород сразу по два ведра на коромысле. Да и набирать воду из колодца было делом нелегким даже для деревенских баб. Мама никогда не жаловалась. Когда я прижимался к ней, жалея, мама целовала меня, успокаивая: «Это совсем не так уж трудно, Даник. Надо привыкнуть. Я почти привыкла. Скоро будет совсем легко. Зато как заживем со своей картошечкой да капусткой!» «С помидорчиками! С огурчиками! Моркошкой! Капюшкой!» — подхватывал я, и мы начинали смеяться. Удобрять помидоры, огурцы и капусту было не то чтобы тяжело, но сначала совсем непривычно и даже противно. Что было делать! В уральской глинистой земле без навоза или другого подобного удобрения кроме картошки да моркошки, да свеклы ничего не росло. Хорошо хоть удобрялся огород всего один-два раза в лето. Перед тем, как зацветали огурцы-помидоры. Удобряли тем, что отстаивалось за год в выгребной яме уборной, которая была во

дворе. Хозяева насыпали торф в выгребную яму. Дед Андрей черпал эту вонючую жижу ведром, приделанным к длинной палке. Баба Лена, Пашка, мама и я со своими ведрами (у меня было ведро) таскали удобрение на грядки. К вечеру затопили баню с пахучими свежими березовыми вениками. Изведено было много воды на мытье и стирку, а все казалось, что вонючий дух не улечитется ни с тел, ни с одежд.

Пашка был озорник и охальник. Озорник, потому что научил меня перелезать через забор в соседский огороде срывать листья табака. Я отдавал листья Пашке. Он сушил их тайком на крыше бани и тайком же курил свернутые листья махорки. Я не курил. Я закашливался. Пашка научил меня многим озорствам. Например, кататься верхом на спине нашего поросенка Ньюфа, когда он подрос. Пашка был единственным сыном у бабы Лены, которого по малолетству не послали на фронт. Она ему многое прощала. Дед Андрей не позволил бы, да он многого не знал, вечно разъезжая по району по делам «Заготзерна». Например, Пашка мог влететь в избу, схватить из миски соленый огурец и, тряся этим огурцом, произнести: «Едрена мать! — сказала Королева, увидев хер персидского Царя!» Мама, если была поблизости, делала вид, что не заметила. Баба Лена восхищенно восклицала: «Ах ты, охальник!» А я, пораженный не столько смыслом сказанного (из которого следовала возникшая романтическая связь между некоей Королевой и грозным персидским Царем), сколько энергичным ритмом и ясным звуком произнесенного, стоял с широко раскрытыми глазами, размышляя над загадочным смыслом слов *Едрена мать* и *хер*. Пашка мне вскоре смысл сказанного разъяснил без всяких аистов и капустных листочков. Многого я все равно не понимал, но Пашка упорно учил меня основам жизни, которые были вполне естественными для деревенских ребятишек. Например, петух напрыгивал на квохчущую отчаянно курицу. Пашка замечал: «Топчет петух курицу, она и орет от радости!». Или показывал мне на живую толстую палку с глянцевым набалдашником, выросшую из живота жеребца. Или в августе сманил меня пойти рано утром за пастухом, выгонявшим на пастбище коровье стадо. Сманил и показал, как бык оседлал нашу корову Маньку. «Бык корову тык. К весне наша Манька теленка принесет», — пояснил Пашка. Один из последних этапов моего натурального образования был связан с приездом на побывку дочери Тереховых — Райки. Это произошло осе-

нюю или зимой. Райка работала на фабрике в городе Молотове (Перми). Она была рыжая, языкастая и развязная девка. Нагулявшись по селу, Райка лезла на печку подремать. Этого момента Пашка и дожидался. Он манил меня и велел смотреть снизу. Видал?» — вопрошал Пашка. — «Угу».

Бывало, что никого в нашей избе не оставалось с утра. Все шли на работы в колхоз. Баба Лена, Пашка, мама. Тогда мама брала меня с собой. Помню поле, где растет лен. Цветы у льна голубые-голубые, как мамины глаза. Мама выдергивает сорные травы. Я помогаю маме. Мы вместе вырабатываем трудодни. А вот другое поле. Это рожь. Поле спелой ржи в августе. Мама жнет рожь серпом. Она ухватывает сколько может стеблей, на которых раскачиваются усатые темно-желтые колосья. Мама крепко держит стебли правой рукой. В левой руке у мамы серп — острый полукруглый нож с деревянной рукояткой. Как на гербе. Мама отчасти левша. Пишет правой, а делает тяжелые работы левой рукой. Мама подрезает стебли и складывает, пока не наберется целый сноп. Как только сноп набирается, мама крепко-накрепко перевязывает его стеблями ржи, как веревкой, и ставит один сноп к другому. Это называется вязать снопы. Они постоят, подсохнут. Потом их увезут молотить.

Двор около амбара чисто выметен и освещен фонарем. Вокруг темно. С реки тянет холодным ветерком. Поздний вечер августа. Молотьба. Почему надо было молотить ночью? На выметенной части двора, да еще, кажется, на постеленном сверху брезенте лежат снопы ржи. Тут немного наших заработанных мамой на трудодни снопов тоже. Дед Андрей молотит рожь. Он молотит рожь цепом. Цеп — это тяжелая короткая чугунная цепь, прибитая к толстой рукоятке. Как плетка. Вместо ремня — короткая цепь. Дед Андрей и в самом деле молотит — часто-часто бьет цепом по колосьям, из которых высыпаются зерна. Время от времени дед Андрей останавливается. Баба Лена или мама по очереди наклоняются, берут полной горстью зерна, которые еще смешаны с шелухой колосьев, и подбрасывают на ветру. Веют зерно. Отделяют его от шелухи и острых колких чешуек колоса. Очищают зерна от ости.

От папы пришло письмо. В письме папина фотография. Папа на этой фотографии снят в морской форме. На черном морском кителе капитанские нашивки. И фуражка тоже военно-морская с

кокардой-крабом. В письме папа написал, что его перевели служить на Балтийский флот. Он теперь командует дивизионом торпедных катеров. Мама всем показывает папину фотографию. Мы с мамой очень гордимся нашим папой.

А в это время в один из дней, когда лето приблизилось к своему концу, пришла похоронка на сына Тереховых — Александра. Похоронка — это письмо из штаба военной части, в котором написано, что такой-то солдат или командир убит на войне. Баба Лена сидела целыми днями в черном платке под иконой Николы Угодника и плакала. Все в нашей избе притихло и потемнело. Даже Пашка бросил озорничать. Дед Андрей, когда приезжал домой, сел на крыльцо и курил до поздней ночи.

«Как там наш папка на море?» — спрашивал я маму. А сам думал и думал об этой страшной похоронке. «Наш папка самый храбрый, самый сильный и самый везучий, сынуля! Он финскую войну прошел. И эту пройдет. Знаешь, как его немцы боятся?» «Как? Скажи, мам!» «О, все фашистские подлодки уматывают в свою Германию, когда папкины катера появляются на горизонте. Послушай, что в газете написано». «Давай, мам, читай скорее!» Мама читает из газеты: «Торпедные катера Краснознаменного Балтийского флота потопили вражескую подводную лодку, шедшую по курсу Кенигсберг — Кронштадт». «Может, это папкины катера?» «Наверняка, папкины!» — мама улыбается, подхватывает меня на руки, целует.

Я проснулся, потому что услышал, как мама плачет. «Мам, что с тобой? Мамуля, почему ты плачешь?» «Нет, ничего, Даник. Это я так. Сейчас перестану». Я сплю на широкой лавке, на которую положен сенник — матрас, набитый сеном. Я пытаюсь заснуть. Представляю, как завтра пойду с Пашкой на рыбалку. И снова слышу, что мама не спит, плачет. Я забираюсь на мамину кровать. Прижимаюсь к ней. Успокаиваю, целую мою маму. Мы засыпаем.

У нас важные новости. За мамой пришла от директора начальной школы посыльная — сторожиха Климовна. По секрету Климовна сообщает, что директор Зоя Васильевна хочет взять маму в школу учительницей немецкого языка и одновременно — пения. Мама надевает нарядное платье. То самое, в котором она ходила в Лесную академию на заседания кафедры. Еще до войны. Мне велено дожидаться дома. Я капризничаю. Мне ужасно хочется пойти вдоль села с мамой, когда она такая нарядная. Мама направляется к самому директору школы.

У мамы был замечательный музыкальный слух. И память была необыкновенная. Она знала много стихов. Песни со словами и мелодиями звенели в маминой душе, как птичьи голоса. Кроме русских, мама знала множество слов: немецких, литовских, белорусских. Идиш и русский были для мамы главными языками. Я помню, как мама сетовала: в школе нет учебников немецкого языка, нет словарей. Она сочиняла фразы на немецком языке и раздавала школьникам как учебное пособие. Составляла немецко-русские словарики к каждому уроку. В школе не было рояля. Мама разучивала с детьми песни *a cappella*. Мне предстояло идти в школу на следующий год.

Получается, все самое главное из деревенской жизни случилось в первый год. Конечно, нет! Просто, все оседало на сито первого нашего года, и потом трудно было разделить события всех лет эвакуации. Например, когда я начал сам ездить верхом? В шесть или в семь лет? Как я вскарабкался на спину Звездочки? Седла не было. Мальчишки гоняли на лошадях без седел — на мешке, переброшенном через спину.

Обычно коров пригоняли с пастбища часов в шесть вечера. Коровы шли и громко мычали, просили скорей их подоить. Наша корова Манька тоже громко мычала, особенно, когда подходила к воротам нашей избы. Тут баба Лена вертелась, как волчок. Скорее заводила Маньку в коровник, обмывала ей розовые соски, торчавшие из набухшего тяжелого вымени, ставила подойник под Манькин живот и начинала доить. Струя молока была в подойник. Это был малиновый звон. И сладкий пар вился из подойника. Я был наготове со своей кружкой. Баба Лена накрывала марлей мою кружку и наливала парное молоко, которое я выпивал тут же.

Подходила пора копать картошку и убирать прочие овощи. Помидоры налились зеленым соком. Мы собирали помидоры и прятали в темное место, внутрь валенок — созревать. Огурцы тоже уродились. Мы их срывали и ели все лето, а теперь можно было солить на зиму. Пора капусты еще не подошла. Ее срезали накануне первых заморозков. Но еще до картошки и прочих огородных дел предстояла заготовка лесной малины. А между выкапыванием картошки и срезанием капустных кочнов было время заготовки грибов и засолки их на зиму. Все эти работы повторялись каждый год нашего пребывания в уральском селе. Мама сразу поняла их

первостепенную важность для нашего выживания и свято следовала всем советам бабы Лены, которую очень уважала. Кажется, Тереховы тоже уважали и любили мою маму за открытый нрав, честность, участие во всех событиях жизни хозяев нашей избы.

Мама отправлялась за малиной с целой компанией баб. Она и сама выглядела, как деревенская: в ситцевой выцветшей косынке, надвинутой до самых бровей, в длинной черной оборчатой юбке, в летних лаптях, обшитых тряпицами, с коромыслом, ловко перекинутым на полплеча, с ведрами, нацепленными на коромысло. Несколько раз до рассвета уходила мама на весь день в компании баб из соседних изб и возвращалась под вечер с ведрами, полными темно-красных до лиловости ячеистых пахучих ягод. Мы сушили их на зиму. Это была и сладость к чаю, и целебное средство от простуды. Но вот однажды мама вернулась испуганная, без ведер и коромысла. Она обирала куст малины, так густо увешенный ягодами, что, казалось, конца им не будет. Вдруг мама услышала треск веток и нутряное урчание на другой стороне куста. Ветки раздвинулись, и огромная коричневая голова медведя появилась перед маминым лицом. Она побросала ведра с коромыслом и припустилась бежать. Ноги сами вынесли ее на дорогу, ведущую к селу.

Наступила осень. Начались затяжные тяжелые дожди. Мама преодолевала непролазную грязь и ходила в школу учить детей немецкому языку и пению. Чаще всего я оставался в избе с бабой Леной. Она пекла хлеб, и я с нетерпением дожидался, когда горячие темно-рыжие ржаные караваи появятся из горнила русской печи. Она варила щи в чугунке, а в другом — объемистом чугуне — мелкую картошку для свиней. Или пряла. Или ткала холст. И всегда разговаривала со мной. Рассказывала про сыновей. Особенно про убитого сына Александра. Но и про остальных, включая Пашку, которого баба Лена родила, когда ей было за пятьдесят. «Пошла я Ромашку доить — корова была у нас прежде нынешней Маньки. Пришла, подойник подставила, сосцы обмыла и расположилась доить, да как закрутило, как пошло, едва Пашутку-сыночка подхватить успела. Дом-от весь спит. Утро ранехонько. Ну, сама помаленьку и управилась. Ножичком пуповину перерезала да суровой ниткой перевязала...». Я слушал это и пытался вообразить и представить рассказанное в картинах знакомой мне реальности. Ведь удавалось же мне воображать и представлять картины из книги Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан». Корабль. Ис-

порченный компас. Африканские джунгли. Юный капитан Дик Сэнд. Так соединение слова устного и письменного стало для меня главным источником знания, воображения и наслаждения.

В лесу росло несметное количество рыжиков. Мы ходили в лес четвером: баба Лена, Пашка, мама и я. Мне тоже давали плетеную корзинку и ножичек. Рыжики стояли, как человечки в круглых оранжевых шляпах с едва заметными бледными узорами. А умирали рыжики, как солдаты. Подрежешь ножку, и оранжевый сок, похожий на кровь, капает из раны. Соленые рыжики шли вместо мяса всю зиму.

Конечно же, картошка была главной нашей заботой. Мы окучивали нашу картошечку летом. А поближе к началу августа начали подкапывать кусты картошки, отцветшей и красующейся зелеными, похожими на мелкие помидоры, ягодами.

Картофельная ботва пожухла, скукожилась и стала коричневой. Надо было копать картошку. Мы пошли на огород, захватив с собой вилы и мешки. Мама втыкала вилы под куст картошки и вытаскивала картофелины за ботву. Картофелины были прицеплены к корням куста и полужасыпаны глинистой землей. Я отрывал белые клубни от слабых корешков, отряхивал от земли и складывал в мешок. Многие картофелины отрывались от корней сами еще раньше. Надо было их разыскать в земле. Мы накопили несколько мешков картошки и решили пройтись снова и проверить, не осталась ли часть клубней в земле. И вот тут мама, наверно, от усталости или из-за того, что я сунулся, не предупредив, проткнула вилами насквозь указательный палец моей левой руки. Хлынула кровь. Палец завязали. Повезли меня в сельскую больницу. Сделали укол против столбняка. Рану промыли и наложили повязку с риванолом. Палец долго не заживал, рана гноилась. Мама боялась заражения крови. На этот раз обошлось.

Когда мама очищала капустные кочны от зеленых и негодных к заквашиванию листьев, она показывала мне зеленых, жирных, медлительных гусениц. В ведре с отходами набиралось порядочно зеленых листьев вперемешку с зелеными гусеницами. Они кишели между листьями, продолжая ползать и настойчиво жевать, хотя им оставалось жить совсем немного.

Осень перешла в зиму за одну ночь. Мы проснулись и увидели двор, огород и улицу заваленными снегом. Сразу стало веселее и

тревожнее. К ноябрьским праздникам дед Андрей с Митей закололи нашего поросенка, который стал боровом. На зиму была картошка, квашеная капуста, соленые огурцы, соленые грибы, мясо и немного муки. От папы приходили письма и открытки. Однажды пришло письмо от маминой сестры Фани. В конверт была вложена вырезка из армейской газеты с фотографией Фани и статьей. На фотографии была наша Фаня в гимнастерке и с орденом Боевого Красного Знамени. В статье было написано, что сержант войск связи Фаина Коган совершила воинский подвиг. Она несколько часов соединяла голыми руками провод, порванный снарядом. Когда руки заоченели от мороза, Фаня зажала концы провода в зубах, пока другие связисты не обнаружили ее и не пришли на помощь. Все это произошло под Сталинградом. Каждый день в последних известиях сообщалось о Сталинграде. Баба Лена плакала и молилась Николе Угоднику.

В середине января от папы пришла посылка. Немного запоздавшая к Новому Году, зато пришедшая как раз к моему дню рождения. Мне исполнилось семь лет. В посылке лежала синяя шелковая косынка для мамы. В то время по радио часто передавали песню «Синий платочек». Для мамы — косынка, а для меня — черная военно-морская шинель, сшитая по моему росту, и зимняя черная шапка-ушанка с настоящей золотистой кокардой-крабом. И черный форменный ремень с медной бляхой, на которой красовался якорь. Я надел всю эту красоту и не хотел снимать до самой ночи. Соседи приходили смотреть на меня, какой тут настоящий морячок появился в избе Тереховых. У Мити Терехова был фотоаппарат с *гармошкой*. Он сделал снимок, проявил его, и мы послали фотографию папе на Балтику. Мама была снята в синей косынке, а я в шинели, перепоясанной морским ремнем, и в черной шапке-ушанке с золотистым крабом. Правда, синий цвет косынки вышел черным.

По радио передали, что наши разбили немцев под Сталинградом. Мама и баба Лена плакали. В избе то и дело хлопали двери туда-сюда. Приходили-уходили бабы-соседки. Впервые я услышал, как не только тоскуют по ушедшим на фронт, но и мечтают вслух об их возвращении. До Сталинграда, до февраля 43-го года был полный мрак и уныние. Теперь блеснула надежда.

Свою первую учительницу я не могу припомнить. Зато определенно помню, что мне было безумно скучно в школе. Букварь я

давно прочитал. Книжки читал бегло. Я помогал учительнице обучать чтению своих одноклассников. С чистописанием выходило не так гладко. Я знал, как писать слова. Какими буквами. Мне было скучно выводить дурацкие прямые линии и закругления с разными степенями нажима. Знаменитые восемьдесят шестые перья (медные со звездочками) — ломал без всякой жалости. Письмо у меня было беглое и грамотное. Учительница ставила мне четверки, хотя, наверно, я заслуживал двоек по чистописанию.

Наступила зима. Я хорошо бегал на лыжах. Многие добирались до школы по раскатанной лыжне. Так было удобней и быстрее. Я не отставал от сельских ребят. Пашка по-прежнему опекал меня. Мы вместе бегали на лыжах кататься с высоченных гор. Палки мы оставляли внизу, под горой. Считалось недостойным пользоваться палками, скатываясь с горы. Может быть, в этом была особая предосторожность: если упадешь, то не наткнешься на острые палки. Особым шиком считалось скатиться с горы, кончавшейся трамплином. А к тому же, в конце горы, перед самым трамплином стояли мальчишки и подбрасывали палки под мчавшиеся лыжи. Надо было подпрыгнуть и перелететь сначала через палки, а потом над трамплином.

Я потерял чувство страха.

Мама учила сельских ребятшек немецкому языку и пению. Зима летела к Новому Году. В январе 1944 г. по радио передали, что наши войска прорвали немецкую блокаду Ленинграда, длившуюся три года. Потом был освобожден Таллинн. Дивизион торпедных катеров, которым командовал папа, принимал участие в боях за Кенигсберг. Папа получил орден Отечественной войны. В конце апреля 1944 г. папа прислал нам вызов. Можно было возвращаться домой в Ленинград.

Мой автобус из Перми приближался к селу Сила. Не отпускали воспоминания о войне и эвакуации.

Когда я уезжал из Москвы, был март. Улицы дышали весной. На прощанье я привез Ирочке мимозы. Они светились, как желтые фонарики. Тротуары блестели от растаявшего снега. А в Силе еще была глубокая зима. Автобусная станция располагалась на городской площади. К тому времени, когда меня поселили в маленькой сельской гостиничке, начало смеркаться. Я помнил, что изба Тереховых стояла на Силинской улице. Помнил, что Силинская улица

тянулась вдоль реки. Но ведь со времени эвакуации прошло почти сорок лет. Срок невероятный, сравнимый с блужданиями евреев по пустыне. Вдруг подумалось, что все эти годы я блуждал, чтобы вернуться в обетованную землю моего детства — на Урал, в село Силу. Верный компас — предчувствие! И все-таки, я боялся ошибиться. Боялся, что не найду никого из Тереховых, но отгонял сомнения, верил, почти знал, что приеду и найду.

Я покорился интуиции. Пошел на поиски избы Тереховых, как ходил сотни раз в эвакуации: от городской площади — Силинской улицей — к нашей избе. Очертания изб, изгородей, ворот и приусадебных строений сами вели меня к цели моего путешествия. По правую сторону улицы дома обрывались, а дальше шел спуск к реке. А на левой стороне, я это помнил доподлинно, по нашей улице когда-то стояло еще несколько изб, среди которых Тереховская изба-пятистенка была предпоследней. Дальше начиналось колхозное поле. Так и оказалось. Я увидел знакомые ворота, избу с крыльцом, огород и баньку в углу усадьбы. Я отворил калитку ворот и шагнул во двор. Рядом с коровником стояла все та же собачья будка. Я так и замер от предчувствия, что из будки выскочит черный лохматый пес Полкан, подбежит ко мне, гремя цепью, и станет ластиться, как бывало в детстве. Однако черный пес, выскочивший из будки, не признавал меня, а злобно лаял. Я едва успел отпрянуть. Дворовый сторож стоял на задних лапах, натянув до предела цепь, чуть ли не тащившую за собой будку. Я метнулся на крыльцо, куда собака не могла дотянуться. Дверь избы отворилась, и на крыльцо шагнул бородатый мужик в косоворотке с распахнутым воротом и валенках. «Вы кто?» — спросил бородатый и начал внимательно всматриваться в мое лицо. «Мне зовут Даниил. Даниил Новосельцевский. Во время войны я жил в этой избе вместе с моей матерью — Стеллой Владимировной». «Так вы будете... ты будешь — Даней, Данькой?» — воскликнул бородатый мужик и бросился меня обнимать. Это был Пашка Терехов, нынче Павел Андреевич Терехов, мой друг и учитель жизни из давних лет эвакуации. Через темные сени мы вошли на кухню, где готовила обед, стоя перед громадной русской печкой, полная женщина лет пятидесяти или немногим больше. Павлу Андреевичу было примерно столько же. Я помнил, что он был старше меня лет на десять. Я разглядел его лицо: глубоко посаженные синие глаза, красноватый (от зимнего солнца и ветра) пигмент кожи, гладко зачесанные ред-

кие седые волосы. «Это моя жена Галина Прокофьевна. Работает бухгалтером на льнокомбинате», — сказал Павел. «Гая», — протянула мне руку жена Павла. «Даниил», — мы познакомились. Она вернулась к плите.

Убегая из Москвы, я знал, что встречу кого-нибудь из Тереховых или тех, кого помнил по годам эвакуации, и потому привез кое-какие подарки, которые оставил до поры в гостинице. Но какой же русский человек, отправляясь даже в возможные гости, не захватит бутылку вина? У меня была с собой черная корреспондентская сумка с широким ремнем, которую я купил когда-то в московском магазине «Лейпциг» перед поездкой на праздник поэзии в Литву, а в сумке — бутылка коньяка «Арагат» и коробка трюфельных конфет. Я выставил бутылку и конфеты на кухонный стол. «Павел Андреич, можно мне походить по избе?» — спросил я, одновременно нащупывая словарь нашего будущего общения. Он не возразил против *Павла Андреевича*, продолжая обращаться ко мне *Даня*, *Даниил*. Врожденным чутьем Пашка понял, что так будет правильнее. А ведь он ничего еще не знал о моей жизни и о цели моего приезда в Силу, хотя как умный и проживший жизнь человек, наверняка, предположил нечто странное в моем неожиданном появлении.

Я обогнул печку и вошел в горницу. В комнате было темно. В углу мерцала лампадка. Павел включил электричество, и я увидел, что лампадка висит, как и прежде, в левом углу, перед иконой святого Николая Угодника. «Помнишь, Даня, мою матушку?» «Ну, конечно, Павел Андреевич, ведь она со мной столько времени проводила! И мама вспоминала Елену Матвеевну добрым словом». «Знаешь, Даня, давай звать друг друга, как в детстве: Даня, ну, в крайнем случае, Даниил. А ты меня — Паша, Павел. Какой для тебя я Павел Андреевич!» Пожалуй, Павел не лукавил. Он улыбнулся и обнял меня. Мы обошли горницу. За окнами стемнело. Через дорогу в избе напротив погас электрический свет, и осталось голубое свечение телевизора. Мне хотелось пойти дальше по избе. Горница как будто стала обширнее с тех лет. «Здесь была когда-то кровать матушки и отца. И отца моего помнишь, Даня?» «Как же, Паша! Как я могу забыть Андрея Михеевича?!» — ответил я и посмотрел на дверь в следующую комнату. Терехов проследил мой вопрошающий взгляд: «Правильно, Даня, там жили вы с твоей матушкой, Стеллой Владимировной. Хочешь взглянуть?» Я кивнул. Сил не было ответить. Слезы перехватили дыхание. В комна-

те, где мы жили с мамой во время войны, ничего не изменилось. Окошко выходило в огород к баньке. У стены кровать, старинный шкаф, полка с книгами, наверняка, еще с теми, которые читала моя мама или я. Появился столик с электрической лампой для вечернего чтения.

Мы вернулись на кухню. Галина Прокофьевна накрывала к ужину. На столе, кроме принесенной мною, возвышались еще две бутылки: «Московская водка» и портвейн «Золотая осень». Павел налил нам по граненому стаканчику водки, а жене — портвейна. Я выпил немного. Павел на одном дыхании осушил свою порцию и торопливо налил себе, с укоризной показав на мой стакан с остатками водки: «Обижаешь, Петрович». Галина Прокофьевна заступилась за меня: «Если человек непривычный, зачем же, Пашенька, напирать!» «Я, Галина Прокофьевна, не напирваю, а угощаю гостя. Даниил не маленький. Сам решит, пить или не пить!» «Ладно. Ладно, Пашенька, я так, к слову». Она торопливо отпила глоточек портвейна и вернулась к плите. С тех пор, как я жил во время войны в избе Тереховых, произошли изменения, которые замечались не вдруг, а постепенно. Например, в прежние времена суп (чаще всего это были щи из квашеной капусты) мы ели из одной большой миски, поставленной посередине стола, по очереди погружая деревянные ложки в эту миску и помогая ломтем хлеба, донести до рта горячее варево. Наверно, этот обычай отошел, и хозяйка поставила перед каждым из нас привычные фаянсовые тарелки со щами и положила металлические ложки. Павел добавил себе и мне из бутылки «Московской водки», пояснив: «Коньячок оставим на потом, для хорошего пищеварения. Так в умных книгах написано». На столе, кроме мисок со щами, стояли деревенские закуски: соленые огурцы и грибы (мои стародавние знакомые — рыжики!), ломти розового сала, масло, хлеб. Уклад в этой избе, наверняка, мало изменился со времени войны. Я ведь ничего не знал о жизни Тереховых с тех пор, как мы с мамой вернулись в Ленинград из Силы. Впрочем, как и они о моей. «Рассказывай, Даня, откуда ты приехал и кто ты есть в настоящем?» — спросил Павел и снова наполнил граненые стаканчики. Я рассказывал, немного лукавя, потому что утаивал подробности, которые Тереховы просто не поняли бы или неправильно истолковали. То есть, рассказал о моей жизни по возвращении из Силы в Ленинград. О родителях. О школе. Об университете. Но как-то в общих словах, пробегая по ступеням событий, как пробегается гармонист по клавишам, от-

кладывая переход к главной мелодии. «И матушка и отец оба умерли!» — всплеснула руками Галина Прокофьевна. После второго стаканчика портвейна она попросила величать ее Прокофьевной, или проще — Галиной. «Да, оба умерли. Мама раньше. Отец лет пятнадцать назад. Впрочем, у него была другая семья». «Тем более, жалко. Переживал, чай, что такого сына оставил». Выпили за память моих родителей. Павел заметно отяжелел. «А ребятишки-то, ребятишки у тебя есть, Петрович?» — предложила Галина Прокофьевна самый обкатанный в народе предмет общения. «Холостой я, Прокофьевна!» — снова слукавил я, потому что кем, как не единственной женой, была для меня Ирочка! «И не был женат?» «Не был», — окончательно лишил я хозяйку почвы для традиционной беседы. Ибо что, как не рассказ о родителях, жене/муже и детях соединяет неожиданными мыслями и теплом добра людей, готовых принять новую или перелить старую дружбу в крепкую привязанность взаимодоверия! Я же обрубил все возможные для Галины Прокофьевны ходы к словам, скрепляющим дружескую откровенность. Галина Прокофьевна даже вздохнула огорченно, так вероломно увел я разговор от себя в надежде на исповедь со стороны Тереховых. Водка кончилась. Правда, на мою долю досталось не больше трети опорожненной бутылки. И опять Павел Андреевич уступил место семейного летописца жене, прежде пытавшейся разговорить меня. Да и язык старшего приятеля моих детских забав слушался с трудом. Поженились Тереховы в конце 50-х, когда Павел после окончания Уральской ветеринарной академии в Молотове (Перми), вернулся в Силу, получив должность директора районной ветеринарной станции. Выросли дети и разъехались по институтам. Анечка — старшая — окончила Свердловский медицинский, стала врачом-инфекционистом. Гришенька — на два года младше Анечки, поступил в Академию связи в Ленинграде. Служит на Памире, около самой границы с Афганистаном. «Место беспокойное», — вставил тяжелое словцо Павел Андреевич. — Да где в наше время спокойно! Ты вот, Петрович, небось, не от покоя в наши дали уральские прикатил! Или я ошибаюсь?» Я кивнул ему, промолчав. Галина Прокофьевна чувствительным сердцем уловила, что у меня многое на душе, но этим многим я хочу вначале поделиться исключительно с ее мужем по праву такого глубинного знакомства и такой изначальной дружбы, что, порой, сильнее кровного родства. Она ушла, пожелав нам хорошей беседы и доброй ночи, громко шепнув мужу (с оглядкой на меня), чтобы не пил больше.

Мы засиделись с Павлом до полуночи, опустошив бутылку коньяка, после чего оба оказались в серьезном подпитии, особенно Павел. К счастью, алкоголя в доме больше не оказалось, а на дворе была ночь, и некуда податься, чтобы раздобыть еще спиртного. Это нас отрезвило, и мы решили, что выпили достаточно и пора остановиться до следующего раза. Заварили крепкий чай, и Павел начал постепенно трезветь. Я рассказал про мою одинокую юность, сначала без мамы, а потом и без отца, с которым, хотя и не жили под одной крышей, но часто виделись и были близки, как нечасто близки отец с сыном, даже живущие вместе. Потом — про Университет и работу в ленинградской школе, где я бесславно учил великовозрастных балбесов классической русской литературе с зачатками современной советской, скукоженный курс которой полнотрудно дышал Маяковским, Шолоховым и Фадеевым, да и то с трусливой оглядкой: как бы не вызвали притока подражателей «Флейта-позвоночник» или «Облако в штанах». Что же касается Блока и его прямых наследников — Есенина и Ахматовой — от них прятались, как от талантливых, но больных индивидуумов, практически непригодных для коммунальной кухни советской литературы. Потом рассказал о моих стихах, почти никогда не публиковавшихся в советских журналах, но (случалось!) прораставших на дальних фермах эмигрантской литературы. «Почему не печатают? Это же твоя профессия! Не дают даже на хлеб зарабатывать?» «В том-то и дело, что на хлеб — дают, а иногда и на хлеб с маслом!» «Как же? Каким путем подкармливают?» «В том-то и наука их злая — не пускать в литературу, но и помереть с голода не позволить!» «Как так? Мудрено что-то закрутил, Петрович! Растолкуй, пожалуйста, мил человек». «Попробую, Андреевич! Вот, скажем, вокруг Силы, да и по всему Пермскому краю живут пермяки. Я взялся бы изучить пермяцкий язык и перевести их народные песни и сказки на русский...» «Да все, пожалуй, паря, переведено. А если и не все, так тех пермяков, которые говорят на родном языке да еще старинные сказки знают, почти и не осталось!» «Да, это мы так, Андреевич, абстрактно рассуждаем. Фантазируем. Словом, есть такая профессия: литературные переводчики. Я этим и занимаюсь. Перевожу стихи поэтов братских республик на русский язык». «И за это тебе платят?» «Когда заказывают в издательстве переводы, то платят. Да вот в последнее время перестали заказывать...» «Отчего же к тебе эти заказчики переменялись, Даня?» «Сложная история, Андреевич. Да и стоит ли на сон грядущий?» «Какой тут сон, Даня?

Ты всю мою душу встряхнул. Отца моего, матушку вспомнил. А теперь и вовсе непонятно, что с тобой происходит? Отчего ты срочно и без предупреждения к нам приехал, словно сбежал от кого-то? Почему не можешь своей профессией заниматься, чтобы все было по справедливости и достоинству? Ты что-то недосказываешь, паря. Как в детстве, когда я тебя на крыше настиг, где малина сушилась. Помнишь, Даня?» — он засмеялся, так открыто, как бывало, когда мы озорничали, таясь от матерей. Я подождал минутку-другую прежде, чем начал рассказывать. Да и понятно. Хотя я не сомневался в порядочности Терехова, кто знает? Насколько глубоко развратила его (вместе со всеми) советская пропаганда? Но я преодолел сомнения и рассказал Павлу о нашем Кооперативном театре («Подумать только — кооперация, чуть ли не колхоз в самом центре Москвы! Авось, не такой, как у нас!»), пока не подошел к самому главному — выходу книги стихов «Зимний корабль» в парижском эмигрантском издательстве «Воля». «Как это получилось, что книга вышла за границей? Я не ослышался, Петрович?» «Нет, Андреевич, не ослышался». «Ты разрешение, небось, от властей получил — на печатание книги в западной стране?» «Нет, Андреевич, разрешения не получал». «Погоди, погоди, так ты самовольно передал свои стихи, чтобы их на Западе издали?» «Добровольно, Паша». «Что же ты хочешь, как Александр Исаевич, до предела довести и — в эмиграцию?» «Нет, Павел Андреевич, не хочу. Я русский писатель и хочу жить на родине». Потому и предпочел добровольную высылку». «Как Пушкин — в Михайловское?» «Да, но только в Силу!» Он нахмурился, положил кулак на кулак, а сверху уперся лбом, так что стол, его кулаки и лоб стали крепостью. В эту крепость не проникнуть было никому, кроме его собственной мысли и совести. Павел задумался. «Теперь понятно, что тебе от всего, что связано с литературой, надо временно отгородиться. А я — старый дурак — подумал, что ты в школу пойдешь литературе и русскому старшеклассников обучать. Забудь навеки! Моментально хвосты за тобой увяжутся. То не так сказал и это не так истолковал! Знаю я этих идеологов! Тебе надо что-то другое подыскать. Да утро вечера мудреней, а теперь даже и не вечер, а глубокая ночь. Давай-ка я тебе на полатях постелю, как в старые времена. А завтра обмозгуем». Под самый конец разговора, ни на что не надеясь, я рассказал Павлу о давнишней моей работе с животными, на которых я проверял активность препарата чаги против экспериментального рака. Наверно,

в минуты безнадежности человек начинает непроизвольно оперировать слоями *аварийной памяти*, хранящимися в глубине сознания или подсознания?

Я проспал до полудня, так сладко спалось на овчине, наброшенной Павлом на полаты, поверх лука. На кухонном столе меня ждал завтрак и записка: *«Даня, пей чай и закусывай. Я тебе позвоню и пришлю за тобой машину. Павел. Попросишь телефонистку соединить с ветлечебницей»*. На деревянной кухонной доске лежал каравай ржаного хлеба, покрытый полотенцем. На плите стоял чайник с кипятком, а рядом — заварной — расписанный васильками. Я вспомнил, что поле льна, который пропалывала мама, было усеяно васильками. Тут же на столе были миски, одна со сметаной, другая с творогом, и еще одна — с медом. Я позавтракал. Надо было возвращаться в гостиницу, а потом — начинать поиски работы и жилья. Все, что вчера вечером, в разговоре с Тереховым, казалось неверным, ошибочным и заведомо обреченным на провал, в утреннем свете представилось возможным и вполне подходящим. То есть, никакой другой профессией, кроме перевода и писания стихов, учительства и работы с белыми мышами, я не владел. Но и сам понимал, а Павел сказал открытым текстом, что даже в такой глуши меня обнаружат как подозрительную личность, невесть откуда свалившуюся в эти окраинные места. А потом и во все докопаются до причины моего бегства из Москвы на Урал. Словом, я позавтракал и позвонил Терехову, чтобы сказать, что возвращаюсь в гостиницу, а оттуда отправлюсь в школу на поиски работы. В сущности, работа мне была нужна не столько для добычания денег на хлеб насущный и жилье, которое я должен был незамедлительно снять, а для возобновления статуса трудящегося. В противном случае, местные власти отнесут меня к категории тунеядцев. Какое-то количество денег я надеялся зарабатывать по-прежнему переводами, хотя понимал, что мои связи с издательствами постепенно угаснут. Так что со всех точек зрения, надо было искать работу и, одновременно, жилье. Я вернулся в гостиницу и, не обращая внимания на удивленное лицо дежурной («Где гость из Москвы провел ночь?») попросил разрешения позвонить. Телефонистка соединила меня с ветлечебницей.

Голос Павла ответил: «Ветлечебница слушает!» «Павел Андреевич, — сказал я ему: — Никуда мне от школы не деться. Так что спасибо тебе за советы и дружеское участие, но я собираюсь поискать работу учителя. Что ты молчишь, Паша?» «А молчу я,

Даниил Петрович, потому что ты как был своевольным и упрямым мальчишкой, таким и остался. Впрочем, сходи в школу, прогуляй по селу, подыши нашим воздухом, а потом позвони мне, и мы увидимся. Между прочим, тебе надо подыскать квартиру. В гостинице жить дороговато. Да и не принято по местным правилам давать номер в гостинице дольше, чем на неделю. Конечно, можешь поселиться у нас. Но ты любишь независимость. Впрочем, решай сам». «Я тебе позвоню, Павел Андреевич!» Дежурная показала, как мне найти школу. Я решительно двинулся, но по мере приближения к стандартному кирпичному зданию мне вспомнился опыт преподавания литературы в ленинградской школе, ложь, которой я должен был отравлять моих учеников, перемежая неправду с правдой, соединяя при помощи мифа об утопическом коммунизме — истинных героев-идеалистов с карьеристами и палачами, хозяйничавшими в реальной стране тоталитарного рабского равноправия. И не доходя до школьных ворот, я повернул обратно в гостиницу. Очевидно было, что без помощи Терехова я не мог обойтись. Я позвонил в ветлечебницу. Через четверть часа к гостинице подкатил ветеринарный микроавтобус-рафик с голубым крестом и голубым полумесяцем. Дверца распахнулась, и на землю, покрытую заледенелым снежком, спрыгнула смуглая красавица. Она была в распахнутом полушубке, на воротник которого падала волна иссиня-черных волос, которые по степени блеска соперничали с начищенными модными сапожками, отражавшими мартовское сияющее солнце, какое бывает на севере накануне Масленицы. «Меня зовут Катерина. Я работаю шофером ветлечебницы. Пожалуйста в машину!» — она так распахнуто и белозубо улыбнулось, что захотелось стоять, любоваться красавицей и никуда не ехать. Я в ответ протянул руку: «Даниил». «Вы из Москвы?» «Из Москвы». «Надолго?» — спросила Катерина. «Как получится, — ответил я неопределенно. — Работу и жилье подыскиваю». «Павел Андреевич поможет. Он всем помогает. Павел Андреевич не только лошадей и коров лечит. Он людей добром лечит. Павел Андреевич в нашем районе человек особенный!»

Строение, куда я был доставлен шофером по имени Катерина, находилось на противоположном от дома Тереховых конце села и представляло собой ветеринарную лечебницу. Я вошел внутрь. На скамейках сидели владельцы кошек и собак, принесенных или приведенных на лечение, кастрацию или иное оперативное вме-

шательство, чаще всего — на вакцинацию по поводу самых разнообразных инфекционных заболеваний домашних животных. Прием еще не начался. Помощник Терехова, представившийся старшим веттехником, Клавдием Ивановичем Песковым, мужчина около сорока пяти лет с усталым или издерганным пьянством лицом, провел меня в кабинет директора и велел подождать: «Павел Андреевич в карантинном отсеке больную овцу осматривает, — сказал Клавдий Иванович. — Вы журналчик полистайте, если заинтересуетесь. Я вас чаем напою». Отказавшись от чая, стал я просматривать журнал «Ветеринария», лежавший на письменном столе. Журнал был открыт на странице, с которой начиналась статья «Случаи листериоза в практике сельских ветеринаров». Хотя с тех пор прошло около тридцати лет, мне запомнилась фамилия и инициалы первого автора В.П. Соловьева. Запомнилась, потому что полностью совпадали с фамилией и инициалами театрального критика, наиболее жестоко разгромившего спектакль «Манон Леско». Писатель, как и всякий художник, на всю жизнь запоминает обиды, связанные с творчеством. Я пробежался по статье. В ней обобщались наблюдения группы ветеринарных врачей средней полосы России о появлении некоего заболевания, приводящего к падежу крупного и мелкого рогатого скота при клинической и патолого-анатомической картине менингитов и энцефалитов. Бактерия, вызывавшая инфекционный процесс, была близка по строению палочке дифтерии. Профилактика заболевания не проводилась, потому что не было надежной вакцины. Поэтому основным выводом авторов статьи была необходимость получения такой вакцины. Некоторые фразы в статье были подчеркнуты красным карандашом. Я настолько увлекся чтением, что не заметил, как вошел Терехов. «Представь себе, Петрович, какое злосчастное совпадение: вчера пришел журнал, а сегодня привезли овцу, погибающую от воспаления головного мозга — энцефалита. Пока осматривал, овца пала. Наверняка, случай листериоза». «Как ты знаешь, что энцефалита, Павел Андреевич?» «В то время как ты статью читал, я вскрытие павшей овцы сделал. А насчет листериоза — мое предположение, основанное на клинической картине. Конечно, не хватает микробиологического диагноза». «Ты, Андреевич, еще и патологоанатом?» «Знаешь, Даня, в сельской местности что человеческий доктор, что ветеринар — должен быть мастером на все руки. Никогда не знаешь, какой фортель тебе жизнь выкинет.

Впрочем, мы с тобой об этом подробно поговорим. Давай, сначала обсудим главное: твое жилье и работу». «А вдруг я на квартиру не заработаю, Павел Андреевич?» — в тон ему ответил я. «Если примешь мое предложение — на жилье заработаешь. Да еще на пельмени!» «Каково же предложение?» «Ты давеча рассказал мне, что несколько лет работал в биологической лаборатории. Правильно я понял?» «Да, было такое дело. Вводил белым мышам раковые клетки, наблюдал за развитием экспериментальных опухолей и лечил неким препаратом». Я хотел рассказать Терехову, какой именно препарат вводился мышам, как мы радовались нашим успехам и как бесславно все закончилось, но он прервал меня, спеша вернуться к тому, что его сейчас так занимало: «Ну, понятно! Понятно! Примерно то же самое предстоит проделывать (если согласишься!) тебе, но не с клетками рака, а с бактериями, которые заражают коров, коз и овец и даже могут передаваться людям и вызывать менингиты. Впрочем, ты все это считаешь в учебнике микробиологии». Он протянул мне толстую книгу, на обложке которой было написано по-английски: «Ветеринарная микробиология». Терехов уловил мой удивленный взгляд: «Это моя дочка Анечка из Свердловска прислала, а ей подарили коллеги из Англии. Она ведь эпидемиолог-инфекционист. Очень много общего между распространением и течением инфекций у людей и домашних животных. Впрочем, вернемся к нашим баранам. Что ты думаешь о должности ветеринарного техника-микробиолога?» Я посмотрел на него с удивлением: «Если я правильно понял, ты, Павел Андреевич, предлагаешь мне работу?» «Да, предлагаю. Кое-какие деньжата мне подкинула Пермская ветеринарная академия. Кое-что обещал давать сельсовет». «Конечно, Павел Андреевич, попробовать можно. Правда есть одна проблема». «Какая проблема, Петрович?» «Я никогда не работал с микроорганизмами. Хотя техника работы с микробами и раковыми клетками во многом сходна. Требуется умение пользоваться микроскопом и готовить стерильные питательные среды». «Самое главное, ты умеешь обращаться с лабораторными животными: заражать и лечить». «И все-таки, Павел Андреевич, я хотел бы поучиться у опытного микробиолога». «Не беспокойся! Я договорюсь с главврачом нашей больницы, и в их лаборатории тебя научат микробиологической технике. Кстати, для оформления на работу, у тебя есть какой-нибудь диплом?» «Ленинградского университета. Правда, по фи-

логии». «Это неважно! А трудовую книжку привез?» «Вот!» — я вытащил из своего чемоданчика университетский диплом и трудовую книжку. Терехов внимательно перелистывал, пока не наткнулся на запись о том, что я принят на должность старшего лаборанта группы по очистке и определению противоопухолевой активности препарата чага (ПЧ), а через несколько лет уволен по собственному желанию. «То, что надо, Петрович! Теперь никакая гнида не подкопается! Пиши заявление о приеме на работу». Он крикнул в открытую дверь: «Клавдий Иванович!» Появился знакомый мне заместитель Павла, заполнив массивной фигурой проем директорской двери. Он был в хирургической маске, халате и резиновом фартуке: «Заканчиваю удаление опухоли бедра у собаки. Думаю, что освобожусь минут через пять». Мы начали разговор о квартире. У меня пока никаких представлений не было, кроме вакантной комнаты за рекой, которая сдавалась на год и куда надо было добираться через мост над рекой Силой. Адрес мне дала дежурная по гостинице. «Не советую, Петрович, ты оттуда в ветлечебницу до вечера шагать будешь, и обратно — до утра. Есть у меня идея поинтересней. В это время в кабинет Терехова вошел Клавдий Иванович, без маски и резинового передника. «Вот, Иваныч, оформляй специалиста по научным экспериментам, — Терехов передал Клавдию Ивановичу мое заявление и трудовую книжку. Песков ее торопливо перелистал, воскликнув: «Понимаю!» Далее шел процесс передачи трудовой книжки, моего заявления и перебрасывания бухгалтерскими словечками и магическими цифрами между директором и его заместителем. С оформлением было покончено. Терехов и Песков окончательно обменялись словечками/полунамеками, совершенно мне непонятными, не исключено, на пермяцко-русском местном наречии, скорее всего мною забытом со времени эвакуации. Затем они попросили меня снова побыть в кабинете одному. «Мы тут кое-что обсудим, Петрович, а ты поскучай. После этого поедем обедать в столовую. Она же по вечерам кафе/ресторан «Кама». Я кивнул. Они вышли. Я начал листать «Ветеринарную микробиологию», изданную в Англии, долиставшись моментально до главки, посвященной бактериям, вызывающим листериоз у животных и людей. Оказывается, вначале была большая путаница в диагностике, потому что листериозные бактерии напоминали под микроскопом возбудителя дифтерии. Правда, на этом все сходство заканчивалось. Домашние животные заболевают листериозом, поедая зара-

женную траву или сено. Люди — питаюсь инфицированными продуктами, чаще всего молочными. Лечение антибиотиками оказывается ненадежным, потому что листереллы стремительно приобретают устойчивость к традиционным (пенициллин, эритромицин) и новейшим (гентамицин) препаратам. Отличительными от дифтерийного микроба признаками была подвижность, обнаруживаемая под микроскопом, и способность разрушать красные кровяные клетки во время роста на поверхности плотной питательной среды. Когда-то я выращивал опухольные клетки на поверхности пластмассовых фляжек или на питательном агаре. Кое-что становилось ясным.

Через полчаса Терехов вернулся, вручил мне проштампованную трудовую книжку и, загадочно улыбнувшись, повел показывать некое помещение, которое он назвал «келейка». Я осмотрелся. Это была изолированная комната, с дверью наружу и другой — в служебное помещение. Такие комнаты в наши дни принято называть студиями. Моя студия была с дровяной печкой-плитой, умывальником и окном. В комнате стояла застеленная железная койка, стол, два стула и этажерка для книг. Около двери к стене была прибита доска с крюками и полкой — для пальто и шапок. Кроме электрической лампочки, свисавшей с потолка, на столе гусем изгибалась переносная лампа, удобная для чтения, письма или печатания на машинке. Да, я не упомянул, что большее место в одном из двух привезенных чемоданов занимала моя «Олимпия», переделанная на русский шрифт. Привез я и коротковолновый радиоприемник «Грюндиг». Келейка была частью ветеринарной станции, но с элементом независимости — отдельным входом. «Видишь, чисто, тепло и сухо. Катерина прибралась. Она у нас на все руки: шофер, санитарка, курьер. Знаешь — когда женщина одна растит сына. Да, сам, как следует, познакомишься». Мы вернулись в кабинет Терехова. Я заметил, что на ветстанции было принято не досаждать друг другу лишний раз. Каждый занимался своим делом, а для общения была так называемая буфетная комната: закуток со столиком, где к полудню закипал электрический чайник, и сотрудники перекусывали тем, что приносили из дома. Поскольку работы всегда было много, редко выпадало, чтобы чаевничали вместе.

Помню, что мой самый первый день на Силинской ветстанции Терехов провел со мной. Мы вернулись в его кабинет. Видно было,

что он хотел поскорее поделиться со мной какими-то очень важными для него мыслями, но молчал, подыскивал нужные слова. Наконец, сказал: «Даня, ты веришь в судьбу?» Я не знал, что ответить. Павел до этого казался мне воплощением рационализма. И вдруг — вопрос о судьбе. Я, помедлив, ответил: «В судьбу как потустороннюю силу, управляющую моей жизнью, не верю. Здесь царит биология. А вернее — молекулярная биохимия. А вот в возможность совпадений, которые не поддаются (пока еще не поддаются!) рациональному анализу, верю. И убеждался в этом много раз. Здесь — царство космической физики и астрономии». «Ну, хорошо — цепочка совпадений, Даня! Назовем так». «Чисто условно, Паша, хотя этому могут быть и другие, более точные названия». Он улыбнулся. У Терехова была такая открытая улыбка, мол, прости за наивную откровенность, но по-другому не умею. Павел улыбнулся и сказал: «Я ведь предчувствовал, что ты приедешь. Впрочем, не так. Я знал, что кто-то приедет или что-то произойдет, и, наконец, разрешится эта разгорающаяся проблема с листериозом. Деньги получены, я понимал, что надо делать, а у самого руки не доставали, времени не было, и так тянулось, тянулось, пока ты не приехал. Поистине, наперекор пословице: «Свалился на голову!» Ты в руки раскрытые прилетел, как весточка из детства. Мы ведь дружили с тобой, Даня. Хотя и разница была в возрасте, а дружили. Пытливый ты был мальчуган». «Я тоже о тебе хорошо помнил всю жизнь, Паша». «Так вот, я сразу подумал, когда ты рассказал о своих приключениях, не начать ли сейчас, немедленно эту мою мечту в жизнь переводить?» «Ну, да, Паша, я завтра же пойду в больничную лабораторию. Ты только договорись. Подучусь, и — начнем охотиться за этими листереллами». «Правильно! Так и будет, Даня. Мы тебе помещение для занятий микробиологией оборуруем. Ты не беспокойся! Автоклав у нас на ходу. Пипетки, колбы, чашки Петри и питательные среды закажем. Не сомневайся! Но не об этом моя мечта, Даня!» «О чем?» «Ты послушай, надо такую вакцину изобрести, которая не только будет вылечивать от листериоза, но и вызывать у здоровых животных невосприимчивость к листереллам. Изобрели же такие вакцины Дженнер — против оспы, Пастер — против сибирской язвы и Кальметт вместе с Гереном — против туберкулеза. Мы будем вакцинировать здоровых животных, а заболевших изолировать и лечить. Это приведет к тому, что листериоз у животных и людей исчезнет, как исчезли многие опасные инфекции».

Около двух часов дня в кабинет Терехова заглянула Катерина: «Спрашивали, Павел Андреевич?» «Катя, подбрось-ка нас до гордости села Сила — местной столовой/кафе/ресторана под названием «Кама»! Не удивляйся, Петрович, днем это богоугодное заведение работает как столовая, а вечером превращается в ресторан. Даже с местным музыкальным ансамблем. Все, как у людей!» «И часто заходишь туда, Андреевич?» «Случается днем, когда начальство из Перми приезжает. Там неплохо кормят. И персонал душевный. Да ты сам убедишься!» Столовая располагалась в одном из двух кирпичных двухэтажных строений, возвышавшихся на базарной площади. Кроме столовой в том же доме была районная библиотека, а рядом с библиотекой — магазин «Сельпо». На базаре торговали по субботам/воскресеньям. Была среда. Угадав мои мысли, Павел сказал: «Ждать не придется. В будни столоваться ходят, в основном, сотрудники сельсовета и райкома». Мы попрощались с Катериной. «Заедешь за нами через пару часов», — сказал Терехов. Катерина уехала. «Подожди немного, — сказал Павел. Я на минутку загляну в «Сельпо». Пока я озирался по сторонам, Павел вернулся из магазина. Из кармана его полушубка выглядывала белая головка водочной бутылки. «Ну вот, все формальности выполнены, можно отдохнуть». Мы вошли внутрь. Столовая была полупустая. Лишь несколько столиков были заняты понурого вида чиновниками районного масштаба, типичными для тогдашней российской провинции. Все были одеты в костюмы темных тонов. Все в белых рубашках с галстуками. Кто хлебал суп, кто читал газету, кто охотился за ускользящими от неловкой вилки пельменями. Павел нарочито громко сказал: «Здравствуйте вам!» Кто-то кивнул в ответ. Из двери, ведущей во внутреннее помещение столовой, выбежала миловидная официантка лет сорока, в крахмальном кружевном фартуке и в тон ему — крахмальном чепце: «Павел Андреевич, какой сюрприз! Не ждали!» Павел чмокнул официантку в щеку: «Здравствуй, Валечка! А я гостя привел. Так что накорми по-свойски!» Перечислю блюда, из которых состоял наш обед, и перейду к рассказу о дальнейшей моей жизни в Силе. Начали мы с винегрета, перешли к щам и завершили обед пельменями, которые в неисчислимом количестве подавала нам официантка Валя. Да, был еще клюквенный морс в литровых кувшинах. Морс в кувшине всегда стоял на столе в отличие от бутылки «Московской водки», которую Павел деликатно поставил под стол и каждый раз

наклонялся, чтобы пополнить наши стаканы и выпить *за встречу*. Раза два за все время, проведенное в столовой, Павел давал деньги официантке Вале, и она приносила новую бутылку. Мы так стремительно напивались, что я не помню, о чем шел разговор. Помню, что Павел время от времени подзывал к себе Валу и клялся ей в вечной любви. Каким-то невероятным усилием я заставил себя остановиться и сказать Павлу: «Андреевич, ты на меня не обижайся. Больше пить не могу». К этому времени вернулась Катерина и отвезла меня на Ветстанцию, в мою квартиру-студию. Павел остался в столовой. Он проводил нас до дверей и сказал: «Катерина, за мной не заезжай!»

В конце мая Сила вскрылась. Лед понесло в Каму. Ледоход был важным событием. О нем говорили в ветлечебнице. Хотя почти у всех моих коллег по ветлечебнице дома были холодильники, каждую весну, в том числе, и мою первую весну в Силе, шла заготовка льда на лето. Правда, теперь лед возили в кузовах грузовиков, а в моем детстве — в телегах. Все это я слушал краем уха, потому что после недельной переподготовки в больничной лаборатории наладил нечто вроде микробиологического отсека в операционной, где начал свои опыты с листереллами. В сущности, программа, которую я должен был выполнять, сводилась к трем главным задачам, первой из которых была рутинная диагностика листериоза. В случаях, если животное (корова, овца, коза) обнаруживало явные или скрытые признаки листериоза (отказ от пищи, рвота, нежелание идти в стадо), т.е. резко изменившееся поведение, я брал пробы материала, чаще всего рвотные массы или содержимое кишечника, и проводил подробный микробиологический анализ. Точно так же обследовали личный рогатый скот. Конечно же, если животное погибало, я проводил микробиологическое исследование желудочно-кишечного тракта, ткани головного мозга и внутримозговых жидкостей. Больным животным Терехов или Песков назначали антибиотики в соответствии с результатами микробиологических исследований. К сожалению, чаще всего применять антибиотики было поздно. Да и стоило это громадных денег колхозам, ветстанции или владельцам скота. Процесс, вызванный листереллами, заходил слишком далеко. Дешевле было забить и сжечь тяжело больное животное. Однажды я спросил Терехова: «А часто ли клинически здоровые животные являются носителями листерелл? То есть, могут ли бактерии листериоза обитать в их ки-

шечнике, до поры до времени не вызывая заболевания? Точно так же, как это бывает с носительством чумы клинически здоровыми крысами? Или туляремии — белками и зайцами?» «Не знаю, Даня. Сам об этом думаю постоянно. Ведь если это так, то лечить антибиотиками отдельные случаи заболевания все равно, что стрелять из пушки по воробьям! Не будешь же профилактически лечить антибиотиками весь скот подряд!? Антибиотики дороги и ненадежны. Вакцина дешева и эффективна». «Но, Павел Андреевич, для того, чтобы обосновать поголовное применение вакцины, надо обследовать как можно больше животных в Силинском районе, включая дальние деревни». «Обследуем! На то ты здесь работаешь!» «Понадобится машина, хотя бы один раз в неделю». «Получишь машину! Один раз в неделю будешь выезжать с Катериной на колхозные фермы». «А личные хозяйства?» «Само собой! Не прерывать же наблюдения за эпидемиологической цепочкой. Главное, чтоб обоснование было для поголовного применения будущей вакцины. Если окажется, что большая часть личного и колхозного скота является носителями этой злосчастной бактерии, никто не запретит применение вакцины. Ни район, ни область, ни Москва!»

На этом и согласились. Ледоход прошел давно. Наступил июнь, перешагнувший в жаркий уральский июль с сумасшедшими грозами и первыми грибами на склонах холмов, поросших соснами и елями. У подножья холмов было видимо-невидимо земляники. Вся эта красота была недосыгаема. Работа захлестнула меня. Перед мной маячила третья, пожалуй, самая важная головоломка: как получить живую безвредную и эффективную вакцину для профилактики листериоза. Пропускаю описание нескольких поездок с Катериной на дальние фермы для обследования клинически здоровых коров. Действительно, в их кишечнике нередко обитали листереллы, дремлющие до поры до времени.

Павел в компании с Клавдием Ивановичем вытащили меня однажды на рыбалку. Все было бы весьма увлекательно, если бы не мое абсолютное охлаждение ко всему, кроме вакцины. Мы ловили на спиннинги, дожидавшиеся Терехова и Пескова с прошлого года. Нашелся лишний спиннинг и для меня. Однако я оказался неподходящим рыбаком. Мысли мои были в лаборатории. Я отрубачил для приличия пару часов и сбежал на ветстанцию, где в моем микробиологическом отсеке на полках инкубатора в колбах и на поверхности питательного агара росли драгоценные культу-

ры — предшественники безвредной и эффективной листериозной вакцины. Во всяком случае, на это я надеялся. Бактерии росли на питательных средах с добавками химических факторов, в том числе, мутагенов, изменявших микробную наследственность. Эти модифицированные культуры листерелл, которые отбирались со всей скрупулезностью садовода-селекционера, должны были стать предшественниками вакцины.

Да, раз в неделю, обычно по вторникам под вечер, Катерина заходила в мой микробиологический отсек, мы брали брезентовую сумку с пачкой стерильных ватных тампонов, намотанных на деревянные палочки, и отправлялись в экспедицию. Здесь самое время откровенно рассказать читателю о реальности, в которой я оказался. Сейчас, задним числом, я понимаю, что охота за инакомыслящими в коммунистической империи и отпугивание новых волн интеллигентов, готовых стать инакомыслящими, проводились органами безопасности по единой программе, состоявшей из нескольких степеней наказания и предупреждения. Самой жестокой степенью было, несомненно, положение узника ГУЛАГа, через которую прошла (уже в постсталинское время) часть инакомыслящих. Я оказался наказанным и уstraшенным в соответствии с одной из относительно «мягких методик», разработанных КГБ. Но и эта мера наказания должна была отбить у меня охоту к распространению опасных стихов в слоях андеграундной или сочувствующей диссидентским взглядам интеллигенции, и самое главное — запретить печататься за границей. Я был так ловко (*добровольно!*) выслан из Москвы, так охотно надел сам на себя наручники послушания, что вначале не осмеливался даже наедине с собой называть это видом насилия. Ирочка при помощи капитана Лебедева просто-напросто выручила меня. Да и работа в лаборатории при Силинской ветстанции на первый взгляд никак не могла быть синонимом наручников. Не скрою, цель исследований увлекла меня, напомнив удачное и своевременное трудоустройство в Ирочкину лабораторию ЧАГА, когда я спасался от опасности попасть в категорию тунеядцев и тоже оказаться высланным. Подобное, но в более экзотической форме, повторилось на Силинской ветстанции. Пожалуй, крайней степенью унижения в этой деревенской «шарашке» явились для меня экспедиции по забору проб из кишечника коров и овец. В дневное или утреннее время, когда коровы находились на пастбищах, не было никакой возможности взять про-

бу. Умные животные, увидев в руках у меня пробирку с тампоном, моментально отбежали, задорно отмахиваясь хвостом и игриво покачивая выменем. Поэтому для взятия проб у коров мы с Катериной отправлялись на колхозные фермы в вечернее время. Коровы жевали сено в своих стойлах, подоенные и успокоенные. При определенной степени сноровки, которую я приобрел со временем, вытащить штатив с пробирками из сумки, взять одну из пробирок, поставить на ней номер коровы, извлечь из пробирки тампон на деревянной палочке, ввести тампон в задний проход животного, отобрать пробу и снова погрузить тампон в пробирку с раствором консерванта, не представляло большой сложности, но, откровенно говоря, было противно. Как говорят в науке, это входило в условия эксперимента. По прошествии стольких лет становится очевидным, что, экспериментируя на домашних и лабораторных животных, я, в свою очередь, был одним из «подопытных кроликов» в гигантском эксперименте коммунистической системы, проводимом на инакомыслящих (экспериментальная группа) и дремлющем пока еще населении (контрольная группа). В телогрейке, перетянутой ремнем, и резиновых сапогах, я стал, *как все*. Да, было противно успевать отвести от лица нетерпеливый хвост, которым размахивала потревоженная корова, взять пробу, убрать руки и отступить назад, избежав быть изгаженным зеленым, липким, вонючим коровьим говном. С овцами было легче. Да их было и меньше, чем коров; а коз — совсем мало, да и то, преимущественно, в личных хозяйствах, которые мы тоже обследовали на носительство листерелл. Овцы были спокойны, скорее, безразличны, когда прямо на пастбище мы брали у них пробы. Правда, надо было метить животных, чтобы не повторить пробу у одной и той же овцы. Зимой все это казалось намного удобнее, потому что животных не выгоняли на пастбища. Однако зимой Терехов предпочитал не посылать меня с Катериной в экспедиции. Снег выпадал глубокий, дороги не расчищались, и поездки совершались ветеринарами только для оказания скорой помощи. Да и то на санях, запряженных лошадей по имени Звездочка, наверняка, праправнучке Сивки-Бурки из моего эвакуационного детства. Так что коров мы обследовали, преимущественно, в летние вечера, как правило, выезжая в экспедицию один-два раза в неделю. Правда, бывали исключения.

Клавдий Иванович Песков не любил, когда мы с Катериной отправлялись в экспедиции, но делать было нечего. Не шоферить

же ему вместо Катерины! Мне показалось, что он ревновал. Или за его отношением ко мне стояло нечто другое, пока еще недоступное моему ясному анализу. Слишком мало я знал о ветстанции и ее обитателях. Вполне понятно, что я не обращал на это никакого внимания, прежде всего потому, что никаких видов на Катерину не имел. Хотя со времени моего прощания с Ирочкой прошел почти год. К счастью, я начал стареть, а время юношеских забав сменилось временем зрелости, которая еще и приносит холодок трезвости во взгляде мужчины не только на женщину, если даже она молода и хороша собой, но и на среду ее обитания. Катерина была молода и хороша собой, да и только. С первого дня, как я увидел Катерину, я поклялся сам себе, что это — табу. Я слишком ценил свое место на ветстанции и слишком уважал Терехова, чтобы попытаться пойти на скандал. Я не сомневался, что в противоположном случае Клавдий Иванович добьется от Павла моего увольнения.

Вполне естественно, что мои связи с переводческим миром ослабевали. Издательства не посылали мне заказов на переводы, а друзья-приятели, кормившиеся за счет переложения подстрочников на стихотворный русский язык, вполне обходились без меня. Ну, может быть, во время застолий в кафе ЦДЛ кто-нибудь вспоминал: «Как там Дания?», но тотчас умолкал, пробежавшись по встревоженным взглядам собутыльников. Еще поразительнее было гробовое молчание моих бывших компанейцев. Молчал *тоскующий ангел* — Василий Павлович Рубинштейн. Даже Ирочка молчала, хотя, уверен, не могла не знать, где я нахожусь и по какому номеру позвонить. Я постепенно привык к мысли, что отныне микробиологические опыты по изысканию вакцины против листериоза — моя единственная работа в настоящем и обозримом будущем. И все же, никому не открываясь, наметил я некий рубеж своего освобождения. Этим рубежом представлялась мне вакцина, которая будет предотвращать и даже лечить листериоз. Конечно же, я продолжал сочинять. И даже пустился в прозу. До этого с прозой я соприкасался нечасто, переведя несколько рассказов и даже небольшой роман писателя из Македонии (одной из югославских республик в те годы) о жизни писателя, разувверившегося в городской жизни, уехавшего в деревню и ставшего членом кооператива. Роман получил некую огласку, весьма сдержанную, из-за полного разочарования главного героя (бывшего партизана-антифашиста) равно в городской и деревенской жизни. Итак, я начал сочинять роман, в котором главный герой — те-

атральный художник — оказывается между двумя полюсами влюбленности, на одном из которых обитала женщина, напоминавшая Ирочку, а на другом — Ингу.

Конечно, я стал прилежным читателем сельской библиотеки, которую посещал не менее двух раз в неделю, зимой сменив ватник на бараний полушубок, а летом — на пиджак. И то и другое я приобрел в местной лавке под названием «Сельпо». В библиотеке я прочитывал все приходившие газеты и журналы, начиная с «Известий» и «Пермской правды» и кончая «Новым миром» и «Огоньком». Главным же моим источником информации был загадочный друг — радиоприемник «Грюндиг». Из «Грюндига» я узнал о разгроме московских художников, учиненном властями на окраине Москвы. Художники-нонконформисты выставили свои работы в Беляево, на опушке Битцевского лесопарка. Власти бросили на разгром импровизированной выставки поливальные машины, самосвалы, водометы и бульдозеры. Отсюда название — «Бульдозерная выставка». Были уничтожены картины и скульптуры талантливых художников, многих из которых я встречал в андеграундных мастерских. Мелькнуло имя Юрочки Димова. Я бросился на переговорный телефонный пункт при силовой почте — звонить Димочке. Но сколько я ни называл номер, завалуированная расстоянием барышня-телефонистка неизменно повторяла: «Номер не отвечает!»

В дороге, особенно в продолжительных поездках на фермы, находившиеся в отдаленных колхозах, мы говорили о жизни. Катерина рассказывала о себе. Странно, меня она не расспрашивала, как будто моя прошлая жизнь ее вовсе не интересовала. Или не хотела вызывать воспоминания, столь контрастные моему быту в Силе, чтобы не бередить мою душу. Женская интуиция умнее мужской логики. Нынешнее мое существование было настолько простым, если не сказать — примитивным, что и расспрашивать было ни к чему. В рабочие дни одевался я в телогрейку, подпоясанную ремнем. В холодную пору носил армейскую шапку-ушанку. Осенью и весной ходил в резиновых сапогах, зимой в валенках, подшитых резиной, а летом — в парусиновых туфлях. Так что обсуждать с Катериной мелочи быта ветстанции было скучно. Оставалась моя рутинная работа с листереллами, научная сторона которой, по правде говоря, мало интересовала Катерину, если не считать технических забот: успеем ли на условленную ферму до заката, хватит ли бензина и не лопнет ли прохудившаяся крышка нашего верного Росинанта — подопечного рафика. Вернее всего, она поняла, что

женщине вызвать мужчину на откровенность — самый верный путь попытаться с ним сблизиться. Изливаясь женщине: жене, любовнице или случайной встречной, мужчины слабеют волей и становятся податливыми, как воск. Лепите из них, что угодно! А судя по ее строгому поведению, Катерина этого не хотела или делала вид, что не хочет. Единственное, что я узнал из ее рассказов: увлеченность Катерины чтением. В силяинском книжном магазине ей оставляли самые ходкие книги: преимущественно романы. Если она оказывалась на станции Верецагино или в самой Перми, то возвращалась со стопкой книг. Я изголодался по книгам. Так что, в этом наши интересы сошлись. Однажды она рассказала о себе. Все началось с того, как я посетовал, что не знаю, где найти в Силе «Дом на набережной» Трифонова. Захотелось перечитать. Роман не нашелся в сельской библиотеке. К моему удивлению, эта книга у Катерины имелась. «Так было заведено у нас в доме. Отец всегда собирал книги. У него было пристрастие к литературе». История ее отца необычна. Звали его Бузув. Он был караим, чудом спасшийся от немецкой пули в оккупированном Крыму или от газовой камеры в Освенциме. Бузув бежал на незахваченную врагом территорию, попал с эшеленом для эвакуированных на Урал, добрался до Перми, оттуда — до станции Верецагино, а потом — до Силы. Вся его семья погибла. Он был одинок и стар. Судьба свела его с молодой женщиной Верой, вдовой-солдаткой. Муж ее погиб в боях под Москвой. Бузув начал оказывать знаки внимания молодой вдове. Война кончилась. Бузув продолжал заходить к Вере. Жили они отдельно. Бузув был полностью погружен в свои книги и работу при сельсовете. Он был бригадиром строителей. Вечно что-то ремонтировал и перестраивал по всему району, не видя никакого смысла отвлекаться на бытовые мелочи, возникающие у семейных людей. Неожиданно, когда Вере было около сорока лет, она забеременела. Родилась Катерина. Только после этого Бузув перебрался к Вере. Катерина окончила школу и поступила в ветеринарный техникум в Перми. Ей исполнилось восемнадцать лет. Она была красавица, копия отца. Так и звали ее: «наша цыганка-караимка». Конечно, она никакого отношения к цыганам не имела, а свои иссиня-черные волосы, горящие карие глаза и восточную смуглость получила от караимских предков. Правда, отец очень мало рассказывал Катерине о караимах. Так, вскользь — о жизни в горном ауле неподалеку от Евпатории. Однажды Катерина спросила отца: «А правду мне сказала одна старуха, что караимы — это помесь евреев с крым-

скими татарами или даже цыганами?» «Нет, неправда, доченька!» «Тогда, кто же мы?» «Караимы вышли из древних хазар». Больше он ничего ей не сказал и вскоре умер. Только потом, много лет спустя поняла Катерина, что Бузув одинаково боялся и родства с евреями, которых русские притесняли, украинцы выдавали, а немцы уничтожали, и родства с крымскими татарами, которых выслали из Крыма в Сибирь и Казахстан по ложному обвинению в сотрудничестве с немцами. Словом, когда Катерина получала паспорт, она записала себя русской. Тем более что мама Вера и в самом деле была русской. Мама Вера воспитывала Катерину в строгости, брала ее в церковь по праздникам, учила скромности и послушанию. Такой Катерина и выросла. Она прилежно училась на ветеринарного техника и не позволяла себе шалостей с молодыми людьми.

Однажды, уже на третьем курсе веттехникума, Катерина пошла на вечер Пермского бронетанкового училища, посвященный очередному выпуску лейтенантов-танкистов. В веттехникуме учились преимущественно девушки, если не считать нескольких парней-инвалидов, получивших либо отсрочку, либо белый билет и не призванных на службу в армии. Молодые лейтенанты танковых войск, которым через сутки предстояло отправляться в Чехословакию на подавление «Пражской весны» (Катерина это название узнала много позже), весело кружили в вальсе девушек из веттехникума, обещая вернуться с победой и продолжить знакомство. Один из них, по имени Тенгиз, целый вечер приглашал Катерину потанцевать: «Вы так похожи на мою сестру Лалу!» Официально в буфете вина не подавали. Бутерброды и пирожные рекомендовалось запивать чаем или лимонадом. Но лейтенанты, решимость которых победить девичий стыд (так же как и врагов социализма), нарастала по мере приближения полночи и часа разлуки, придумали добавлять принесенную тайком водку в стаканы с лимонадом. Этот коктейль они называли офицерским шампанским. Пылкий улыбчивый лейтенант Тенгиз с волнистыми черными волосами угощал Катерину офицерским шампанским, а во время танцев, да и в перерывах беспрерывно рассказывал ей о своей семье: отце, матери и сестре, живших в Тбилиси. Фамилию лейтенанта Катерина постеснялась спросить. Она крепко опьянела, и лейтенант вызвался проводить ее домой. Она жила в общежитии веттехникума. Подвернулось такси. Катерина не помнила, как оказалась в своей комнате. Ее подружки по общежитию еще не вернулись с выпускного лейтенантского бала. Из всего, что произошло между нею и Тенгизом,

она запомнила только стыд, оказавшись голой наедине с женщиной, резкую боль, которая сразу перешла в удовольствие, и страх, что кто-то войдет и увидит. Потом она заснула.

Через несколько недель Катерина узнала, что забеременела. Она написала заявление об уходе директору техникума и вернулась в Силу. Мама Вера заплакала, узнав о произошедшем, но решительно запретила Катерине даже и думать о прерывании беременности: «Бог послал нам ребеночка взамен твоего умершего отца». Мальчика назвали Борисом. «Теперь Бореньке девять лет. Весь в деда: книжки читает запоем, а по арифметике — первый в классе!»

Словно читая мои мысли, Катерина выпалила: «Вы не думайте, что я изливаюсь перед вами с какой-то целью. Мол, мать-одиночка, ищет мужа и так далее...» «Я и не думаю. Мы просто друзья-товарищи по работе. Нельзя же ехать и молчать!» «Вот и я об этом!» «А как вы, Катерина, стали шофером на ветстанции?» — спросил я, чтобы не потерять конец беседы, во многом натянутой, потому что мы оба хватались за концы фраз, как циркачи за болтающуюся под куполом трапецию. «О, это мне помог Клавдий Иванович!» «Неужели?» — спросил я не без ехидцы. Клавдий Иванович раздражал меня с самого первого дня работы на ветстанции: зайдет в мой микробиологический закуток, постоит за спиной, когда я культуры микробные переносу из одной чашки Петри на другую или в колбу с питательным бульоном. Постоит, вздохнет или зевнет (не разберешь!) и также бесловно уплывает. Тяжелый, крупный, с большим животом — он напоминал мне монахов-обжор и сладострастников из книжек о средневековье. На еженедельных конференциях с присутствием всех сотрудников ветстанции Клавдий Иванович любил завести занудную тянучку на эпидемиологические темы, включая возможность внутрилабораторного заражения культурами, с которыми я работаю. Наш директор Терехов, человек мягкий и тактичный, только приговаривал: «Не строить же отдельную лабораторию с карантинным помещением, Клавдий Иванович?» «А почему бы и не построить, Павел Андреевич?» — выпаливал мой вечный оппонент. «Денег нет, Клавдий Иванович. Вакцину приготовим, тогда целый институт отгрохаем, а пока потерпи, любезный». «А какие мысли у Даниила Петровича?» — не унимался Клавдий Иванович. «Каждую неделю я беру пробы с поверхности лабораторных предметов. Пока листереллы не обнаруживаются», — отвечал я. «Только что пока», — не унимался Клавдий Иванович. С некоторых пор наши от-

ношения с Клавдием Ивановичем свелись к обмену самыми необходимыми фразами, которыми перебрасывались мы по ходу работы. Мне иногда казалось, что моя жизнь напоминала все больше и больше винтовую лестницу, но не такую, которая, несмотря на отклонения в сторону, стремится вверх. Моя винтовая лестница время от времени после очередного подъема, покачнувшись, спускалась вниз, как это произошло при высылке (добровольном бегстве) на Урал. То есть, в Силе, несомненно, я находился на отрицательном витке. Я понимал это, но кроме упорного добывания вакцины, ничего не мог поделать. Несмотря на тягостные размышления, которые одолевали меня по вечерам, я садился после ужина за машинку, насильственно заставляя себя сочинять весьма странные стихотворения, в которых рифмы приходились на ключевые слова, а не традиционно скрепляли строчки, как пуговицы.

В голову лезли всяческие тяжелые мысли. Иногда по утрам в лаборатории я стал замечать, что вакцинная культура листерелл выростала на поверхности питательной среды или в бульоне очень скудно. Взглянув на градусник инкубатора, в котором росли бактерии, бывало, я замечал, что температура в автоматическом датчике кем-то снижена с 37 градусов Цельсия до 30, а то и ниже. Сначала я думал, это случайность, перебой снабжения электричеством и т.д. К этому присоединились случаи загрязнения питательных сред, которые после обнаружения плесени приходилось выбрасывать и переделывать, а опыт повторять. Пришлось просить директора ветстанции приспособить замок к инкубатору и холодильнику, где хранились питательные среды. На очередном совещании сотрудников Терехов рассказал о причине таких предосторожностей. На что Клавдий Иванович пробурчал: «С каких это пор своим не доверяют! Лучше бы за собой последили. Работают без перчаток с заразными микробами!» Действительно, резиновые стерильные перчатки были дефицитом и практически использовались только в операционной ветстанции. Мне приходилось работать без перчаток, соблюдая строжайшим образом правила асептики и антисептики. Конечно же, я ни разу не делился ни с кем своими подозрениями. Интуитивно я дал себе зарок, кроме работы, обходить стоило Катерину, хотя, по правде говоря, она мне нравилась. Так что я даже в разговорах, которые мы вели в машине во время поездок на фермы или на пастбища, тщательно обходил всякие вольные темы. А хотелось. Катерина была хороша собой, а я начинал томиться от одиночества.

Спасала работа. Во всех случаях, когда коровы или овцы погибали при клинической картине воспаления головного мозга, при посеве проб выделялись листереллы. Да, в этих случаях мне пришлось научиться самому проводить патологоанатомические вскрытия погибших животных. Катерина ассистировала. Терехов снабдил меня набором необходимых инструментов. При помощи патологоанатомических долота и молотка я вскрывал затылочную область черепа павшего животного, стерильным скальпелем, ножницами и пинцетом брал пробу ткани головного мозга и погружал в стерильную пробирку с раствором консерванта. Одновременно бралась проба содержимого кишечника. В результате исследования оказалось, что причиной гибели коров и овец от энцефалита в Силинском районе являются листереллы, которые обитают в содержимом кишечника не только больных, но чуть ли не трети клинически здоровых животных. Вполне понятно, что мои результаты, доложенные в одну из пятниц сотрудникам ветстанции, подтвердили справедливую одержимость нашего директора получить безвредную и эффективную вакцину.

Я работал над получением такой вакцины несколько лет. В деревне годы проходят незаметно: две трети времени покрыто глубокими снегами, месяц-полтора — стремительная весна, жаркое короткое лето, тяжкая холодная осень, которую обрывает внезапная спасительная чистота снега.

Судя по моим данным, культуры листериозных бактерий, которые я терпеливо переносил с одной питательной среды на другую, содержащую в нарастающих концентрациях химические вещества-мутagens, наконец-то потеряли агрессивные свойства, присущие возбудителям листериоза. Предстояло доказать, что будущая вакцина может предотвращать заболевание листериозом у лабораторных животных. Но прежде всего — сама не вызвать листериоза. Это были длительные однообразные опыты на белых мышках. Когда была найдена предельная доза вакцины, безвредная для лабораторных животных, я перешел к очень важному этапу работы: нахождению минимальной дозы вакцины, предотвращающей заболевание листериозом. Всего я приготовил пять серий безвредной листериозной вакцины. Две серии были отброшены, потому что при подкожном введении белым мышкам не приводили к выработке иммунитета — появлению в крови животных специфических антител, т.е. белков, способных нейтрализовать ядовитые вещества листерелл. В ре-

зультате кропотливых опытов, длившихся почти год, в руках у нас была листериозная вакцина, пригодная для проверки на козлах, овцах и козах.

Прокатилась Масленица по селу. Вторая или третья в моем уральском убежище. На этот раз всей ветстанцией праздновали Масленицу в избе Катерины и ее матери Веры. Они прислуживали и, согласно обычаю, почти не присаживались. Я сидел рядом с женой Терехова — Галиной Прокофьевной — и вел с ней степенную беседу о снабжении продуктами питания в Москве и Силе. Хотя я не был в Москве несколько лет, на меня продолжали смотреть как на столичного жителя. Я и не разубеждал Галину Прокофьевну. По другую сторону сидел Павел Андреевич, рядом с которым было оставлено место для Веры. Но сидеть ей было некогда. После блинов с соленой рыбкой, которые отменно шли под студеную водочку, Катерина подала пирог с ливером, потом пошли сладости, чай, а потом снова бражка, наслащенная сушеной малиной и утоляющая жажду только вначале. После нескольких стаканов бражки наступило легкое засасывающее опьянение и желание пить из бездонного березового туюска до самого дна. Катерина во всем помогла матери, только иногда обращаясь к сыну Боре, чтобы не докучал Клавдию Ивановичу, который уселся с мальчиком рядом и опекал во всем. Я сидел напротив и наблюдал пристально за Клавдием Ивановичем и Борисом. Отношения между ними были почти родственные. А если не знать, то можно сказать, что это отец и его поздний ребенок. Павел Андреевич медленно наливался водкой, вначале следуя застольной беседе, которую я старался поддерживать, перебрасываясь с женщинами пустячными фразами о популярных артистах кино, которые известны в провинции даже больше, чем в крупных городах. Наступил момент, когда Павел Андреевич больше не мог пить, а решил прогуляться по свежему воздуху. Когда он ушел, Галина Прокофьевна горестно вздохнула: «В свою столовую отправился Вальку проведать». Она окинула взглядом все наше застолье, но каждый молчал, не желая брать ни ее, ни Терехова сторону. А главное — не обсуждать заглазно такие болезненные внутрисемейные дела. «Мы с Борей тоже пойдем, пожалуй. Паренек устал. Пускай в моей избе отдохнет. Мы с ним в шахматы поиграем», — сказал Песков. Когда они уходили, я заметил встревоженный взгляд Катерины, провожавший Клавдия Ивановича и Бориса. «Поистине, в каждом омуте свои черти водятся» — подумал я.

Сразу после Масленицы намечено было начать массовую вакцинацию поголовья коров и овец в районе. Я наработал литры противолистериезной живой вакцины. Нужно было узнать, предотвратит ли вакцина развитие листериоза? Для этого половине животных на каждой ферме предстояло ввести нашу вакцину, а других — оставить для наблюдения. Если среди контрольных животных возникнут заболевания листериозом, а среди вакцинированных — нет, наша вакцина *работает!* Снова один-два раза в неделю по вечерам мы разъезжали с Катериной на неутомимом рафике по колхозным фермам. Самым трудным оказывалось не только ввести вакцину под кожу коровы, овцы или козы, но и навесить на ухо иммунизированного животного металлическую бирку с номером. Эти процедуры, особенно «маркирование» коровы, требовали быстроты и сноровки. Не сразу я освоил эту технику. При помощи специальных щипцов я прикреплял бирку к уху животного. Коровы мотали головами и норовили поддеть обидчика (меня или Катерину) рогом. К концу октября мы ввели вакцину сотням коров и овец на фермах Силинского района. Оставалось ждать. Первые сигналы с колхозных ферм начали поступать в начале декабря. Каждый звонок с фермы был поводом для немедленных действий. Конечно, не было сил удержаться, чтобы не спросить звонившего (доярку или пастуха), есть ли бирка у заболевшей коровы или овцы? Как это ни ужасно, должен признаться задним числом: когда говорили по телефону, что у больного животного нет бирки, я радовался. Ведь номерные бирки привешивались к вакцинированным животным. Для экспериментатора подтверждение или опровержение его идеи важнее гуманитарных условностей! Если погода была устойчивая, несколько дней не шел снег и дорога была накатана, мы отправлялись с Катериной на рафике. Я, как земский доктор дореволюционных времен, возил с собой «саквояж», а на самом деле, чемоданчик с необходимыми инструментами для забора проб из головного мозга и кишечника погибшего животного. Нам с Катериной неизменно везло. Ни разу не попали в снегопад, успев вернуться в Силу. Я шел в лабораторию, чтобы «посеять» материал проб на питательные среды, в которых хорошо развиваются листереллы.

Конечно, каждый новый случай листериоза обсуждался на еженедельных конференциях. Это чем-то напоминало мне годы работы у Ирочки, в лаборатории «ЧАГА». Но я отгонял воспоминания, как отгоняют один и тот же назойливый сон. До сих пор

каждый новый случай листериоза приходился на поголовье невакцинированных (контрольных) животных. Я привык к тому, что при обсуждении Клавдий Иванович скептически качал головой и произносил: «Ну, просто везение какое-то! Вы, Даниил Петрович, (он неизменно называл меня по имени-отчеству), командуете теорией веротности. Гипнотизируете цифры, что ли!»

И вот, Клавдий Иванович дождался своего часа. На ветстацию позвонили с дальней фермы, стоявшей на окраине деревни Прохорьята. Телефон находился в кабинете Терехова, которого в тот момент не оказалось. Параллельный аппарат был у Клавдия Ивановича. Он громогласно позвал меня: «Это по вашей части, Даниил Петрович! С фермы сообщают, что овечка с бирочкой пала!» Я нашелся ответить: «Должна же быть хоть одна черная овца в белом стаде!» А на душе кошки скреблись: «Вот и первый провал! Неужели вакцина дает срывы?» Словом, надо было немедленно ехать, чтобы взять пробы, пока картина заболевания, приведшего к смерти, не будет искажена трупным разложением. Тогда все свалят на листериоз, который не смогла предотвратить вакцина. Погода была морозная, но никаких признаков снегопада не обнаруживалось. Опускались сумерки. Небо временами затягивалось набегающими облаками, которые все еще не предвещали ничего подозрительного. Правда, при выезде из села посыпался легкий снежок, который легко отбрасывали *дворники* с ветрового стекла. Ехать предстояло, по расчетам Катерины, не более часа. Когда мы миновали сельское кладбище с деревянными крестами или (для усопших атеистов) сколоченными из досок и фанеры могильными обелисками, снег усилился. Катерина с тревогой посмотрела на меня. Но я находился в каком-то неконтролируемом волей азарте и сделал вид, что не обратил внимания на выражение лица моего шофера и помощницы. Постепенно поднялся ветер, который закручивал столбики снега по всей ширине дороги, наметая белые порожки, на которых иногда буксовали шины. «Не вернуться ли нам, Даниил Петрович? — спросила Катерина, но сама тотчас себя одернула, устыдившись минутной слабости: — Хотя никакого резона возвращаться нет, а дело надо закончить. Овца-то, баяли, меченая — с бирочкой». «В том-то и дело, Катерина! Мы эту овцу вакцинировали. Мало ли от чего она погибла! А спишут на листериоз. В то же время, у нас живая вакцина. Бывает, правда очень редко, что вакцинные культуры после введения животным или человеку, снова приобретают способность вызывать заболевание. Это происходит

очень редко. И все-таки, мы должны определить причину гибели этой злосчастной овцы!» «Я понимаю, Даниил Петрович, а на сердце неспокойно. Да нечего делать. Надо пробиваться». Как она точно определила: надо пробиваться! Поземка, между тем, усиливалась. *Дворники* работали на полной скорости, едва сбрасывая плотные слои снега, прилипающие сплошной пеленой к ветровому стеклу. Машина шла по дороге на ощупь. Да и трудно было назвать дорогой эту едва чернеющую полоску среди безбрежных пространств снега. Иногда рафик останавливался, буксуя, и я вылезал, брал широкую деревянную лопату и разгребал снег. «Сейчас должна быть березовая роща. А за ней, поблизости, деревня Прохорята», — успокаивала меня, а, скорее всего, нас обоих, Катерина. Рафик продирался сквозь беспрерывные, падающие хлопья снега, и как я ни всматривался в узенькую, непостоянную щелочку, остающуюся между скребущими со стоном по ветровому стеклу *дворниками*, ничего не видел, кроме потемневшего снежного пространства. «Вот там березняк! — воскликнула Катерина. — Еще немного! Не останавливайся!» — гладила она руль своего рафика, уговаривая машину, как старую добрую лошадь, выбивавшуюся из сил. «Далеко ли до деревни?» — спросил я, невзначай высказав тревогу, что наша экспедиция может задержаться почти что у самой цели. «Околица начинается сразу после березовой рощи. Да ведь ничего не видно, Даниил Петрович!» И вдруг случилось то, чего каждый из нас боялся больше всего: машины встала, зарывшись носом в очередной сугроб, который Катерине не удалось миновать, как она ни крутила рулем и ни нажимала на педали тормоза и газа, жонглируя рычагом скорости. Колеса вращались на холостом ходу. Стало пахнуть перегоревшей тормозной жидкостью. «Попробуйте толкнуть, Даниил Петрович!» Я спрыгнул в снег, доходивший до самой дверцы. Отгреб лопатой часть снега. Катерина включила зажигание. Я попытался толкнуть машину. Снег из-под буксовавшего колеса летел мне в лицо, залепляя глаза, нос и рот, но рафик не двигался. Впереди, слева от предполагаемой дороги, темнело пятно, которое я разглядел по подсказке Катерины. Она показала на это пятно: «Березовая роща. Значит, деревня совсем рядом. Если теперь не собьемся, доберемся до Прохорят!» «Как же мы пройдем через поле по такому снегу?» — спросил я. «Видите — верстовой столб?» Я всмотрелся и увидел впереди себя нечто, торчащее у края дороги. Подойдя поближе, разглядел я поперечную планку и прочитал цифру, обозначающую, сколько ки-

лометров мы проехали от Силы. Все сходилось. За полем была деревня Прохорята с фермой на окраине. Надо было держаться дороги, пересекающей поле и ведущей в деревню. Я вытащил из машины свой чемодан-саквояж с инструментами для предстоящего вскрытия и пробирками для бактериологических проб, и хотел было двинуться в путь, как Катерина остановила меня: «Постойте, Даниил Петрович, так вы далеко не уйдете. Чемоданчик-то тяжеленький!» «Что же остается делать, Катя? Без инструментов и пробирок делать нечего». Впервые я назвал ее *Катя*. «А мы попробуем сани устроить для вашего чемоданчика!» Она залезла внутрь рафика и вытащила лопату, которой я прежде разгребал снег. И к ней — веревку. Я пропустил веревку через ручку чемодана и привязал его к лопате. Получились импровизированные сани. Как бурлаки, мы впряглись в эти сани и двинулись в сторону Прохорят. Наконец, затеплились огоньки ближних изб. Это придало нам сил. «Ферма как раз поблизости от околицы!» — подбадривала Катерина. Тащить лопату с таким грузом, как чемодан, было тяжело и неловко. Он все время заваливался то на одну, то на другую сторону. И все-таки мы ощущали ногами, под слоем снега, плотную укатанную дорогу. Расплывчатый, как топленое масло, свет в окошках крайних изб все приближался и приближался, пока мы не уперлись в чье-то крыльцо. «В этой избе живет Клава Сердюкова. Она командует на ферме. Так что к ней и постучимся».

На стук дверь избы приотворилась, и высунулась голова в домашнем платке, повязанном поверх седых волос. Мясистые губы что-то шептали. Глаза из-под надвинутого платка глядели с недоумением. «Клавдия, ты что, не узнала меня? Это я — Катерина с ветстанции. А со мной — ученый человек Даниил Петрович. Приехал определять, почему овца пала». Я кивнул, хотя был несколько смущен явно завышенной рекомендацией Катерины. «Да что это я! Заходите в избу, почитай, совсем остыли. С ног до головы в снегу! Метель-то какая!» Мы прошли через темные, пахнущие квашеной капустой сени в избу, которая была точной копией силинских изб: русская печь с плитой и полатами, кухонный стол, полки с кое-какой посудой. Я спросил нетерпеливо, не дожидаясь чая, который готовила для нас Клавдия: «Хорошо бы поскорее осмотреть умершую овцу». Катерина, сглаживая мою бестактность, улыбнулась, поясняя хозяйке: «Вишь — ученый человек торопится анализы произвести». «Да я понимаю. Сейчас чайком отогреетесь — и на ферму пойдем».

Через несколько минут мы отправились на ферму. Лопату оставили около крыльца, а чемодан с инструментами поехал в детских санках, которые было легко везти. «Небось, внуков твоих санки?» — спросила Катерина у Клавдии сквозь завывания метельного ветра. «На Рождество приезжали мои родимые из Перми. Ох, накатались всласть с Прокофьевской горки!» — радостно подтвердила она Катериныны слова. На Прокофьевской горке высились остатки церкви, разрушенной во время революции. Это мне пояснила Катерина, которая перекидывалась словечками то со мной, то с Клавдией. Оказывается, была Клавдия в родстве с Верой — матерью Катерины. «Клавдий Иванович — с одной стороны! Клавдия — с другой! Не много ли?» — подумалось мне. Ветер толкал нас в спину, санки скользили, как по льду. Да и вправду, тропинка, по которой мы шли на ферму, заледенела. Колодец был в деревне, и воду для коров и овец носили до фермы в ведрах, подвешенных на коромысле. Наконец, мы были у цели. Бревенчатое продолговатое строение, крытое соломой, состояло из двух половин: коровника и овчарни, на воротах которых висели тяжелые замки. Я помнил это еще из поездки, когда мы вакцинировали овец и коров. Правда, в тот раз Клавдия была по каким-то делам в Силе, и мы с ней разминулись. Клавдия отворила ворота в овчарню. Дохнуло теплым, острым духом навоза. Электрический свет пробивался сквозь засиженные мухами лампочки. Я услышал равномерный звук, похожий на шелест дворников, трущихся по заледенелому ветровому стеклу. «Слышь, солому жуют. Сена-то до лета не хватает. Оно коровушкам больше надобно. А не дашь сенка, не надоишь молока!» — пошутила Клавдия. Мы прошли в холодный отсек, отделенный засовом от основного помещения овчарни. Клавдия добавила: «Это у нас карантинный отсек: изолятор для заболевших овец». На оцинкованном столе лежала мертвая овца. Ее коричневая шерсть свалилась, как на старом потрепанном коврикe. Я сбрил волосы на затылке овцы, обработал кожу растворами карболовой кислоты и йода, вскрыл череп мертвого животного и взял пробы головного мозга. Сделал я это в соответствии с протоколом, разработанным для обследования погибших животных. Я внимательно осмотрел поверхность живота у трупа овцы. Вымя было необычайно набухшим, а на концах отечных, темно-лиловых сосков висели засохшие капли желтого гноя. Я взял пробы гноя, после чего вскрыл овцу по линии живота и осмотрел внутренние органы. Поверхность почек была облеплена оранжевыми гнойными гроздьями. Такие же золо-

тисто-оранжевые гнойники были видны на поверхности печени. Я взял пробы почек и печени. Было очевидно, что это не листериоз. Какой-то другой, неведомый мне микроб привел к гибели овцы. Наверно, я в запальчивости высказал это вслух: «Это какой-то другой возбудитель!» «Вот и я говорю, — подхватила Клава. — Мастит у нее был. Потому и пала овечка, как была, а с нею новорожденные ягнятки!» Это уже было кое-что. А если добавить, что Катерина вспомнила, как они с Павлом Андреевичем когда-то выезжали «по скорой помощи» на одну из ферм и нашли мертвую овцу с такими же точно поражениями, то можно было в душе дать волю надежде: а вдруг это совсем не листериоз? Тогда что же? Я решил, что утром каким угодно путем доберусь до Силы и передам часть материала в лабораторию сельской больницы для микробиологического анализа.

Между тем, я погрузил свой чемоданчик с пробями на санки, и мы двинулись в обратный путь к избе Клавы. Мы настолько продрогли, что хозяйка избы — Клава — затеяла немедленное угощение. Она то и дело выбегала из кухни в сени и возвращалась то с миской квашеной капусты, то с бутылкой самогонки, то с куском сала в розовых прожилках, напоминавших морозный закат. Иногда слышалось хлопанье наружной двери. Наконец, Клава вернулась окончательно, сияя от удовольствия, вся в гостеприимных хлопотах. «Баньку затопила, — сообщила она, вытаскивая зубами тряпичную пробку из бутылки и разливая самогон по стаканчикам. — Так уж наморозились, гости дорогие! Вода нагреется, каменка в парилке распалится, можно косточки напарить. А пока выпьем за встречу! Когда из баньки вернетесь, продолжим». И добавила: За все хорошее!» Я поддержал: «За хозяйку». Катерина потянулась своим стаканчиком: «За удачу!» Клава повела нас через огород в баню. Это была маленькая избушка, игрушечная копия крестьянской избы. Из трубы валил густой дым, приминаемый падающим снегом к соломенной крыше. Клава отворила дверь баньки и пригласила внутрь. Мы ахнули: до чего там все складно разместилося. В предбаннике стояли чистые лавки. В стене набиты крупные гвозди для одежды и свежих полотенец. Парилка, в три ряда деревянных ступенек, напоминала деревянную пирамиду. На нижней ступеньке стояли две оцинкованные шайки для мытья. Вода кипела в котле каменки. Рядом стоял ковш. Под котлом полыхали поленья. Котел был обмазан глиной, а в нее вмурованы круглые валуны. На нижней полке лежали сухие березовые веники, которые предстояло распарить. Всю эту премудрость я освоил в

бане Тереховых, куда еженедельно ходил мыться по пятницам. Клава оставила нас вдвоем с Катериной. «Идите первой, Катя», — предложил я и отвернулся, усевшись на лавке к ней спиной. «Спасибо!» — отозвалась она. Я услышал шорох скидываемых валенок и волшебное шуршание одежды — звуки, которые сопровождали раздевание Катерины: *джик* — змейки-молнии, миниатюрный шелкунчик пуговички лифчика, приземление на лавку парашютика сорочки. Она крикнула: «Я скоро!» Я начал дожидаться своей очереди. Слышалось плескание воды, шлепанье веника по голому телу, а потом на эти разгоряченные паром или моим воображением картинки наложилась мелодия песни. Слов этой песни я не мог разобрать. Мелодия была тягучая и нежная, как запах цветущих овсов. Я слушал эту благословенную смесь музыки молодого тела и молодого голоса. Наконец, песня оборвалась. «Отвернитесь, Даниил Петрович!» крикнула Катерина и выбежала из парилки в предбанник. Ударил запах распаренного березового листа и разморившего женского тела. Я через силу отвернулся. Прошло несколько минут, во время которых мое воображение и мои слуховые рецепторы улавливали вытирание, одевание и причесывание. Наконец, Катерина крикнула: «Теперь моя очередь отворачиваться, а ваша — раздеваться и париться!» Раздевшись и захватив полотенце, я шагнул в парилку. По-правде говоря, я на некоторое время отвлекся от воображаемых картинок с видами Катерины, прогуливающейся среди облаков березового пара. Намыленный и размякший, я мечтал поскорее вернуться на ветстанцию. Да и при трезвом размышлении, а действие самогона, выпитого до бани, со временем ослабело, я постарался внушить себе (в который раз!), что Катерина не для меня, что о ней надо забыть, как должно было забыть Адаму о Еве, если он бы знал, что его накажут изгнанием из райского сада. Слишком высоко я ценил спокойствие, обретенное годами жизни в Силе. Окатившись холодной водой, я приступил к самому важному этапу мытья в деревенской бане: начерпал ковшом почти что полную шайку кипящей воды из котла, положил туда сухой новый березовый веник и разлегся на верхней полке, ожидая, когда веник натянёт воду, распарится. В это время дверь скрипнула, и в парилку вошла Катерина. Она была завернута в простыню, которую бог знает в каком шкафчике предбанника добыла. «Хотите, я вас попарю, Даниил Петрович?» Да, да! Я хотел этого. Простыня соскользнула, и я увидел дирижабли ее груди со смуглыми сосками, красивый эллипсоидный таз, черный тре-

угольник курчавого лобка, всю ее женскую красоту, которая тянулась ко мне ласковыми обещающими руками. Она постелила простыню, но не сразу отдалась мне, а сначала притворно нахлестала меня зелеными пахнущими летом и березняком ветками, подражая одновременно тысячелетним народным обычаям, когда муж и жена уединялись в бане, и современным играм в садомазохизм.

Мы вернулись в избу. Клава ждала с накрытым к ужину столом. Во взглядах, которые она бросала то на меня, то на Катерину таилось одобрение и радостное возбуждение, какое бывает у людей, объединенных одним разговором. Она как будто успокаивала нас: «Вы все правильно сделали. Ничего красивее и правильнее любви нет. Я вас не выдам!» Так сидели мы за кухонным столом, наверно, с полчаса-час. Тропинка застолья подходила к тому перевалу, который надо было перейти, чтобы окончательно решить: сидеть ли до глубокой ночи, или поблагодарить хозяйку и разойтись спать по углам. Самогон после парилки и любовных утех так расслабил меня, что я впервые за долгие месяцы выкинул из головы ветстанцию, вакцину, над которой бился столько времени, и даже коров и овец, задумчиво жующих сено/солому на фермах Силинского района. Мною овладевала благодатная истома, когда хочется улечься под одеяло, положить голову на подушку и погрузиться в глубокий сон. Клавдия постелила мне на полотах — кинула тулуп из овчины и подушку. Сама хозяйка и Катерина улеглись, кто на кровати, кто на лавке. Я заснул и не слышал таракшения трактора, подъехавшего к избе, нетерпеливого грохота в дверь, не потревожился светом, который зажгла Клава, и так далее. Меня разбудил раздраженный голос Клавдия Ивановича, который, поднявшись на две ступеньки, ведущие вверх к полатам, тормозил меня: «Даниил Петрович, да проснитесь же вы, наконец!» Мой глубокий сон, продолжавшийся даже после того, как все переполошились, разбуженные Клавдием Ивановичем, явился моим безусловным алиби. Надо отдать должное хозяйке Клаве, которая, уложив меня на полати, а Катерину — на лавку, убрала грязную посуду и — главное! — припрятала бутылку с остатками самогона, вкус которого показался мне даже менее отвратительным после бани. Конечно, Клавдий Иванович боялся увидеть худшее: явные доказательства нашего с Катериной грехопадения. И не увидев, оказался в глупейшем положении обманутого мужа, старшего брата, отца или покровителя — не знаю, в какую категорию рогоносцев его отнести. Он, конечно, чуял свершившийся грех, силовые

линии которого пробегали между мной и Катериной, но дальше очевидного идти не мог. Из рассказа Клавдия Ивановича следовало, что (по совету Павла Андреевича) из ближайшей МТС был вызван специальный трактор для очистки снега и вытаскивания застрявших автомобилей, и что трактор добрался до брошенного нами на дороге рафика, который дожидался как раз у верстового столба, на повороте к деревне Прохорята. Конечно, Клавдий Иванович предполагал, что, попав в снегопад, мы заночуем в деревне. Конечно, он знал, что мы остановимся у Клавы, заведовавшей фермой. Конечно, спасательную экспедицию можно было отложить до утра. Кстати, снегопад начинал утихомириваться. Конечно, в холодных снях, где я оставил свой чемоданчик, с пробами ничего бы не случилось. И все же, какое бы раздражение я ни испытывал по отношению к Клавдию Ивановичу, надо было отдать ему должное за решительность и упорство. Словом, мы погрузились в кабину трактора и двинулись в обратный путь. Рафик был полностью погружен в снег, который мы расчистили. Тракторист взял рафик на прицеп и потащил в направлении Силы. Мы к этому времени пересели в наш микроавтобус, который заурчал и двинулся в путь наполовину при помощи трактора, а наполовину под аккомпанемент своего оживающего мотора.

К рассвету мы доползли до Силы. Как добрая лошаденка, почувывая конюшню, рафик бойко покатил по засыпанному снегом улицам села. Катерина высадила меня у ветстанции, небрежно махнув рукой на прощанье, и отправилась отвозить Клавдия Ивановича домой. Их избы стояли поблизости. Рафик почти всегда ночевал у ее крыльца. Произошедшее в парилке лучше было забыть, как сон. Я так и сделал, забывшись в лаборатории со своими пробами и посевами. На ферме во время вскрытия павшей овцы я брал по две пробы от каждого материала (мозг, гной, кишечник, печень, почки и т.д.). Так что я немедленно сделал посевы на питательные среды, специально применявшиеся для выделения листериозных микроорганизмов. Параллельные пробы я отвез наутро в лабораторию сельской больницы. Через несколько дней я мог определенно сказать, что овца погибла не от листериоза: роста листерелл не было ни на чашках Петри, ни в колбах с жидкой питательной средой. Вскоре мне позвонили из больничной лаборатории: в материале, доставленном мной, обнаруживался обильный рост золотистого стафилококка — бактерии, вызывающей тяжелые гнойные заболевания у животных и людей, и нередко приводящей

к смертельному заражению крови. Я отправился с торжествующим видом к Терехову и рассказал о результатах поездки в деревню Прохорьята на ферму. «Ты, говорят, большой любитель в баньке париться, — улыбнулся Павел. — Ну, ладно, это я так, в шутку. Надо же было отогреться. А Клавдий Иванович молодец, хороший товарищ. Выручил тебя. Только ты больше с Катериной в дальние поездки, да еще зимой не отправляйся, Даня!» Я сделал вид, что не понял его намеков. К тому же в кабинет вошел Клавдий Иванович, пожимая мне руку и восторженно повторяя: «Значит, ваша вакцина, Даниил Петрович, никакого вреда не приносит! Это ведь главное в медицине: врач, не навреди больному. Овечка-то от стафилококка погибла!» Я удивленно посмотрел на Клавдия Ивановича. А Терехов сказал: «Ну, ты, Клавдий Иванович, силен — раньше меня все новости узнаешь!» Я понимал, что ведется какая-то сложная игра/борьба между Павлом и Клавдием Ивановичем, и что результаты проверки вакцины очень важны для нашего директора. Какие планы и идеи роились в голове Клавдия Ивановича, сказать в то время я не мог. Но, конечно, меньше всего обольщался насчет его внезапного потепления ко мне. Особенно после поездки с Катериной на ферму и ночевки в Прохорьятах. Хотя никаких улик у него не было. Да я и не собирался давать повод для его ревности.

Хотя, по правде говоря, в одинокие вечера, когда я маялся над пишущей машинкой, приходили в голову шальные мысли, что приоткроется дверь и войдет Катерина, Катя. Но она не приходила, а во время рабочих поездок делала вид, что между нами ничего не было. Ведь и вправду, ничего не было! Все сходилось на Клавдии Ивановиче: Катя и моя работа. Надо было развязать этот узел по имени *Клавдий Иванович*. Я понимал, что он опутывает меня сетями незримой паутины. Надо было разорвать паутину.

Недели через две на конференции ветстанции, предварительно прикинув данные почти трехлетней работы, я высказал предположение, что наша вакцина эффективна. Безвредна и эффективна. Павел Андреевич взглянул на меня с одобрением, но ничего не сказал. Клавдий Иванович ядовито усмехнулся: «Не рано ли? Во всяком случае, нужна статистика!» «Будет вам статистика!» — ответил я довольно резко. Никогда я не был так уверен в своей правоте, чтобы продолжать проглатывать комментарии Клавдия Ивановича. «Вот и прекрасно, — сказал Терехов. — Даниил Петрович, докажете статистикой — честь вам и хвала». «А на нет — суда нет. Отрицательные результаты тоже нужны нау-

ке», — добавил Клавдий Иванович. «Да что же вы его заранее отпевааете, Клавдий Иванович? А вдруг, статистика будет за нас?» — заключил Терехов.

Я засел за составление таблиц. Надо было сравнить группу вакцинированных коров и овец с животными, которые не получали вакцину. Когда-то во времена Ирочкиной лаборатории ЧАГА мне приходилось сравнивать группы леченных и не леченных животных. Существовали статистические руководства, которых, конечно же, у меня не было под рукой. Пришлось звонить в Пермский ветеринарный институт. Наконец, книжка «Статистические методы» была в моих руках, и с логарифмической линейкой в руке я начал обрабатывать результаты. Я был так увлечен, что отнесся безразлично к новости: Катерина выходила замуж за Клавдия Ивановича. Свадьба была назначена на июнь. Получилось очень кстати: я временно перестал выезжать на фермы. С Катериной, если мы и виделись, то мельком, в коридоре ветстанции. Но мне в студию она не заходила. Павел Андреевич был весьма либеральным директором. Так что Катерина много времени проводила в хлопотах о предстоящей свадьбе, продаже дома Клавдия Ивановича и прочих житейских заботах, которыми полна голова хозяйки семейного дома. Ну, скажем, будущей хозяйки. Не знаю, счастлива ли она была? Я не решался спросить ее об этом. Жалел, что ли? Когда я представлял себе Катерину и Клавдия Ивановича в постели, то ощущал отнюдь не ревность, а жалость. Что же заставило ее пойти на такую жертву? Я набрался духу и спросил Павла (это было после очередной моей бани у Тереховых): «Что же ее заставило? Такой неравный брак!» Мы сидели, распаренные, остывая на нижней ступеньке в парилке. Он наклонился к моему уху: «Грешила она со мной. Было дело. Еще до Вальки-официантки. Клавдий Иванович узнал — про меня и Катерину. Был у него с ней тяжелый разговор с раскаяниями и обещаниями. И все равно, замуж за Клавдия Ивановича не соглашалась. А вот теперь после поездки с тобой в Прохорьята сама пришла и попросила Клавдия Ивановича взять ее в жены. Правда, он не лез ей в душу, не спрашивал, отчего и почему внезапно согласилась. Рад был безмерно. Такая вот малинка-ягодка».

Один раз только, когда я сидел над расчетами, в дверь моей студии осторожно постучались. Это была Катерина. «Я побеспокоила?» — спросила она. «Ну, что ты, Катя! Я рад тебе». «Вы на меня не сердитесь, Даня?» (Откуда она узнала: *Даня?*) «За что же

мне сердиться, Катя? Ты мне радость принесла». «Простите меня, ради Бога!» «Мне тебя не за что прощать, Катя». «Спасибо, что поняли меня. И еще Боря. Боренька мой. Ему отец нужен. Если бы...». Она не договорила, что случилось бы, если бы. Но что я мог ей сказать? Я понимал, что дни мои на ветстанции сочтены, что деревенский цикл моей жизни заканчивается, что так или иначе я скоро уеду отсюда, чтобы никогда не возвращаться.

В конце мая я закончил мои статистические расчеты. Павел Андреевич просмотрел данные и назначил доклад на ближайшую пятницу. Небольшое помещение нашей комнаты для конференций, которую называли «Красный уголок», было битком набито приглашенными из сельскохозяйственного отдела райкома, райисполкома, сельской больницы, колхозных ферм и прочих учреждений, так или иначе связанных с ветеринарией или медициной. Наш директор, Павел Андреевич, был одет в парадный костюм с галстуком, в котором чувствовал себя торжественно, но неудобно. Я напялил белую рубашку и джемпер, что было верхом компромисса: ненавижу парадные одежды. Странным показалось, что никто не приехал на мой доклад из Пермского ветеринарного института. «Может быть, автобус из Перми опаздывает? — шепнул мне директор. — Надо начинать!» Клавдий Иванович, как показалось мне, вел себя суетливо, беспокойно: вскакивал со своего места, выбегал в коридор, направлялся в мою сторону, но тотчас возвращался, как будто бы хотел что-то сказать или даже предупредить, но не решался. Однако в конце концов он угомонился, и Павел Андреевич представил меня собравшимся. Не стану пересказывать мой доклад, сущность которого сводилась к тому, что вакцинированные животные практически не были носителями листериозных микробов, по сравнению с контрольной, невакцинированной группой коров и овец. И самое главное — разница в заболеваемости листериозом между этими группами была статистически достоверна. Т.е. вакцина была эффективна! Помню, что задавали множество вопросов, совершенно неожиданных и касающихся самых разнообразных проблем, связанных с вакцинацией животных, разделения больных и здоровых коров и овец, разработки новых вакцин, скажем, для профилактики маститов и прочее и прочее. Общее настроение было весьма благосклонное и даже радостное: какое сильное средство разработано не где-нибудь, а в нашем районе! Ко мне подходили, жали руку, поздравляли. Странно было, что Клавдий Иванович не подошел и не поздравил. Более того, перекричав

шум голосов, он попросил слова. Павел Андреевич был удивлен, но не мог отказать своему заместителю. Клавдий Иванович вышел на середину комнаты, к столику, за которым сидел директор, и показал на большой конверт: «Вот, сегодня утренней почтой получено письмо из Пермского ветеринарного института». Лицо Терехова из удивленного стало настороженным: «Может быть, в рабочем порядке после конференции ознакомимся, если не имеет прямого отношения?» «В том-то и дело, Павел Андреевич, что имеет и самое непосредственное!» «Что ж, если так, зачитайте, Клавдий Иванович». Письмо было длинным, потому что включало в себя выписки из многостраничного официального документа, с которым (его существом) руководство Пермского ветеринарного института хотело ознакомить сотрудников нашей ветстанции. И, прежде всего, директора ветстанции и исполнителя программы по разработке листериозной вакцины, то есть, Терехова и меня. Клавдий Иванович это письмо перехватил и воспользовался. Не исключаю, что письмо было получено накануне или даже раньше, и Клавдий Иванович дождался конференции, чтобы нанести мне сокрушающий удар. И нанес. Письмо пересказывало патент, который был недавно (на дворе шла вторая половина восьмидесятых) выполнен научными сотрудниками кафедры микробиологии Ярославского медицинского института и назывался: «Генетический метод получения живой вакцины, предохраняющей людей и животных от листериоза». Общее направление экспериментов было очень похоже на опыты, которые я в одиночестве проделывал в течение нескольких лет в моей крохотной лаборатории на Силинской ветстанции. В патенте были перечислены направления исследований: воздействие химических веществ, вызывающих наследственные изменения (мутации) у болезнетворных культур листерелл, приводящие к потере способности вызывать заболевание. При этом присутствовала изящность выполнения экспериментов коллективом профессионалов и — главное! — генетический анализ живой вакцины при помощи тонких молекулярно-биологических методов. Закончив свое сообщение, Клавдий Иванович горестно вздохнул и вернулся на свое место. Конечно, я был ошарашен сообщением заместителя директора. Но, главным образом, не столько существом патента, который полностью перекрывал мои эксперименты, а коварством Клавдия Ивановича. От такого можно было ждать самого худшего. Вдруг я почувствовал леденящее дыхание сил, от которых я бежал на Урал из Москвы. Теперь они настигли

меня здесь, в Силе. Надо снова бежать! Но куда? Павел Андреевич пытался меня утешить, зазывал отметить удачный доклад в столовой-ресторане: «Валя нам такой обед соорудит!» Мне хотелось побыть одному и решить, как жить дальше. По странному совпадению я нашел под дверью своей студии конверт. Второй судьбоносный конверт на день! Это было письмо от Герда Сапирова. Он писал, что мне пора возвращаться в Москву, что намечаются какие-то перемены, что Ирочка ждет меня.

На сворачивание дел и написание окончательного отчета ушло у меня около месяца. За это время я ответил Герду Сапирову, что внял его совету и вскоре возвращаюсь в Москву. Он написал, что человек, который снимал мою комнату на Патриарших прудах, вот-вот съедет, что накопилась значительная сумма, что у него (Герда) появились кой-какие мыслишки насчет моей будущей работы по сочинению мультфильмов и т.д. и т.п. А главное — Ирочка ждет меня с нетерпением! Наконец, наступил день, а вернее, утро того дня, когда я обошел всех сотрудников Силинской ветстанции (накануне Павел Андреевич Терехов устроил в своей избе прощальный ужин, на который явились все, кроме Клавдия Ивановича и Катерины). Тем не менее, наутро около ветстанции ждал меня рафик с Катериной за рулем. Она отвезла меня до автобусной станции, где я должен был пересесть на автобус до Пермского железнодорожного вокзала. Я перекинул через плечо свой рюкзак, прихватил чемодан (с моей заветной «Олимпией») и спрыгнул на тротуар. Катерина выскочила из машины и бросилась мне на шею в слезах, приговаривая: «Вы на меня не держите обиду, Дания? Не держите? Нет?» «За что же Катя?» Она не ответила, а стояла, уткнувшись в мое плечо и вздрагивая от рыдания. Наконец она вымолвила сквозь слезы: «Если что-нибудь случится, можно мне позвонить вам, Дания? Или написать?» Я предал ей листок бумаги со своим московским адресом и телефоном.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. ЧИСТОПРУДНЫЙ БУЛЬВАР

Что-то изменилось в Москве со времени моего бегства на Урал. Даже соседи по коммуналке на Патриарших прудах встретили меня вполне дружелюбно и без осторожности, которая явилась у них незадолго до моего отъезда. Накануне, встретив меня на Ярославском вокзале, Герд Сапиров передал мне ключи от квартиры: «Живи, старик, ни о чем не беспокойся. Ирочка даст знать, когда захочет тебя увидеть. Кстати сказать, она забросила свою театральную деятельность и полностью переключилась на изобразительное искусство». «Что? Ирочка стала художницей?» — спросил я, впрочем, подготовленный прежним опытом, что от Ирочки можно ожидать самых неожиданных поворотов. «Ну, нет, старик! Ирочка покровительствует неофициальным художникам. Многие из них были участниками *Бульдозерной выставки*. Собственно, Ирочка — хозяйка единственного частного художественного салона. Да ты сам скоро убедишься». Через несколько дней, это было в июне-июле одного из начальных лет перестройки, Герд дал мне знать, что пора! Ирочка приглашала его и меня на «Фестиваль искусств» у себя в салоне. Все было необычно в этом приглашении, ведь мы не виделись столько лет. И вот — сразу, поговорив по телефону и еще ни разу даже не увидевшись — на «Фестиваль искусств»! Герд заехал за мной на такси, и мы отправились к Ирочке. Нынешняя квартира ее помещалась под самой крышей красивого особняка на Чистопрудном бульваре, напротив театра «Современник». По словам Герда, в Ирочкином салоне проходили читки самой неподцензурной литературы. Художники выставлялись здесь на комиссионных началах, картины продавались вовсю, а иностранцы расплачивались долларами. «Скажи, Герд, а капитан Лебедев бывает в салоне?» «Очень редко. Вечно занят. По словам Ирочки, он стал замминистра!»

Еще в парадном, у старинных, в медных львах, дверей подъезда, толпилась светская публика: шикарные шляпы, духи, английская речь, французская грассировка, обрывки русских анекдотов.

Ирочка встречала нас у дверей своей квартиры. Она была все та же красавица, моя возлюбленная, моя королева, и невозможно было понять, как я прожил в отдалении от нее столько лет. Это был живой сон, в котором все сходилось, пока я спал, но вот проснулся и увидел, что никогда с ней не разлучался: сероглазая, в короткой ультрамодной стрижке волнистых каштановых волос, со спортивной посадкой головы на длинной шее, перетекающей в стремительную и стойкую грудь. Ирочка совсем не изменилась, разве что стала «посуше»: менее стремительной, более сдержанной. «Даня, милый! Наконец-то!» Она расцеловала меня, обняла Герда, приняла вино/конфеты, показала, куда бросить пальто, и снова ринулась в гостеворот. Поражало музейное обилие картин на стенах комнат, коридоров и коридорчиков. Картины принадлежали кисти самых модных московских художников-авангардистов. Некоторые из них были участниками и жертвами *Бульдозерной выставки*. Предназначенные для продажи картины были обозначены ценами (относительно невысокими) в специальных каталогах. Живопись чередовалась с коллажами и композициями, составленными из разных предметов и соединенных грубыми мазками масляных красок. Именно соседство самых разнообразных стилей — от буквального натуралистического реализма до абстрактных комбинаций красок на холсте, возбуждало и создавало бурлескное настроение. Во всяком случае, у меня. Наверно, у других гостей/зрителей/потенциальных покупателей тоже. На одной из акварелей сказочный мальчик в бело-голубом матросском костюмчике летал над тесным от множества яхт южным портом. На другой — гигант, вроде Голиафа, гладил красавицу-двоймочку, которая стояла у него на ладони. На третьей было изображено крыльцо барака и пустая бутылка из-под водки с этикеткой «Лионозовка»... Особенно привлекали зрителей рубашки, их было около полудюжины, на которых рукой Герда Сапирова были изображены масляными красками его сонеты, ходившие по рукам почитателей вот уже около двадцати лет. В одном из коридорчиков висело несколько работ Юры Димова. Мы обнялись с ним. Но Дима был в подавленном настроении. Он ворчал, что место для него выбрано Ирочкой невидное и еще что-то про распад нашей бывлой компании. Напротив столовой висели коллажи нового приятеля Герда, весьма благополучного художника Хомина. В столовой был накрыт эллипсоидный дубовый стол в половину комнаты, с закусками и выпивка-

ми *а ля фушет*. Дубовый стол прогибался от бутылок, закусок, тортов, конфет, тарелок и стаканов. Публика вилась разношерстная: наполовину богемная, наполовину торгашеского вида, какая роится вокруг комиссионки. Присутствовало множество иностранцев. Герд исчез в толпе. Со стаканом вина я примостился около резного буфета. Справа от меня в кресле фирмач-француз наслаждался бутербродом с лососиной. Глистоногий алкаш из новоявленных гениев снял с тарелки француза рюмку с водкой, закусил оставшейся лососиной, загасил окурки об оплешивевший хлеб и пошел дальше.

Закусив и выпив, гости перешли в боковую комнату слушать Герда Сапирова. Потом веселье продолжилось. Не дождавшись окончания фестиваля, я уехал к себе на Патриаршие пруды.

Несколько дней я провел в устройстве своего жилища. Что ни говори, а прошло столько лет со времени моего бегства. Холодильник был пуст. Подписки на газеты и журналы давно истекли. Надо было восстанавливать прежние знакомства. Ну, и конечно, обойти редакции, где, как ни странно, встретили меня вполне... как бы точнее выразиться... вполне *натурально*. То есть, в меру изумились: «А кто-то сказал, что вы уехали!» «Я и был в отъезде». «Эмигрировали в Израиль и вернулись?» «Нет, вернулся с Урала». Или искренне поведали, что прошел слух о моей гибели где-то в Гималаях или в Антарктиде, куда будто бы я отправлялся с экспедициями. Однако и там и сям меня срочно послали в бухгалтерию получать гонорары за опубликованные в годы моего отсутствия переводы стихов.

Через несколько дней позвонила Ирочка и пригласила заехать к ней на чашку чая. До ее звонка со времени моего приезда в Москву, даже на «Фестивале искусств» у Ирочки, где я был вместе с Гердом Сапировым, меня не покидало ощущение, что я все проделываю механически. Разговариваю механически, ем и пью механически, механически оживляю свою комнату. Поэтому я надеялся, что звонок Ирочки и встреча с ней выведет меня из этого оцепенения. Я ждал ее звонка, подобно тому, как заядлый кокаинист, принудительно прошедший курс лечения, втайне ждет своего часа, чтобы полной грудью вдохнуть животворное лекарство и выйти из спячки. С бутылкой шампанского и букетом белых гвоздик я позвонил в Ирочкину квартиру на Чистопрудном бульваре. Она открыла мне и провела в комнату, стены которой были увешены кар-

тинами ее друзей, художников-авангардистов. «Это самые драгоценные работы в моей коллекции. Подарены мне авторами». «Я не видел этих работ во время фестиваля», — сказал я. «Правильно, Даник, я эти картины не выставляю и не продаю. Это мой *золотой фонд*». Ирочка была одета в темно-синее шелковое платье, которое делало ее строгой, как будто бы она принимала у себя кого-то, кто долго ждал деловой встречи с ней и, наконец, получил возможность изложить суть дела. Но у меня никакого дела к ней не было. Я соскучился по Ирочке. Она была моей возлюбленной, к которой я вернулся после долгих лет разлуки. Я ждал тайного сигнала, едва заметного знака, чтобы обнять ее, поцеловать осторожно в уголки глаз, шею, губы, чтобы взять ее за руку и вывести из этого чопорного кабинета в спальню, поторопить ее освободиться от синего шелкового платья, вспомнить ее всю до самого сладостного на свете мгновения, о котором я мечтал все эти годы. Что-то, однако, останавливало. Как будто Ирочка была отделена от меня батисферой, которая препятствует проникновению моих сигналов в ее рецепторы. «Выпьем шампанского, Ирочка!» — предложил я. «Хорошо, Дания. Но сначала поговорим. Мы так давно с тобой не говорили. Как ты жил там, на Урале?» Я принялся рассказывать ей в подробностях о моей работе на ветстанции, о том, какую придумал я вакцину, и как все мое открытие было зачеркнуто чужим патентом. Мое повествование складывалось в повесть, сюжет которой разворачивался в селе Сила. Повесть, где я был главным действующим лицом. Отнюдь не героем, потому что я ничего героического не делал. Я добросовестно занимался микробиологической рутинной, и вокруг меня были самые обыкновенные люди, среди которых даже Клавдий Иванович теперь — на расстоянии — выглядел всего лишь старым ревнивцем, обманутым мужем из классических комедий Мольера. «А если бы этот Клавдий Иванович (имя-то какое!), если бы Клавдий Иванович тебя с Катериной в бане застукал?» — засмеялась Ирочка. Но мне показалось, что засмеялась, скорее, из вежливости. Какая-то пелена грусти отделяла ее от меня. Даже наше чаепитие было слишком чопорным и неестественным после стольких лет разлуки. «А ты как, Ирочка? Что было у тебя в эти годы?» — решился спросить я. «Ну, что тебе рассказать? Кажется, ты уехал по совету Николая Ивановича как раз накануне серии провалов с нашим Кооперативным театром. Вокруг актера Коли Лебедева (да ты помнишь — сын капитана Лебедева) разразился страш-

ный скандал. Какой-то продажный писака, подстрахованный мракобесами из того же ведомства, где служит Николай Иванович, опубликовал фельетон, в котором в подробностях описывались *гомосексуальные наклонности* некоего гражданина, весьма напоминающего Колю Лебедева. Это грозило талантливому актеру годами тюрьмы. Не удивляйся, что покровительство фельетонисту шло из того же ведомства, где служит Николай Иванович. Сейчас идет жестокая борьба между правым имперским крылом в госбезопасности, и либеральным, прозападным, к которому примыкает наш капитан Лебедев». «И Театр закрыли?» «Я распустила Театр». «Как же ты могла все это выдержать одна, Ирочка?» «Конечно, нет. Конечно, не одна! А Васенька Рубинштейн — мой *тоскующий ангел*? А Риммочка? А Юрочка Димов? Вся наша компания! Ну, и прежде всего — Вадим Алексеевич Рогов. Кстати сказать, он очень жалеет, что не смог придти на фестиваль и встретиться с тобой. Безумно занят. Он ведь в заварившейся перестройке один из капитанов экономики». «Прямо по Каверину — *Два капитана*: — Николай Иванович Лебедев и Вадим Алексеевич Рогов!» — я не удержался, чтобы не съязвить. Никому я больше не верил! «Без опытных и либерально настроенных профессионалов России не выбраться из застоя!» — сказала Ирочка с необыкновенным запалом. «И твоя галерея прямо в квартире! Как тебе удалось, Ирочка?» «Конечно, это одна из примет перестройки. Я придумала, а Николай Иванович с Вадимом Алексеевичем поддержали. Стране нужна валюта. Иностранцы платят за картины в долларах, часть полученной валюты я отдаю государству». «Продолжение прежних игр в *теневой бизнес*, Ирочка?» «Именно, Даник! Все было бы превосходно, если бы мне не предстояла *маленькая операция*». Я почувствовал, что происходит нечто в Ирочкиной жизни, что проводит магическую черту, накладывает невысказанное и необъясненное veto на прежнюю нашу близость, о которой я так мечтал, истосковавшись по Ирочке. Шампанское, от которого Ирочка отказалась, было лишь внешним признаком перемены, произошедшей с моей возлюбленной. Символом. Деталью ритуала. «Мне нельзя, Даник. Предстоит *маленькая операция*». «Что за операция? Опасная, Ирочка?» «Пожалуй, нет. Мой хирург-гинеколог уверяет, что неопасная. Хотя, риск всегда есть». «Ирочка, что у тебя нашли?» «А ничего страшного, Даник — женские дела. С некоторых пор у меня начались кровотечения, довольно обильные. В общем, врачи пред-

ложили мне оперироваться». «О, Боже, Ирочка, моя девочка! А я со своим дурацким шампанским! Прости, любимая». Наверно, у меня выступили слезы. Ирочка смахнула их. Поцеловала меня в еще влажную щеку: «Даник, все будет ОК, как говорят мои американские знакомые». «Ну, да... конечно...» — мямлил я, не решаясь расспросить подробнее об операции. Ирочка поняла мою скованность: «Диагноз, Даник, довольно банальный: фиброматоз матки». «?» «Это значит, что вся матка пронизана узлами, которые разрастаются, повреждают кровеносные сосуды и вызывают кровотечения. Ну, и как следствие кровотечений: малокровие, слабость и, прежде всего, абсолютный провал в сексе. Сам понимаешь, какое удовольствие заниматься любовью, когда из тебя хлещет, как из лопнувшей трубы!» «Когда операция, Ирочка?» «Послезавтра». «Где?» «В гинекологическом отделении Боткинской больницы. Операция под названием гистерэктомия назначена на восемь часов утра. Так что, часов в двенадцать меня привезут в послеоперационную палату досыпать».

Не знаю, как я дождался дня операции. Я не спросил во время чаепития, кто отвезет Ирочку в больницу. О многом я предпочел не спрашивать, чтобы не наткнуться на стену, которую не обойдешь и через которую не перелезешь. Впрочем, подобные этические нормы общения были приняты в нашей компании с давних времен. Сходная тактика в отношении геев стала применяться в американской армии десятилетием позже: «Don't ask, don't tell!» Мы пришли к этой формуле еще со времени знаменитой экспедиции в деревню Михалково за березовыми грибами — чагой. Ирочка сама выбирала счастливицу среди нас. Я проснулся в день операции около шести утра, когда уже занимался легкий рассвет. Первой моей мыслью было: «Как там Ирочка? Наверно, ее отвозит в больницу Рогов». Как ни отвратительно теперь признаваться в этом, мысль, что Ирочку сопровождает на операцию Вадим Рогов, ранила меня не меньше, чем сама предстоящая операция. Я сделал над собой страшное усилие, чтобы не сорваться, не выскочить на улицу, не взять такси и не оказаться у ступеней Ирочкиного подъезда до того, как Рогов прикатит за ней на своей волге. Хотя, нет, по тем временам да в его положении автомобиль был бы классом не меньше, чем мерседес. Я удержался и позвонил в девять утра: «Началась ли операция?» Диспетчер ответила мне, что операция отложена на несколько часов. Потом откладывалась еще несколько

раз, пока не началась около шести вечера. Я ждал у входа в гинекологическое отделение, отлучаясь ненадолго, чтобы попить кофе.

Исход битвы решается искусством командующего. Исход операции определяется искусством хирурга. Замена командующего перед самым сражением чревата поражением. Замена оперирующего хирурга на случайного, не знающего больного (больную), нередко приводит к тяжелым послеоперационным осложнениям. Так получилось с Ирочкой. Конечно, ничего этого я не знал заранее. Вадим Алексеевич, который со мной вместе дожидался окончания операции, предпочитал не входить в объяснения, углубившись в какие-то записи или расчеты. Обстоятельства судьбы, связавшей нас обоих с Ирочкой, вынуждали терпеливо ждать, сидя на тесной больничной скамейке, поставленной перед входом в гинекологическое отделение. Было около девяти вечера, когда оперировавший хирург (потом выяснилось, что это был ординатор) в зеленой униформе и зеленой шапочке вышел к нам и начал объяснять, что ему пришлось заменить ведущего гинеколога Ирочки, который внезапно слег (грипп, осложненный пневмонией). Операция, которая обычно занимает не более часа, затянулась на два с половиной по причине необычно низкого расположения нескольких фиброматозных узлов в месте перехода матки в шейку матки. Пришлось произвести ампутацию матки, частично погрузив в шов слизистую влагалища. Не знаю, как Рогов, но я вначале пропустил мимо ушей эти подробности. Одно меня тревожило: «Как Ирочка? Когда она проснется? Будет ли у нее сильно болеть?» Узнав, что Ирочка проснется через два часа, не ранее, Рогов уехал по делам, и я остался один. Сердобольная дежурная сестра дала мне халат и шапочку и разрешила проскользнуть в послеоперационную палату, взяв честное слово (в обмен на положенную в карман ее халата десятку), что я ее не выдам, если меня *застукает* один из врачей или ординаторов. Ирочка лежала на высокой кровати, уровень которой менялся в зависимости от клинической необходимости. Она лежала на спине, прикрытая до подбородка простыней, поверх которой лежало белое пикейное одеяло. К обеим ноздрям тянулись трубочки, отходившие от кислородного баллона. Рядом с кроватью стоял деревянный штатив с подвешенным пластиковым мешочком, от которого тянулась прозрачная трубочка, соединенная с иглой, введенной в вену левой руки. Игла была прикреплена к коже локтевой ямки лейкопластырем, из-под которого расползлось

фиолетовое пятно кровоизлияния, свидетельствовавшего, что в вену удалось попасть не сразу. Ирочкины прекрасные, обычно насыщенные губы опали и были сухими. Она спала. Я разыскал дежурную медсестру и попросил положить влажную марлю на Ирочкины губы. На правую руку была наложена манжетка прибора для измерения кровяного давления. Прибор соединился с монитором. Медсестра время от времени приходила в палату, чтобы взглянуть на монитор. Меня она как будто не замечала. Все было позади. Ирочка, хотя бы на время, принадлежала одному мне. Операция благополучно завершилась. Надо было ждать, когда Ирочка проснется. Я старался отогнать от себя мысли о том, что будет, когда Ирочка окончательно поправится и вернется в свой салон. Но прежде всего, до того, как я вообразил Ирочку в окружении гостей и потенциальных покупателей, я представлял себе Вадима Рогова, по-хозяйски оглядывающего Ирочку и ее гостей. В этой толпе с трудом различались мои прежние друзья-компанейцы: Глебушка Карелин, Васенька и Риммочка Рубинштейны, Юрочка Димов. Меня среди них не было. Разве что у двери кто-то похожий на меня доказывал, что его тоже приглашали в салон, объясняя пожилому, плотно увешанному орденами генералу, напоминавшему капитана Лебедева, что я не случайное лицо в Ирочкином салоне. Наверно, я дремал, потому не сразу услышал тихий голос Ирочки: «Пить, пить...». Она смотрела на меня, вначале не узнавая, но вскоре улыбнулась своей милой улыбкой, усталой, но единственной на свете улыбкой моей Ирочки. «Я сейчас, Ирочка», — повторял я, как полоумный, выбегая из послеоперационной палаты и направляясь к пульту дежурной медсестры. Увидев мое суматошное испуганное лицо, медсестра, которую звали Полина Александровна, принялась объяснять, что после операции на брюшной полости нельзя поить больных, потому что это может вызвать неукротимую рвоту и расхождение швов; что влажная марлечка, положенная на губы, немного утоляет жажду, и что вода постоянно поступает при помощи внутривенного вливания, за объемом которого она (медсестра) следит. Я вернулся в послеоперационную палату к Ирочке, сменил ей влажную марлю и пересказал слова медсестры Полины Александровны. Ирочка тихонечко переместила руку, положив свою ладонь на тыльную сторону моей кисти: «Даник, спасибо тебе, родной. А теперь поезжай к себе». «А как же ты, Ирочка?» «Я очень хочу спать. А завтра...». Она не досказала, что будет завтра,

снова уйдя в сон. Но я понимал, что завтра вернусь к Ирочке и буду с ней, уезжая домой на ночь и возвращаясь к утру, до тех пор, когда она выпишется из больницы. «А после?» Я отгонял от себя мысли о том, что будет после. Надеялся ли я на то, что Ирочка останется со мной? Наверно нет. Надеялся ли я на чудо? Надеялся.

Так продолжалось несколько дней, четыре или пять. Ирочка поправлялась и начала даже ходить по палате и коридору. К тому времени ее перевели в общую палату всего на два человека, наверняка, благодаря хлопотам Рогова. Так эта палата и называлась: *персональная палата*. На второй койке лежала молодая женщина-узбечка с каким-то сложным диагнозом, существа которого ни я, ни Ирочка не могли постигнуть, но болезнь была явно связана с деторождением. Чаще всего она лежала, отвернувшись к стене, и даже не отвечала на Ирочкины вопросы не то из-за того, что находилась в постоянной дремоте, не то из протеста, что она оказалась в далекой северной стране, среди людей, говоривших на чужом языке. Словом, у Ирочки все шло к выписке. Вспоминаю, что за эти несколько дней я так привык к больничной рутине, что с тревогой думал, что же будет дальше, когда Ирочка вернется к себе домой в галерею? В больницу Вадим Алексеевич Рогов приезжал обычно после 8 часов вечера, привозил цветы (каждый день из оранжереи), фрукты, сладости и оставался с Ирочкой час или два, пока она, еще слабая после операции, не засыпала. Я уезжал обычно сразу же после появления своего соперника. Однако в течение получаса, который я для приличия выдерживал, мы все втроем обменивались новостями о наших общих знакомых или обсуждали политические события, которыми к этому времени кипела Москва. Упомянув знакомых, я прежде всего имел в виду нашу компанию, круг друзей, который привиделся мне в полудремоте, когда я дежурил около Ирочкиной послеоперационной кровати. Я, по правде говоря, удивлялся, что никого из них здесь не встретил. Но когда эта тема всплыла в нашем с Ирочкой разговоре, оказалось, что никто ничего не знал об операции: было объявлено среди друзей и знакомых, что салон закрывается на неделю, потому что Ирочка улетает на отдых к Черному морю. Иногда Вадим Алексеевич рассказывал о своих сражениях в совете министров за приватизацию государственной собственности, что напоминало его горячность и энтузиазм в те годы, когда наши кооператорские эксперименты оказывались созвучными теневой экономике, бродившей в глубинах тоталитарного режима.

Так продолжалось несколько дней, четыре или пять. В тот день, как обычно, я приехал к Ирочке около 10 часов утра, после ее туалета и завтрака. До врачебного обхода мы успевали погулять с ней по коридору, поболтать о всяческих пустяках, которые отвлекают от унылой больничной жизни. Я к тому времени стал своим человеком в гинекологическом отделении. Сестры признавали меня за хорошего знакомого, тем более что я не подчеркивал исключительные права, даруемые посетителям *персональной палаты*, а добросовестно подбрасывал медсестрам ежедневные десятки. Обычно Ирочка ждала меня в своей палате, сидя на кровати, одетая в стеганый атласный халат поверх пижамы. В это утро она лежала под одеялом. Последний номер «Нового мира», который я привез накануне, лежал на тумбочке закрытый. Я взглянул на нее вопросительно: «Что с тобой Ирочка?» «Ничего особенного, Даник. Нездоровится. Познабливает с утра. Ах, ерунда! Все пройдет. Не волнуйся!» «У тебя что-нибудь болит?» «Тянет и распирает внизу живота. Подташнивает немного». Я бросился к медсестре. Она измерила температуру, которая оказалась около тридцати девяти. Конечно, ни о какой прогулке по больничному коридору речи быть не могло. Пришел палатный врач, оказавшийся на этот раз тем гинекологом, который первоначально должен был оперировать Ирочку, но потом внезапно заболел, и его заменил ординатор. Меня попросили обождать в коридоре. Через некоторое время в Ирочкину палату вошел торопливыми шагами заведующий отделением в сопровождении нескольких врачей. «Ирочка, Ирочка...», — твердил я, как полоумный, не зная, что произошло в ходе ее болезни, но абсолютно уверенный в существовании опасности, угрожающей жизни моей возлюбленной. Знакомая медсестра вошла в палату и через некоторое время вернулась с каталкой, на которых перевозят больных на процедуры, на рентген или в операционную. Я бросился к ней: «Что они нашли у Ирочки? Что хотят делать?» «Ничего не могу сказать, гражданин. Обращайтесь к лечащему врачу!» — сухим казенным голосом ответила медсестра, которая еще час назад охотно любезничала со мной, ожидая очередной благодарности. Медсестра вместе с каталкой скрылась в палате, а я остался в коридоре, не зная, что предпринять, как помочь Ирочке. Одно было ясно: с моей возлюбленной происходит что-то чрезвычайно опасное. В это время из палаты в коридор вывели каталку с Ирочкой, окруженной врачами. Я бросился к те-

перь уже знакомому мне гинекологу: «Что происходит, доктор?» Он увидел мои сумасшедшие глаза и, поняв, что я доведен до такой степени тревоги, что лучше сказать сразу всю правду, чем хитрить и ловчить, золотя пилюлю, шепнул мне: «У вашей родственницы развилось послеоперационное осложнение — гнойный перитонит. Будем ее срочно оперировать». Я отправился вслед за каталкой, на которой лежала Ирочка, ждать результатов операции. На той же скамейке, напротив операционной, сидел молодой мужчина, который на каждый шорох или каждый голос вскакивал и подбегал к дверям, ведущим в операционную. Но никто оттуда не выходил, и он возвращался ко мне на скамейку досказывать свою историю. У его жены в конце беременности развилась тяжелая гипертоническая болезнь с угрозой поражения почек и рождения мертвого ребенка. Так что решено было провести операцию под названием кесарево сечение. Еще через полчаса в коридор вышел кто-то из ординаторов и поздравил молодого мужчину с рождением мальчика. Обняв ординатора, а потом и меня, молодой мужчина начал скакать, как молодой козлик, повторяя несколько слов, среди которых самыми важными были «сыночек» и «цветочек». Наверняка, эти два слова возбудили в молодом мужчине определенный участок головного мозга, ведавший поздравительной активностью, потому что он, воскликнув: «А теперь — за цветами!» выбежал из отделения. Я остался один. Не помню, сколько я ждал, погруженный в оцепенение страха, не осознав сразу, почему рядом со мной оказался Рогов. Вначале мне показалось, что я медленно перелетаю над пропастью. Рядом со мной летит Рогов, а между нами — Ирочка, которую мы держим за руки. Я чувствую, что силы подходят к концу, не только мои силы, но и силы каждого из нас, и что мы оба (соперник и я) повторяем: «Ирочка, держись, пожалуйста, не отпускай наши руки!» В это время дверь операционной распахнулась и, отвязывая маску, в коридор вышел оперировавший Ирочку гинеколог. Распахнувшись улыбкой, он объявил, что операция прошла благополучно. Действительно, у Ирочки подтвержден гнойный перитонит, возникший потому, что некоторые фиброматозные узлы были низко расположены и в шов попала слизистая шейки матки. Больной назначили эффективный, как правило, антибиотик широкого профиля — ампициллин, и одновременно гной послан в микробиологическую лабораторию, чтобы определить, какая культура бактерий вызвала перитонит и к каким антибиотикам эта культура чувствительна.

Два-три последующих дня прошли относительно спокойно. То есть, ничего волшебного в процессе выздоровления не произошло, но и не было причин для тревоги. Ирочка была чрезвычайно слабой, но температура упала, и боли в животе почти не беспокоили. Вполне понятно, что благотворной оказалась сама операция: было выпущено много гноя, брюшина была промыта антисептиками вместе с детергентами, пришло временное облегчение. Снова я дежурил около Ирочкиной кровати или дожидался в коридоре, когда у нее закончатся процедуры. Рогов приезжал по вечерам, и я оставлял Ирочку на его попечение. Однако, на четвертый день, теперь уже после второй операции, снова наступило резкое ухудшение: температура поднималась чуть ли не до сорока градусов. Ирочка металась, просила пить, несмотря на постоянную капельницу с физиологическим раствором, который должен был возмещать недостаток влаги в ее клетках. Временами на волне лихорадки температура внезапно падала. Ирочка обливалась изматывающим потом. Я помню, это было утром, когда в необычное время пришел Рогов, и мы горестно сидели с ним в коридоре, ожидая, когда дежурная сестра оботрет Ирочку. Внезапно Вадим сказал: «Знаете, Даниил, я клянусь вам, что готов отступить от Ирочки, если произойдет чудо, и она поправится». Я поднял на него глаза: «Как странно, Вадим. Я тоже именно об этом подумал. За минуту до ваших слов. Я буду счастлив, если вы на своих руках унесете выздоровевшую Ирочку из больницы. Я клянусь вам в этом, поверьте, Вадим». «Конечно же, я вам верю, Даня», — ответил Рогов. Он смахнул слезы рукавом пиджака. Мы обнялись. Уходя, сказал: «Вернусь в середине дня. Вот мой телефон. Звоните, Даня, если понадобится, срочно!» Рогов ушел. В это время из палаты вышел гинеколог, тот самый, который оперировал Ирочку по поводу перитонита. В руках у него был бланк, исписанный цифрами. «Вот только что прислали из микробиологической лаборатории. Результаты посева гноя показали, что микроорганизм, вызвавший перитонит, это кишечная палочка, устойчивая к практически всем антибиотикам». «Включая ампициллин?» — спросил я. «К сожалению, и ампициллин, — ответил хирург-гинеколог. — Поэтому и не помогает». Я хотел спросить: «Зачем же вслепую назначали?», но сдержался. Проще всего наскандалить, а потом? «Что же делать, доктор?» — спросил я, подавленный неотвратимостью результатов бактериологического анализа, и повторил: «Как ее спасти, доктор?» «Есть только

один выход: начать лечить вашу родственницу (он упорно называл Ирочку нашей с Роговым *родственницей*) комбинациями цефалотина с гентамицином. К этим антибиотикам чувствительна кишечная палочка, вызвавшая перитонит у больной Князевой». «Когда вы начнете лечение этими антибиотиками, доктор?» «В том-то и дело, что у нас их нет. Эти антибиотики производятся американскими фармацевтическими компаниями. Они поступают по неофициальным каналам. Сами понимаете: *дефицит!*» Напряженность минут, когда я узнал от доктора название антибиотиков, способных повернуть течение заболевания, была так высока, что у меня мгновенно созрел план действий. Я зашел в палату, сказал Ирочке, что вернусь через несколько часов и выбежал из корпуса, неподалеку от которого за оградой больницы толпились таксомоторы. Я приоткрыл дверцу такси и крикнул: «Шеф, гони на Пироговку в институт новых антибиотиков. Отблагодарю, не пожалеешь!» «Сказано — сделано, босс!» — ответил таксист, и мы помчались на Пироговку.

Для того чтобы мой рассказ показался правдивым и не вызывал подозрения читателей в искусственном нанизывании событий, как будто это не реальные узлы литературного сюжета, а детали конструктора, которые можно соединять и так и эдак, лишь бы тянулась нить повествования, поведаю некоторую предысторию. Много лет назад, более пятнадцати, во всяком случае, когда мы ставили в Кооперативном театре пьесу «Короткое счастье Фрэнсиса Макомбера», после окончания спектакля ко мне за кулисы зашла молодая дама лет тридцати пяти-сорока, стройная, напомнившая мне блоковскую Незнакомку. Она представилась Татьяной Ивановной Воскресенской, старшим научным сотрудником института новых антибиотиков, что на Пироговке, неподалеку от Смоленской площади. К тому времени спектакль «Короткое счастье...» с успехом прошел в Театре на Малой Бронной и был поставлен нашим Кооперативным театром. Я был автором пьесы по знаменитому рассказу Хемингуэя. То есть, почти драматургом с именем. С тысячей извинений Татьяна Ивановна попросила меня прочитать пьесу, которую она написала и в которой клубок противоречий возник между английским ученым Александром Филдингом (его прототипом был англичанин Александр Флеминг, открывший пенициллин) и Зинаидой Ермолаевой (прототип — Зинаида Ермолаева), повторившей открытие Флеминга. Название пьесы было

«Приоритет». Я прочитал пьесу. Она была несовершенно, но написана талантливым человеком. В это время наши отношения с Ирочкой находились на нулевом витке. Татьяна Ивановна, которая со второй нашей встречи настояла на том, чтобы я называл ее Таней, оказалась изощренной любовницей. Она забегала ко мне на Патриаршие пруды. Мы работали над пьесой, а на прощанье занимались любовью. Муж ее, крупный чин в Министерстве внешней торговли, что на Смоленской площади, бывал в длительных командировках. Помню, что Таня привозила горький шоколад и французские ликеры. Она была сластена. Пьеса была выправлена, передана в журнал «Театр» и в театры. Таня еще иногда извещала меня о судьбе пьесы и даже навещала. Все это повторялось все реже и реже, пока, наконец, совсем не заглохло. Я всегда вспоминал наше с ней сотрудничество с удовольствием, как вспоминают поездки на юг, к морю, к временной свободе и радости. Я решил обратиться к ней за помощью. Правда, я был совсем не уверен в том, что она продолжает работать на старом месте, и, если даже так, захочет ли она мне помочь. Таксист примчал меня к трехэтажному зданию прошлого века с величественным голубым куполом. Сразу возникало ощущение торжественности: храм науки или что-то в этом роде. Мне было не до сравнений. Я молил судьбу, чтобы Таня оказалась на месте. Я взбежал по каменным ступеням, открыл массивную дверь и оказался перед столиком вахтера. С трепетом я спросил его, продолжает ли работать доктор Татьяна Ивановна Воскресенская и можно ли ее увидеть. Вахтер прошелся указательным пальцем по списку, лежащему под стеклом на столике, набрал номер на телефонной вертушке и сказал: «К вам посетитель, Татьяна Ивановна!» С этой минуты все происходило, как в сказочном сне, в котором я, с одной стороны, принимал активное участие, а с другой — был пристальным наблюдателем и летописцем. Татьяна Ивановна была такой же стройной, как много лет назад в дни нашего сотрудничества/увлечения. Белый халат, скроенный так коротко, что открывал ее красивые, чуть полные ноги, подчеркивал, как и прежде, ее привлекательность и загадочность. Конечно, она сразу же узнала меня. Мы обнялись: «Сколько лет! Сколько зим!» Она потащила меня к себе в лабораторию, которая заканчивалась ее кабинетом. По ходу Татьяна Ивановна знакомила меня с сотрудниками, показывала сверхмодерные приборы, каких я никогда до этого не видел, рассказывала в нескольких словах о направле-

ниях ее исследований. Конечно, я воспринимал ее рассказы и объяснения вполслуха, думая только об одном: достану ли я цефалотин и гентамицин. На объяснения, знакомства и демонстрации ушло минут десять, в завершении которых Татьяна Ивановна распахнула дверь своего кабинета. К этому времени я узнал, что в лаборатории занимаются поисками генов, помогающих микробам выживать в условиях антибиотикотерапии. Кажется, скорее из вежливости, я принялся расспрашивать Татьяну Ивановну (она в это время варила кофе) о судьбе ее пьесы «Приоритет». Она рассмеялась, как будто я напомнил о ребяческой шалости: «Ах, милый Даниил Петрович, с этим увлечением покончено лет десять тому назад. Впрочем, как и со многими другими!» Она снова рассмеялась, на этот раз с оттенком веселой грусти, настоящей на самоиронии, как это умеют красивые женщины, вступившие в пору осенних заморозков.

Я рассказал Татьяне Ивановне про Ирочкину болезнь. Она сразу все поняла, позвонила кому-то, попросила меня обождать, пока ее сотрудники поищут нужные антибиотики. Мы выпили кофе, и наступило тревожное молчание, когда кажется, что вся жизнь зависит от нескольких минут ожидания. Наконец, телефон зазвонил. Я весь сжался: вдруг не найдут препараты? Татьяна Ивановна успокаивающе улыбнулась: «Все в порядке! Я схожу за антибиотиками». Она вернулась с большой картонной коробкой, наполненной флакончиками. «Здесь оба антибиотика. Вводить внутривенно по флакону каждого препарата два раза в сутки в течение недели. Если возникнут проблемы, немедленно звоните мне». «Спасибо, Татьяна Ивановна... Таня!» «Рада была помочь, Даниил Петрович... Даня!» Она проводила меня до выходной двери. Мы обнялись на прощанье.

Я вернулся в больницу и передал антибиотики хирургу-гинекологу. С этого дня Ирочка пошла на поправку. Курс антибиотикотерапии закончился, симптомы перитонита исчезли, и еще через неделю ее выписали домой. Я продолжал навещать Ирочку каждый день, уходя, как и в больнице, к вечеру, когда меня заменял Вадим Алексеевич. Однажды, когда я приехал, оказалось, что Ирочки не было дома. На телефонные звонки она тоже не отвечала. Так продолжалось несколько дней. Чего только я не передумал за эти дни! Прежде всего, конечно, я боялся рецидива перитонита. Я помчался в Боткинскую больницу. Однако в спра-

вочной мне сказали, что никакая Ирина Федоровна Князева в больницу не поступала. Я позвонил Рогову, благо у меня нашлась его визитная карточка. Вадим Алексеевич довольно сухо сказал, что Ирочка уехала в Карловы Вары на воды, долечиваться после тяжелой болезни.

Ее бегство было немыслимой правдой, которой я всегда боялся, но постоянно ждал от Ирочки. Если бы не последующие события, которые, как оказалось, к счастью, захлестнули меня, не знаю, выдержал бы я последнюю измену моей возлюбленной.

Единственной ниточкой была возможность снова позвонить Вадиму Алексеевичу Рогову, узнать, что с Ирочкой. Но внезапная смерть Рогова оборвала и эту возможность. Инфаркт миокарда случился во время одного из заседаний Государственной Думы. Вадим Алексеевич жестко отбивался от нападков слева (коммунистов) и справа (националистов), утверждая, что только свободный капитализм, то есть естественный отбор в духе Дарвина-Мальтуса может воспитать здоровую жизнеспособную нацию, которая почти что задохнулась в спертom воздухе стагнации и готова идти на неминуемые жертвы ради естественного развития свободного общества. Рогова хоронила либеральная Москва. Пришли все наши. Даже Васенька Рубинштейн с Риммочкой прилетели из Барселоны, где они обосновались, купив на новоселье знаменитую местную футбольную команду. Ирочки среди хоронивших не было.

ПЯТАЯ ЧАСТЬ. КУЛИДЖ КОРНЕР

Окна моей комнаты выходили на Патриаршие пруды. С высоты третьего этажа открывалась водная гладь, по которой скользили утки-гуси-лебеди. Их эллипсоидные тела огибали желтые октябрьские листья, упавшие на воду. Мне было не до осенней лирики. Ирочка уехала в Карловы Вары и больше не возвращалась. Рухнуло здание нашей любви, которое я надстраивал всю жизнь. Это оказался замок из песка, возведенный на песке. Постепенно я смирился. Тем более что новая жизнь в стране напрочь захлестнула меня. Революция. Контрреволюция. Распад советской империи. Практически свободная эмиграция после жесточайшего преследования евреев-отказников. Дикий капитализм. Криминальные структуры. Заказы на перевод стихов исчезли, как будто бы этот вид литературы и вовсе не существовал. Многие издательства открывались, как грибы, выросшие после дождя, и мгновенно закрывались, выпустив одну-две-десять книг. В конце концов, остались самые цепкие. Чаще всего они печатали детективы с участием мафиозных типов, не менее страшных своей узнаваемостью, чем в романе Марио Пьюзо «Крестный отец». Кроме того, издавались так называемые женские романы с сексуальными подробностями, засасывающие читателя прямо с первой страницы. Или романы ужасов с изощренными орудиями пыток и методами их использования. Особенным наваждением стали мемуары о знаменитостях или воспоминания знаменитостей, для чего почти что в каждом издательстве были заведены книжные серии с подзаголовками: «приметы века», «свидетельства эпохи» или «жизнь знаменитых людей». Витрины и прилавки книжных магазинов пестрели названиями сотен книжек стихов, изданных за деньги авторов и публикуемых без элементарной корректуры. Для зализывания кровавых ран, нанесенных культуре и людям культуры, и списывания миллиардных доходов, по мановению тайкунов организовывались многочисленные премии, присуждение которых было предпрешено литературными приказчиками. Я прижился в одном из новых издательств пестрого профиля, подрядившись собрать антологию русских рассказов о любви, начиная с Николая Карамзина и за-

канчивая самыми современными публикациями, скажем, Владимира Сорокина. В другом издательстве, благодаря знанию английского языка я заключил договор на перевод двухтомника американского нобелиста Сола Беллоу. Кроме того, постоянно находилась всяческая мелкая работа в газетах самых разных направлений и литературных вкусов, редакторы которых испытывали нужду в профессиональных авторах. Каким-то образом я овладел жанром литературного фельетона, в котором сочетались важнейшие этапы биографии того или иного писателя, переплетающиеся со смешными пассажами из его произведений. Словом, моя финансовая ситуация была не хуже, а во многих случаях успешнее, чем у многих моих приятелей по литературному цеху. В этой бурной литературной реке, которую вернее было бы назвать сумасшедшим потоком современной печати, я сколотил свой плот и держался на плаву, передвигаясь от одной редакции к другой. Одновременно я готовил к печати книгу стихов, которую я сочинил во время моей полудобровольной высылки на Урал. Как только я договаривался с одним из издательств о цене, происходил новый виток девальвации, и приходилось копить дополнительные деньги для издания книжки стихов. Да я и не торопился. Старые стихи (уральские) были мне дороже, а новые — интереснее. Что издавать в первую очередь? Дело шло к тому, что я начинал сочинять стихи, в которых образ героини окутывался дымкой неизвестности, как будто бы все это соединялось в воображаемый образ, в котором постепенно урчачивались реальные Ирочкины черты.

Вот пример одной из литературных тусовок. В одну из тогдашних зим я заехал за Гердом Сапириным часов в шесть. Мы взяли такси и отправились в литературный клуб. Когда-то писательским клубом представлялся только Дом литераторов на улице Герцена с пьянством, бильярдом и чтениями в секции поэзии, когда в редких случаях могло пробежать живое слово одобрения или несогласия. Обыкновенно же проводились запрограммированные юбилейные вечера поэтов, занимавших ключевые позиции в секретариате и комиссиях. Мы с Гердом ехали в совершенно иной мир свободного общения поэтов в новой России. Клуб помещался на первом этаже одного из домов на Садовой-Каретной улице, неподалеку от площади Маяковского. Это был в полном смысле клуб с вестибюлем, гардеробом, буфетом и зрительным залом. Все друг друга знали. Герд был очень популярен. К нему постоянно кто-нибудь подходил с приятными словами («Читал твои стихи или

прозу там-то и там-то») или новостями о ближайших чтениях в других клубах. Я знал немногих из этой публики в лицо, и меня мало кто знал, узнавал, помнил. Мы прошли в буфет. По крайней мере, это напомнило мне былые годы. Герд заказал водки, которую мы сразу выпили у стойки. Потом я предложил повторить. Интеллигентная девушка-буфетчица, которую я вначале принял за одну из литклубисток, принесла к водке бутерброды с колбасой, сыром и кетой. Сварила кофе. Мы сели за круглый столик, где буйно гуляли три бородача. Оказалось, что один из них припомнил мою фамилию, подказанную Гердом. Мы выпили все, что принесли. Бородач, узнавший меня, спросил Герда: «Не угостишь?» Герд пошел в буфет и принес еще водки: для меня, бородачей и для себя. Постепенно градус разговора достиг того же накала, как в былые годы часам к десяти вечера в гадюшнике — Доме литераторов. Иллюзию возврата в прошлое подтвердил голос Герда: «А вот и Архитектор пожаловал!» Я оглянулся в направлении взгляда моего друга и увидел в дверях буфета грузную фигуру в увесистой дубленой коричневой шубе. Это был первый авангардист теперь уже распавшейся страны, правда, официальный авангардист. К нашему тесному кругу подседа дама. Она попросила у Герда в долг триста рублей «до субботы». Герд без раздумий дал деньги. Он и дальше угощал и давал в долг. Позвали в зал слушать стихи. Читали палиндромы. Между отделениями вечера были шумные дебаты в помещении буфета, где мы опять подкрепились водкой и кофе. Все бредили палиндромами и видели в каждом стаканчике водки повод для зеркального повторения. Кроме того, я увидел, как маленький человечек в потертом клетчатом пиджаке наскакивает на статного молодого поэта, цыганские кудри которого закрывали шею и плечи. Возможно и даже очень, что и маленький задиристый человечек был тоже поэтом. Иначе, зачем бы им так яростно спорить из-за палиндромов. Публику позвали в зал на второе отделение. Мы медленно шли через вестибюль в зал, когда распахнулась наружная дверь и вбежала красавица в шубе из белых песцов, накинутой на снежные палиндромы плеч.

Но это была не Ирочка.

Однажды утром в начале июня раздался звонок. Я пошел открывать. На лестничной площадке около дверей моей коммунальной квартиры стояла Катерина. У ее ног громоздились сумки и чемоданы, а из-за спины выглядывал подросток, в котором я узнал сына Катерины — Борю, правда, сильно выросшего. Не задавая

никаких вопросов и не спрашивая о цели приезда, я провел моих уральских знакомых в свою комнату и усадил за стол пить чай. Из разговора с Катериной и Борисом выяснилось, что, конечно, они приехали посмотреть столицу (Кремль, Мавзолей, Манеж, Всероссийский выставочный центр), походить по музеям и просто пошатаваться по Москве, но главной целью было поступление Бори в академическое медицинское училище, чтобы выучиться на фельдшера. Он и справку захватил из Силинской школы, что с отличием закончил восьмилетку. Оба они — Катерина и Борис — выглядели напористыми, целеустремленными, готовыми впитывать и набирать в карманы и за пазуху московские впечатления — руками, легкими, кожей, глазами. Я убедил себя, что не буду задавать лишних вопросов: как там Клавдий Иванович? Павел Андреевич? Все наши — силинские сослуживцы и знакомые? Видел, что причина их внезапного нашествия скрывается в глубине бойкого рассказа о выборе профессии фельдшера, и еще глубже — в семейных делах Катерины. Но я этого старался не касаться. Боря хотел поступать в медицинское училище при Академии медицинских наук, прием документов в которое начинался в середине июля. «Там и общежитие дают!» — с азартом заявил Боря. «Да ты не беспокойся насчет общежития. Если вначале примут без общежития, поживешь у меня». «Вы это серьезно, Даниил Петрович?» — встрепенулась Катерина. «Вполне! Боря мне нисколько не помешает. Веселее будет». «А для меня местечко найдется? Где-нибудь за шкафом, чтобы не мозолить глаза?» Я хотел ей ответить, что готов оставить ее и ее сына жить столько, сколько им захочется, хоть навсегда, так измотало меня одиночество. На мгновение я представил себе, как в моей пустующей комнате поселится красивая молодая женщина, восточная красавица, каждый шаг которой будет наполнять пространство нежной эротикой семьи, которой (семейной эротикой) мне всю жизнь не хватало, хотелось приобрести, но не получалось. Как нарочно, или от смущения, что открыла слова, приготовленные далеко на потом, Катерина встряхнула своими черными роскошными волосами, отвела их со лба и засмеялась смущенно, пожалуй что над своей мечтой, обнажившейся так преждевременно. До похода в медучилище с документами оставалось больше недели. Надо было развлекать гостей. Я заметил, что в провинциалах, приезжающих в столичные города, живет неукротимая жажда к познанию вновь открывшегося мира. Даже это не столько жаж-

да, сколько ученическое желание поглощать впечатления. Провинциалы — вечные ученики в столичных городах. Вот мы мчимся на метро до Арбатской площади, шатаемся по улице Арбат, где я объясняю каждую мемориальную табличку, каждый памятник, включая романтическую бронзовую фигуру Окуджавы, которая напоминает мне юного Блока, вполне в соответствии с гипотезой всеведущего Дм. Быкова, увидевшего сходство между непохожими поэтами. Разве что в театральном отношении поэтов к революции и контрреволюции. Как декорация к уличному спектаклю: арбатская аптека, улица, фонарь. Вдруг из питейного заведения под боком у национально-монархического журнала «Москва», выкатив грудь, гордую красным бантом, с пальцем за жилеткой и в кепочке, выпячивается Ленин. И Боря вопит восторженно: «Ленин! Ленин! Ленин!», как будто бы не прошли давно разрушительные Ельцинские времена.

Несколько раз телефонировал Клавдий Иванович, причем, Катерина запиралась в ванной с переносной трубкой и беседовала с мужем, после чего он успокаивался на неделю-полторы.

Были и другие аттракционы, которые я показывал моим уральским гостям, войдя в раж гостеприимства, а из-за ража вообразив себя в роли папаша, обретшего блудного сына. Из-за ража я принял на себя свободное политическое образование Бори. Одним махом моим гостям были показаны зады Третьяковской галереи с моргом убиенных мраморных вождей: чаще всего Сталина и Дзержинского, и других, которые не хотели быть разбитыми бесславно в порошкообразную труху окиси кальция, что подтверждал их полномочный посланник, покоящийся под сводами Мавзолея. Кстати сказать, если мраморные трупы огорчили Катерину и Боря, Ленин в Мавзолее вернул им доброе расположение духа. Наконец, мы втроем (не правда ли — невинный любовный треугольник как модель семьи?) отправились отвозить документы в академическое медицинское училище.

День был солнечный, легкий, зелено-голубой. От Китай-города по улице Солянка повернули мы к нужному переулку, кончавшемуся Покровским бульваром, и нашли здание училища. Добродушная запотевшая дама из приемной комиссии предложила Боре подать документы на отделение медицинских лаборантов. Дело в том, что на фельдшерское отделение принимали только с дипломом средней школы. У Бори была окончена восьмилетка.

«Соглашайся, Песков, сразу и оформим. Правда, у нас с общежитием трудновато. Придется тебе, Песков, встать на очередь». «Насчет общежития не беспокойтесь...», — поспешил я успокоить даму. «Алла Петровна! — подсказала она, продолжив. — Занятия, как по всей стране, с 1-го сентября. Но вот у нас еще одно правило. Необходимое условие, что ли». «Какое правило, Алла Петровна?» — насторожилась Катерина, до тех пор скромно стоявшая позади нас с Борей, изображавших послушного сына и любящего отца. Насторожилась Катерина, скромно ожидавшая чуть в сторонке в своем летнем и праздничном шелковом платье, раскрашенном желтыми и красными крупными цветами. Платье потрясающе гармонировало с ее цыганской гривой, переброшенной на спину, и статной фигурой. «Правило таково: всех учащихся, принятых без экзаменов, а у вашего сына отличный аттестат за восьмилетку, отправляем до конца летних каникул в подшефный колхоз», — разъяснила Алла Петровна и отхлебнула чай из толстой зеленой кружки, разрисованной цветами. Кружка была одновременно символом молодости (абитуриенты) и солидности (академическое училище). «Куда отправляете?» — переспросила Катерина. «В подшефный колхоз, гражданка Пескова! Сначала силос закладывать, потом на строительство коровника, а под самый конец — на уборку картошки. Бывает, что и часть сентября прихватить приходится». «Часть сентября?» — глухо переспросила несчастная Катерина, собиравшаяся провести с сыном летние каникулы в Москве. Я молчал. Мне было жаль Борю и Катерину. Но что я мог поделать? И как всегда в неразрешимых, на первый взгляд, ситуациях, в глубине души загорелась успокаивающая мыслишка: «Зато останемся вдвоем!» «Так что поздравляю тебя, Песков, и родителей с поступлением в академическое медицинское училище. А завтра изволь приехать сюда к десяти утра. Тебе повезло! В колхоз идет грузовик с продуктами для наших студентов».

День прошел в сборах и покупках, как будто мы провожали нашего сына в армию или, по крайней мере, в дальнюю экспедицию. В магазине «Спорт. Охота. Рыболовство» был куплен рюкзак, а к нему кеды китайского производства, которые теперь дружно назывались кроссовками. Конечно же, рюкзак был мгновенно заполнен всякими, по мнению Бори и при поддержке Катерины, необходимыми вещами, за которые я платил все с большим и большим энтузиазмом. Что-то нарождалось, проклеивалось внутри

моей души зрелого и утвердившегося годами одиночества холостяка. Какое-то чуть ли не отцовское чувство, что ли? Мне было приятно ловить каждую вспышку благодарности матери и сына, когда я платил за очередную покупку. Заполнив рюкзак, мы отправились в гастроном на площади Восстания где, обойдя все отделы, накупили массу вкусных вещей: клубнику, черешню, помидоры, огурцы, колбасу, сыр, свежий хлеб, две бутылки «Мукузани», апельсиновый сок и лимонад. Со всеми этими покупками мы отправились ко мне (*к нам!*) домой на Патриаршие пруды.

Обремененные покупками, радостные, готовые праздновать поступление Бори в медучилище, мы поднялись по лестнице на третий этаж и замерли от неожиданности и ужаса. Под дверью моей квартиры, положив голову на портфель, а портфель — на коврик, спал замдиректора Силинской ветстанции, муж Катерины — Клавдий Иванович Песков. Необходимо отдать должное моим соседям по коммунальной квартире: они как будто не замечали моих уральских гостей. Впрочем, так же, как не замечали когда-то Настеньку и Ингу. После многих лет наблюдений за соседями по коммунальным квартирам (у себя или у моих знакомых) я заключил, что они делятся на три абсолютно разные и ничем не объяснимые (в своем отношении к среде коммунального обитания) категории. Я говорю о внешних проявлениях. Первая категория соседей испытывает абсолютное безразличие к остальным жильцам и их гостям. Вторая — излучает доброжелательность, граничащую с навязчивостью. Третьей присуща склочность и агрессивность. Мои соседи были абсолютно безразличны к моим гостям: заходили те на полчаса-час или оставались надолго. Это было благом! Мои соседи словно не замечали возни, которую мы подняли вокруг нового гостя. Осторожно растолкав Клавдия Ивановича, от которого несло алкоголем, как из пивной бочки, и оторвав от каменного пола лестницы, мы перевели его в мою комнату, где он продолжал спать до следующего полудня и даже пропустил Борин отъезд в колхоз, не попрощавшись со своим приемным сыном. К полудню, когда Боря давно трясся в грузовике среди коробок, бочек, мешков с пшеном, макаронами, сахарным песком и прочими упакованными продуктами, предназначенными для студенческой кухни, Клавдий Иванович проснулся. Не стану пересказывать в деталях момент его протрезвления, который так и не наступил окончательно. Ни я, ни Катерина не могли реконструировать картину ди-

кого запоя, в который, как я предполагаю, впал Клавдий Иванович по пути из села Сила в Москву. То есть я могу вообразить, как он, многократно уговаривая Катерину по телефону вернуться домой в Силу и продолжить временно прерванную семейную жизнь, наткнулся на полный и окончательный отказ. Конечно, я не мог слышать слов, сказанных Клавдием Ивановичем, находившимся на переговорном пункте в далеком уральском селе. Наверняка, он старался убедить, заставить, утратить, прибегая к полному набору юридических терминов и простонародных угроз, потому что из-за ширмы, где поселилась моя желанная гостья и, одновременно, супруга Пескова, доносилось отчаянное: «Нет! Нет! Ни за что!»

Мой адрес Клавдий Иванович мог получить у Павла Андреевича Терехова — директора ветстанции. Или Катерина, уезжая из Силы, дала ему мои координаты, пойдя на простительную хитрость и пытаясь убедить мужа, что вся поездка совершенно невинна и организована ради Бори. Несомненно, она уверила мужа, что вернется не позднее, чем через две недели, как только будут устроены дела сына, и это было от начала до конца святой ложью. Но ведь гремучая смесь лжи и любовной жажды и является основой любой измены. Мы все сделали вид, что ничего особенного (ужасного) в приезде Клавдия Ивановича нет. Навещают же друг друга добрые друзья: вот Катерина с Борей сначала приехали. Теперь Клавдий Иванович пожаловал. Потом все само собой образуется. Не стоит только забегать вперед! Правда, *это делание вида* оказалось еще более искусственным и вызывающим еще большие подозрения, что у нас с Катериной и Борей образовалась чуть ли не семья.

Мы накрывали на стол, а мой гость отмокал в ванне. Почти протрезвев и согласившись пообедать с нами, Клавдий Иванович даже дошел до такого символа всеобщего примирения и надежды вернуть Катерину домой, что вытащил из чемодана флакон духов для жены, новый роман Дм. Быкова «ЖД» для Бори (с намеком на возможный интерес юноши к хазарам как генетическим предкам дедушки-караима) и бутылку коньяка для меня, которую я тут же выставил на стол. Катерина приготовила традиционный русский салат из помидоров/огурцов и заправила его сметаной, в то время как я компанейски разлил по граненым стаканчикам привезенный Клавдием Ивановичем коньяк. Оставалось, как говорится, поднять бокалы, сдвинуть их разом и выпить по поводу нежданно-

негаданного свиданьяца. После третьего стаканчика коньяка (Катерина предпочитала портвейн) разговор перешел на описание дороги от Перми до Москвы. Причем, солировал Клавдий Иванович. Катерина с полным правом вставляла в разговор отдельные словечки, проделав с Борей тот же путь, незадолго до Клавдия Ивановича. «А буфеты станционные как преобразились! Да просто рестораны! — восхищался Клавдий Иванович. — Бывало в иные времена — до тебя, Катерина, до тебя дело было! — даже в вагоне-ресторане было везением котлету урвать. Да и то, благодари Бога, если сальмонеллез не подхватишь!» Я кивнул утвердительно. Клавдий Иванович продолжал: «А на полустанках какую дрянь в прежние времена к поезду выносили: пирожки с требухой, яйца вкрутую да огурцы малосольные. А теперь на каждом маломальском вокзалишке тебе шампанское с икрой предлагают да пивцо голландское с вареными раками! Свободная торговля. Ка-пи-тализм! Да что толку-то? Скоро опять все пойдет прахом». Катерина молчала, чтобы не зацепиться за привязчивые вздохи/словечки гостя: «Да что толку? Не в этом беда! Зачем все это!» Я же полураспался под влиянием коньячных паров и накалился от внутреннего раздражения, что нужно терпеть вторжение варвара, делать красивое лицо при плохом раскладе, и, прежде всего, ни на что не отвечать по существу. И как назло вяпался: «А какого толку вы ожидали, Клавдий Иванович?» Катерина незаметно прихлопнула мое колено. Я сделал вид, что не понимаю ее предостережения, и повторил: «Надо ли во всем видеть особый смысл или, как вы сказали, особенный толк?» «Да, надо! Я утверждаю, что надо видеть порядок и смысл, а иначе, не успев выйти из застоя, все превратится в хаос и безобразия!» «То есть, изменения в стране, по-вашему — хаос и безобразия? А как же вагон-ресторан с разнообразным меню? И богатые привокзальные буфеты?» «Именно это я и утверждаю: сохранить нововведения может только сильная рука!» «Вроде обновленного Сталина?» «Скорее, вроде Пиночета или Хусейна!» «Вы еще царя-самодержца призовите!» — как мог, съязвил я. «Было бы очень кстати! Просвещенная и сильная власть — вот, что нужно русскому народу. А такие, как вы — разрушаете новый порядок!» «Такие, как я?» «Ясно, что не такие, как мы. Нам нужен свой порядок, вам — ваши хаос и безобразия! И уезжайте подобра-поздорову! Но не соблазняйте наших жен и оставьте в покое наших детей!» «Так уж ваших?!» Я больше не

управлял собой. Если раньше в Силе, на ветстанции, я понимал Клавдия Ивановича как хитреца, интригана, ревнивца, завистника и т.д., то теперь в его портрете прорисовались черты национал-монархиста нового толка. Он был за обновленное общество со свободной торговлей и беспрепятственным обращением капитала под эгидой русского престола. Нечто вроде феодального капитализма. Это был полный бред, в котором все было сказано с абсолютной определенностью, присущей маньякам, не утратившим способности складывать кубики слов, в картинку, которую не всякий нормальный человек мог разгадать. Вмешалась Катерина: сбегала на кухню и положила каждому по четвертинке жареного цыпленка. Свою тарелку Клавдий Иванович решительно отодвинул, как генштабист убирает прежнюю карту разворачивающегося сражения и меняет на другую, только что обновленную. В подтверждение близкого боя Клавдий Иванович злобно повторил: «А иначе все превратится в хаос и безобразия!», опустошил стаканчик с коньяком и добавил: «Чтобы сохранить новый порядок, России нужна сильная и мудрая власть, которую такие, как вы, не смогут заменить на хаос и безобразия!» На этом мое терпение лопнуло. Я припомнил его мерзкие интриги в Силе, развязанные после моей совместной с Катериной поездки на дальнюю ферму, мой доклад о вакцине против листериоза и нескрываемое торжество моего соперника, когда оказалось, что я всего лишь повторил чье-то открытие. И самое отвратительное — феодальную — да! да! — именно феодальную женитьбу на Катерине. Но тогда (в Силе) я воспринимал провалы сквозь дымку мечты снова увидеть мою королеву — Ирочку Князеву. Теперь у меня не было ни Ирочки, ни мечты. Оставалась единственная надежда — удержать Катерину, которую этот раскормленный варвар хочет отнять. И все же, я нашел в себе силы открыть бутылку «Смирновской» (коньяк мы прикончили) и налить водку гостю и себе, а Катерине добавить портвейна. Я понимал, что тяжело пьянею. И следовал соответствующему правилу: старался оставаться гостеприимным хозяином и поэтому давал высказаться сопернику: «Вы что-то хотели добавить, Клавдий Иванович?» «Да, Даниил Петрович, я хочу добавить. Ибо, если я не выскажу вам то, что я обдумывал все эти годы, с момента вашего появления в Силе, хаос и безобразия останутся навсегда и будут заражать все, что с ними (хаосом и безобразиями) и вами (носителем хаоса и безобразия) соприкаса-

ется, подобно тому, как вы заразили хаосом и безобразием мою жену и моего сына Бориса». Катерина опять ушла из комнаты, где мы сидели за обеденным столом, на кухню. И правильно сделала, потому что Клавдий Иванович полностью потерял контроль над своими словами, повторяя между бессвязными фразами о сбежавших жене и сыне угрозы наказать обманщика и соблазнителя — то есть меня. Голос его гремел и разрывался на куски так, что невозможно было ухватить какую-нибудь последовательность в сказанном. Каждый период полубессвязного монолога завершался шрапнельными взрывами кулачных ударов по доскам стола и взвизгиваниями голосовых связок. Удары кулаков и дребезжание подсакивающих тарелок, стаканов, вилок и ножей сопровождалось рефреном: «Хаос и безобразие!» При этом Клавдий Иванович, прокричав мне в лицо всяческие возможные и невозможные слова, физически не переступал черты, то есть, не переходил кулаками через условную границу на мою половину стола. Катерина несколько раз заглядывала в комнату, подходила к столу и повторяла в лицо Клавдию Ивановичу: «Угмонитесь, Клавдий Иванович! Я вам больше не жена и никогда не вернусь в Силу, в том числе к вам! Я намерена поселиться в Москве и выучить Борю на доктора». «Поселиться с этим носителем хаоса и безобразия?» — вопрос был поставлен в лоб. Грубо, неосмотрительно (ведь Клавдий Иванович был у меня в гостях), но вполне откровенно. Если раньше в Силе, на ветстанции я воспринимал Клавдия Ивановича как хитреца, интригана, ревнивца, завистника и т.д., то теперь впервые он открылся как опасный и наглый противник, способный не только на отчаянные слова, но и на отчаянные поступки, если я, в свою очередь, не предприму чего-то за пределами дерзкого. Катерина пристально всматривалась в меня, словно впервые разглядывала мою сущность. Клавдий Иванович даже привстал, продолжая держать в руках вилку и нож. Словно подчиняясь не столько своей воле, сколько вопрошающим взглядам Катерины и Клавдия Ивановича, я тоже встал и произнес: «Я женюсь на Катерине и выполню все обязательства в отношении Бори. А вы, Клавдий Иванович, подпишете документы о разводе и отказе от отцовства».

К вечеру Клавдий Иванович уехал, а через месяц Катерина получила от него подписанное согласие на развод и отказ от отцовства. Вскоре я стал мужем и отцом. Боря учился на медицинского

лаборанта. Я продолжал копеечно сотрудничать с редакциями издательств и газет. На эти деньги втроем прожить было невозможно. Если бы не чаевые, которые зарабатывала Катерина, устроившись шофером в приватизированном таксомоторном парке, не знаю, как бы мы прожили эти первые наши семейные годы. К тому же, на скопленные гроши я ухитрился выпустить в одном смехотворно малом издательстве книжку под названием «Апельсиновый юнга», которую я с гордостью раздаривал приятелям и коллегам по символическому цеху поэтов. Несколько раз Катерина возвращалась из таксомоторного парка с глазами, разбухшими от слез: «Я не могу больше шоферить! Этот хам... пристаёт... ухожу». Оказалось, что хозяин пытался выторговать благосклонность моей жены, обещая назначить больший процент от выручки, которую она сдавала после смены. Мы остались втроем на моих тощих литературных хлебах. Порой целую неделю сидели на хлебе, картошке, молоке и подсолнечном масле. Кроме того, надо было встречаться с приятелями, покупать книжки для нас всех, давать Боре хоть немного карманных денег на развлечения, а Катерине — на покупку парфюмерии и модных тряпок. Однажды Катерина показала мне письмо от тетки Эльмиры, родной сестры Катеринино отца-караима Бузува, которая когда-то жила в Бахчисарае. Тетка Эльмира разыскала Катерину еще в Силе. Они переписывались редко, но моя мудрая жена успела сообщить тетке свой московский адрес. И вот письмо из Америки! Тетка Эльмира со своим мужем Асафом, двумя замужними дочерьми, тремя внуками и двумя внучками поселилась в Бостоне, а точнее, в Бруклайне, и вскоре открыла ресторан под названием «Караимские пирожки». «Работы здесь много, — убеждала тетка Эльмира. — И ты, и твой муж будете при деле. Боря продолжит учиться на врача. Вы спросите, откуда взять деньги на учебу? В университетах дают заем (loan). Отдавать (почти без процентов) придется, когда Боря начнет врачебную практику. А врачи здесь много зарабатывают. Почти, как адвокаты. Если захотите, на паях откроем еще один ресторан «Караимские пирожки» в другом месте. Скажем, в Ньютоне. Но это после, когда вы освоитесь. Первое время поживете у нас. Соглашайтесь, и я вышлю приглашение!»

Мы согласились не без сопротивления со стороны Бори: «Опять заводите новых друзей! Здесь я без пяти минут фельдшер-лаборант, а там — все сначала!» Я объяснял Боре, что все предме-

ты, которые он изучал в медучилище, зачтутся в американском университете. Медучилище приравняют к колледжу, и он поступит в тамошний университет на медицинское отделение. Но мальчик не соглашался, а мы не хотели идти поперек его воли. Все решил случай. Однажды, это было ранним летом, Боря провожал после училища свою подружку до станции метро «Чистые пруды». Было то самое время года, первые дни июня, когда все в городе начинает затихать, словно люди, автомобили и трамваи приглушают свои голоса, вслушиваясь в поворот природы на лето. Девушку звали Наташа. Имя, почти символическое в русской литературе, да и в сочинениях современных писателей. Боря рассказывал Наташе об американском научно-фантастическом романе, который он прочитал недавно. Сюжет романа разворачивался в лаборатории, сотрудники которой занимались генотерапией. Поскольку гены контролируют все жизненные проявления организма, врачи-генетики лечили физические и психологические пороки, изымая патологические гены и заменяя их на участки ДНК, выращенные из доброкачественного наследственного материала. «Знаешь, Наташа, я мечтаю закончить медучилище и пойти учиться на врача-генетика. А ты?» «Видно будет. Я слышала, что с нашим дипломом лучше всего устроиться работать в фармацевтической компании». «Неплохо для начала!» — рассмеялся Борис. Был такой легкий теплый полдень накануне экзаменов, когда знаешь, что еще немного — и начинается бесконечное лето, что сейчас не хочется загадывать далеко вперед, а хочется идти под цветущими липами, разговаривать, останавливаться и целоваться. Вот они миновали театр «Современник». Прошли еще немного и остановились над прудом. Где-то в отдалении, ближе к станции метро вокруг памятника Грибоедову молодые мамы катали свои коляски с младенцами, кто-то спешил нырнуть в метро, кто-то появлялся из огромных желтых деревянных дверей, запахивавшихся / распахивавшихся поминутно. Но все это было в отдалении, и Борис и Наташа, стоя над берегом пруда, видели станцию метро и движение людей вокруг, а сами были скрыты деревьями. «Наташа, ты мне очень нравишься!» — сказал Борис. «А что тебе больше всего во мне нравится, Боря?» «Твои волосы. Они цвета ржи. Знаешь, я родился в деревне, на Урале. Вокруг были поля ржи. Твои волосы такого же цвета, как спелая рожь». «А я тебе нравлюсь?» — спросил Борис. «Да, очень!» «Почему?» Это была риторика влюбленных,

ничего не значащая по сказанным словам, и значащая так много по внутреннему смыслу. «Больше всего, Боря, мне нравятся твои горящие глаза». «А еще?» «Твои черные волнистые волосы!» «А еще?» «Ты так похож... ты так похож на Пушкина!» Они целовались и потому не заметили, как из-за деревьев, со стороны, противоположной метро, подошли трое. Они были одеты в кожаные куртки, кожаные брюки и наголо обриты. Один из них оторвал Наташу от Бориса, а двое других заломили ему руки за спину. «Что вы делаете? — закричала Наташа. — Отпустите! Вас в милицию заберут!» «Отпустим, если этот черножопый пообещает больше не шиться с белыми девушками. Обещаешь?» — спросил тот, кто держал Наташу. «Отпустите ее, а со мной делайте, что хотите», — ответил Борис. Державший Наташу отпустил ее руки: «Канай отсюда и скажи большое спасибо, что тебя не тронули!» Наташа стояла в нерешительности. «Беги скорей, Наташа!» — крикнул Борис. Она не успела ответить Борису. Ноги уносили ее подальше от этих бандитов, по направлению к станции метро, где можно было отдышаться, позвать милицию, попытаться хоть чем-то помочь Борису. Но она, не останавливаясь, проскочила мимо контролера, прыгнула на эскалатор, добежала до платформы и юркнула в подоспевший вагон. Трое бритоголовых ударили Бориса несколько раз по лицу, дали ему пинка и скрылись в одном из соседних проходных дворов.

На этом сопротивление Бори было сломлено. Мы дождались, когда он сдаст последний экзамен, получит диплом фельдшера-лаборанта, и подали документы на выезд в Америку.

Мы поселились в Бостоне, вернее, в прилегающем городе Бруклайн. На этом самом месте все мои рассказы о том, где мы поселились, натываются на полное противоречие с московскими или петербургскими понятиями о городе и его районах. Скажем, Краснопресненский район города Москвы. Или Петроградский — в Петербурге. Никакой отдельной Москвы или Петербурга в дополнение к этим районам не требуется. В Америке оказалось иначе. По сути, Бруклайн, примыкавший к собственно Бостону, был одним из его районов, а назывался городом. Дальше на запад к Бруклайну примыкал город Ньютон. Бостон просто был самым главным равноправным городом нашего штата Массачусетс. Ко всему сказанному добавлю, что Бостон, Бруклайн и Ньютон были нанизаны на самую длинную в штате улицу — Бикон стрит. Все

эти города вместе с собственно Бостоном, где размещалась резиденция губернатора, сенат штата, Публичная библиотека и прочие учреждения, а также десяток других примыкающих городков, назывались Большим Бостоном. На противоположной от Бруклайна стороне реки Чарльза, на острове высился город Кембридж с его Гарвардским университетом, куда приняли на третий курс колледжа нашего Борю. Мы подоспели в США вовремя, в конце августа, к началу нового учебного года.

Семейный ресторанчик «Караимские пирожки», которым владела тетка Эльмира, ее муж дядя Асаф, их дочери и зятя, располагался неподалеку от угла Бикон стрит и Гарвард стрит, который назывался Кулидж Корнер. Это пересечение известных всему городу улиц был готического стиля домом с высоченной, как в рыцарских замках, серой башней с флюгером. Под клоунской островерхой крышей башни тикали готические часы. На первом этаже островерхого дома с башней располагалась аптека, одна из трех в этом месте. Семья тетки Эльмиры, вернее, все три семьи, а включая нашу — четыре, жили несколькими кварталами дальше в сторону площади Вашингтона. Как раз на углу Бикон стрит и Саммит стрит, через дорогу от ресторанчика «Караимские пирожки». Ресторанчик, кроме того, снабжал бостонские русские магазины караимскими пирожками. Дом, который мы все снимали, был двоюродным братом того, что стоял на Кулидж Корнере: островерхие колпаки, готический стиль. То есть, архитектор в дополнение к главному дому на Кулидж Корнере, построил неподалеку деревянную дачу из трех строений-близнецов, соединенных на втором этаже галереей. Там росли цветы, плющ и даже виноград, черных и белых сортов. Две трети этого экзотического дома снимала у хозяина-адвоката наша многолюдная семья, а вернее, наши четыре семьи. Третью часть дома занимал хозяин, адвокат Стивен Мессер со своей семьей. На первом этаже, скорее, бельэтаже, находилась адвокатская/нотариальная контора нашего хозяина. Хозяин дома был необычным адвокатом (Public Attorney), то есть защищал неимущих или малоимущих клиентов, за что штат платил ему, правда, совсем немного. Да и частная практика давала ему не больше. Этим объясняется решение сдавать большую часть дома нашей многочисленной семье. Правда, тетка Эльмира чуть ли не каждый день приносила адвокату, его прикованной к инвалидному креслу жене и дочке по имени Абигал (Аби) поднос, наполненный аппетитными караимскими пирож-

ками. Абигал тоже училась на доктора, правда, поступила она не в Гарвардский, как наш Боря, а в Бостонский университет. Боря и Аби дружили. Оказывается, бабушка и дедушка Стивена Мессера (адвоката) приехали в Америку из белорусского местечка под названием Борисов, и это давало ему и Аби полное право называть себя русскими. Если по телевизору шла передача, связанная с Россией, Аби звала Борю к себе или прибежала к нам, и они вместе смотрели и обсуждали увиденное и услышанное.

Мы с Катериной купили потрепанный фордик-пикап и развозили подносы караимских пирожков по русским продуктовым магазинам, разбросанным в разных городках Большого Бостона. Конечно, я мечтал возвратиться в литературу, купил компьютер и начал завязывать отношения с нью-йоркскими русскоязычными еженедельниками. Но это пока не давало никаких заработков, и кормили нас в прямом и переносном смысле караимские пирожки. Дело и вправду шло бойко. Мы не успевали загрузить свою *тачку*, отвезти товар в один из магазинов и разгрузиться, как надо было мчаться к тетке Эльмире за новой партией слоеных караимских пирожков для другого русского магазина.

Однажды, по Бог знает кем ведомой случайности, часов в восемь вечера, мы с Катериной оказались дома как раз, когда началась передача вечерних новостей. Боря тоже пораньше освободился из университета. Так что мы сидели за поздним чаем и разговаривали о жизни, что нечасто удавалось сделать при нашей постоянной занятости. Сказать по правде, я не очень-то внимательно слушал ведущего, не особенно всматривался в картинки, которые иллюстрировали слова журналистов из разных точек мира, где происходили горящие события дня (*breaking news*). В это время в дверь постучали и в ответ на приглашение войти вбежала запыхавшаяся Аби. «Вы не слышали невероятную новость?» — показала Аби на экран телевизора. Мы прислушались и всмотрелись. Журналист рассказывал о том, что «...в США некоторое время назад началось следствие по делу арестованных русских агентов (*шпионов*) или, по-нашему, разведчиков, проживавших длительное время в разных городах страны и собиравших секретные сведения в пользу России. По данным следствия, арестованные лица чаще всего жили под видом супружеских пар. Предполагаемые *шпионы* в совершенстве знали английский язык, легко завязывали знакомства среди местного населения и в целом старались сойти за рядовых американцев...» Я слушал слова корреспондента с величайшим волнением, как будто ждал че-

го-то еще более ужасного. Конечно, сам факт обнаружения русских разведчиков в стране, куда я и моя семья, да и сотни тысяч граждан России фактически бежали в поисках справедливой и благополучной жизни, сам этот факт показался отвратительным. Но это было одинаковым позором для всех нас — выходцев из России. Я ждал чего-то более ужасного и отвратительного в отношении себя. Иногда в качестве иллюстрации показывали ту или иную супружескую пару, против которой американским судом велось следствие. Все они носили типично американские имена и фамилии. Корреспондент местного (Бостонского) телевидения продолжал: «Как следует из материалов дела, оказавшихся в распоряжении журналистов, основной задачей арестованных в недавнее время разведчиков было налаживание связей среди влиятельных политиков США и вербовка потенциально полезных американцев, а также, наряду с другим, «отмывание незаконных денег» (money laundering) и др. По некоторым сведениям, за продолжительные сроки пребывания в США члены шпионской сети установили тесный контакт с несколькими видными деятелями США, среди которых оказались политик, финансист из Нью-Йорка, высокопоставленный правительственный чиновник, ученый-ядерщик и другие».

Еще через неделю-две в тех же самых поздних новостях был показан репортаж с аэродрома Кеннеди, в конце которого, видимо, для подхлестывания большего интереса к Бостонскому телевидению, корреспондент сообщил, что одна семейная пара секретных агентов проживала в Кембридже (штат Массачусетс) под именами Айрис Миллерс и Николас Миллерс. Корреспондент добавил, что все лица, находящиеся под следствием, признали себя виновными и подлежат немедленной депортации в Россию. Показали документальный кадр: среди других пассажиров у трапа самолета с аэрофлотовскими знаками стояла Ирочка рядом с капитаном Лебедевым. Моя возлюбленная все еще была безусловной красавицей: сероглазая, с короткой ультрамодной стрижкой волнистых каштановых волос, со спортивной посадкой головы на длинной шее, перетекающей в стремительную и стойкую грудь. Он был рыжеват, курнос, гладко выбрит, широкоплеч, резок и точен в движениях.

Бостон, 2010–2011 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Первая часть. Пять углов.....	7
Вторая часть. Патриаршие пруды.....	110
Третья часть. Деревня.....	191
Четвертая часть. Чистопрудный бульвар.....	254
Пятая часть. Кулидж Корнер.....	270

Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ

**История моей возлюбленной,
или Винтовая лестница**
роман

Гл. ред. издательства *Е. Степанов*
Дизайн обложки *К. Литвак*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

Издательство «Вест-Консалтинг»,
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Подписано в печать 23.04.2013. Формат 60x88^{1/16}.
Усл.-печ. л. 17. Печать офсетная. Заказ 132.
Тираж 500 экз.